



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

5-6 (480)

2019

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Андрей Сен-Сеньков. «Буквы, я вас люблю и ненавижу» и др. стихи.....	3
Владимир Аристов. Рассказы из цикла «Жизнь незамечаемых людей».....	7
Иван Белецкий. «а лето-то было лето...» и др. стихи.....	17
Екатерина Деришева. «голос в движении выводит границы материка...» и др. стихи.....	20
Константин Куприянов. Живи вечно! Рассказ	23
Дмитрий Лагутин. Степная, 1. Повесть.....	44
Юрий Гудумак. Rhagtasop. Стихи.....	103
Игорь Силантьев. Пальто. Рассказ.....	111
Серафима Сапрыкина. Лихо дорогое. Стихи.....	117
Павел Чхартишвили. Там, где гречанки любили греков. Рассказ...../.....	121
Александр Марков. Псевдопереводы. Стихи.....	125
Вадим Ярмолинец. Рассказы из семейной истории Смирновских.....	130
Алексей Баклан. Приемлемый покой. Стихи.....	134

ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Олег Юрьев. Неизданные стихи 1981–1987 годов.

Публикация О.Б. Мартыновой и Д.О. Юрьева. Предисловие Валерия Шубинского.....	137
---	-----

ПЕРЕВОД

Калле Каспер. Анника. Перевод с эстонского Гоар Маркосян-Каспер.....	145
---	-----

В СВОЕМ ФОРМАТЕ

Сергей Боровиков. Запятая.....	170
---------------------------------------	-----

ПУТЕШЕСТВИЕ

Михаил Бару. Обломок надгробного камня.....	176
--	-----

ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТА

Елена Зейферт. О природе графомании, или Случайный мальчик Свистонов.....	213
Юрий М. Никитин. Графоманы всех стран, соединяйтесь!.....	218

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Алексей Александров. Все тот же сон

Георгий Цеплаков. Ангелы и торговля.....	221
--	-----

Андрей Пермяков. Утешать глаза

Лариса Йоонас. Мировое словесное электричество.....	222
---	-----

Анна Сафронова. Короткая заметка о долгом проекте

Уйти. Остаться. Жить. Антология Литературных Чтений «Они ушли. Они остались». Т. II (часть I, 2).....	228
---	-----

ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКОВ

Алексей Голицын. «Мы не видели просвета в нашей жизни...». Арест саратовского художника Александра Скворцова как метод борьбы с голодом в Поволжье.....	231
--	-----

Андрей СЕН-СЕНЬКОВ

Буквы, я вас люблю и ненавижу

в таллинском ресторане
который местные
из-за слишком большого количества книг на полках
зовут просто библиотекой
от женщины пахнущей ароматом дорогих bibliotheque
ты как писатель ждешь
пару страничек бюстгальтера
обложку трусиков
соленую точку в конце
или в начале
или хотя бы краткое содержание без обещаний

покидая запах библиотеки
выходишь на ночную улицу

глубокий вдох

еще

и вот ты снова
можешь
читать

Пятницкое кладбище, январь

несколько часов искал могилу раисы кудашевой
той что написала песенку
в лесу родилась елочка

почему-то захотелось рассказать ей
как ненавидел эту песню в детстве
и как сейчас не могу слушать без слез

могилу я так и не нашел

Андрей Сен-Сеньков родился в 1968 году в Таджикистане. Окончил Ярославскую медицинскую Академию, живет в Москве. Автор 15 книг стихов, малой прозы и визуальной поэзии, книги сказок для детей, десяти книг стихотворных переводов. Лауреат Премии Андрея Белого (2018). Стихотворения переведены на 25 языков, книги избранных стихотворений выходили в США (премия американского ПЕН-клуба за лучшую переводную поэтическую книгу 2015 года), Сербии, Италии и Нидерландах.

полуметровый слой из мертвых мохноногих снежинок
укутал стройные имена
нарядные даты рождения и даты смерти

говорят на плите ее могилы выбиты слова не попавшие в песню

*шар за шариком прячется
а звезда за звездой*

как одна могильная строчка за другой
в этой переполненной людьми белой песенке

я еще раз приду
весной

баба рая
ты там
смотри не замерзай

**На смерть любого человека,
пусть он и снимал всю жизнь только на мобильный телефон**

на похоронах фотографа
друзья стоят у могилы
и провожают его фотовспышками

ничего не снимают
опустив объективы камер вниз
и просто нажимают кнопки
чтобы все красиво вспыхивало несколько мгновений
сажают крошечные батарейки
не прислушиваясь
как те пищат никелем

вернувшиеся домой
батарейки
как стебли цветов что положили на могилу
надламываются

чтобы их не украли

Армянский сон после турецкого фильма

женщина говорит
время это беззвучная пила
то что пилится режется отрезается
падает на пол
такое противно трогать

ну если только палочкой

палочка в фильме потом долго висит в воздухе

как то честное слово
на котором мы держимся

Yesterday написал Маккартни

джон познакомился с йоко на ее выставке

там была работа
увидеть которую
можно было только поднявшись по стремянке
затем надо было взять лупу
и обнаружить написанное крошечное слово
yes

врач успел задать истекающему кровью
только один вопрос — *are you john lennon?*
yes ответил тот

в ту же ночь
мясные кусочки этих двух yes
бог кладет себе на язык
как слова
на музыку

Альбом с вклеенными пустотами

говорят любовь это химия

еще арифметика астрофизика квантовая физика
теория чисел теория струн микробиология
древнегреческая философия виктимология
история искусств вирусный маркетинг

фехтование ресницами
прыжки в кожу
рукопашная нежность

и странный подбородок

такой можно встретить на любой школьной фотографии
он у третьей справа

в нижнем ряду

Loser

мне было лет шесть
и в нашем дворе жил особенный человек
когда мы с мальчишками играли
а он вдруг медленно появлялся
и так же медленно проходил сквозь нас
мы останавливались и переставали пинать мяч
было в нем что-то особенное
это была какая-то концентрированная серость
не чернота нет
серость
он не был алкоголиком сумасшедшим злым волшебником
добрым волшебником тем более

как-то набравшись смелости я спросил маму кто он
она отмахнулась и сказала
неудачник
я раньше никогда не слышал такое слово
и не понял что мама имела в виду
но мне стало страшно
в детстве вообще часто страшно от новых слов
когда они необъяснимо связаны с необъяснимыми взрослыми

еще помню что фамилия у него была греческая
но конечно не помню какая

нужно ли мне заново придумать эту фамилию
чтобы вам стало так же страшно как мне в шесть лет?

РАССКАЗЫ

из цикла «Жизнь незамечаемых людей»

Звездное домино

В Америке что мне нравится: можно встретить американца самого разного происхождения, например, потомка русского, афроамериканца, азиоамериканца и индейца одновременно. Трудно предположить, что все четыре его предка могли встретиться где-то вместе. Хотя допустимо представить, что они могли встретиться вчетвером за квадратным столом. Чтобы сыграть партию в домино. Чтобы она быстро не заканчивалась, они решили разыграть морского козла. Четверо сидели по сторонам стола, и белые точки домино в их руках светились, как звезды. Игроки они были примерно равные по силам. Хотя, понятно, что индеец как представитель титульной нации доминировал, но не значит, что он постоянно выигрывал. Более того, когда после часа напряженной игры все стали подсчитывать свои выигрыши и проигрыши, то с удивлением обнаружили, что все – пусть в небольшом – но в убытке. Они посмотрели друг на друга, а потом перевели свой взгляд на стол. Свои деньги на кон – там монеты и купюры были разных стран и достоинств – они клали в центр стола, а цепь фишек, или в просторечии косточек домино, они выкладывали вокруг этого центра. Например, в виде скелета рыбы. Они пристально скрестили все четыре своих разных взгляда центре стола и тут поняли причину своей недосады. Они отребли смятые купюры в стороны и увидели, что в самом геометрическом центре время от времени приоткрывается отверстие величиной с зрачок очень большого человека и понемногу и потихоньку проглатывает их деньги. Более того, когда они пытались запустить в эту дыру руку, то обнаружили, что дна не прощупывается. Один из них, кажется, афроамериканец громко предположил, что это если не ход в другую звездную систему, то хотя бы на другую планету. Стали думать, кто первым полезет в эту дыру. Потому что деньги – не шутка. Решили бросить жребий, но не знали, как поточней это сделать. Потом решили, что не до точности сейчас. Выбрали одного из четырех, и он смело полез в отверстие. Когда он был уже по пояс в дыре и все мысленно с ним уже попрощались, он все еще не говорил им «до свиданья», что-то все чего-то выжидал. Наконец он оперся о края отверстия и вылез обратно. Выбрали еще одного, но история повторилась. Наконец третий выбранный храбрился и сказал, что уйдет в дыру с головой, но только чтобы его опускали туда на веревке. Все сняли брючные ремни и исполнили его желание. Наконец, когда он скрылся из виду, все стали ждать. Через недолгое время веревка из ремней в их руках слабо задергалась, и его извлекли наружу. Его спросили, что он там видел, он сказал, что ничего интересного. «Но ты прав, – обратился

Владимир Аристов родился и живет в Москве. Стихи печатались в периодике, в журналах «Юность», «Новый мир», «Знания», «Комментарии», «Уральская новь», «Арион», «Воздух» и др., переводились на различные языки, входили в отечественные и зарубежные антологии («Строфы века», «Самиздат века» и др.) Рассказы, эссе, статьи публиковались в журналах и сборниках, в трудах литературоведческих конференций. Автор одиннадцати изданных поэтических сборников, последняя вышедшая книга «Открытые дворы (избранное)» (НЛО, 2016). Опубликовано также роман «Предсказания очевидца» (2004), пьеса «Театр одного философа» (2013). Литературные премии: им. Алексея Крученых (1993), им. Андрея Белого (2008), «Различие» (2016). По образованию физик и математик, окончил МФТИ, доктор физико-математических наук. Предыдущая публикация в «Волге» – «Жизнеутвердительные рассказы» (2018, № 1-2).

он к афроамериканцу, – там действительно видно звездное небо, я даже узнал некоторые созвездия, – это, похоже, наше небо, но какая-то уж очень древняя карта звездного неба взята за основу, не античная ли? Как-то неумело срисовано». «Но звезды-то живые?» – спросили его. «Похуже», – ответил он. «А где деньги-то наши?» – задали ему еще вопрос. Он только отмахнулся, но на него не обиделись, хотя некоторые и подумали, что он отмахнулся от них.

Аквапарк

Два студента одного финансово-экономического вуза во время большого дневного перерыва между занятиями любили заходить в небольшой парк рядом. Они обычно пили пиво и говорили о возвышенном. Они, как правило, садились на скамейку, перед которой был маленький квадратный пруд, похожий на плавательный бассейн, по дну он был выложен красивой кафельной плиткой, но совсем мелкий – только-только ступни замочить. Сзади за скамейкой находилась высокая мемориальная, по-видимому, плита – почти стена, на которой были высечены какие-то имена. Но они не обращали на нее внимания, потому что сидели к ней спиной и говорили о своем, более важном. Но тут, подходя к скамейке, – может быть, потому что под весенним дождем высеченные буквы сверкнули ярче, – один из них взгляделся в эту плиту и вдруг даже схватил другого за руку:

– Там мое имя значится, – как-то недоуменно-испуганно и глуповато-радостно проговорил он. И они подошли к высокой плите за скамьей, и он прочел вслух:

– Да, Миронов Сергей Николаевич, и год рождения совпадает.

– Ну, мало ли таких однофамильцев у тебя, – сказал второй. Но на всякий случай пробежал глазами по алфавитному списку и в свою очередь схватил приятеля за руку:

– Да, Степаняков Альберт Дариевич, и год мой. А я ведь не только такого имени-отчества, но и фамилии ни разу в жизни не встречал.

И они стали читать, что написано на плите – раньше и в голову это не приходило. Там значилось, что монумент – в честь спасенных детей, которые могли бы утонуть в аквапарке, если бы он был построен здесь. Но строители вовремя прекратили стройку, потому что на основе новых методов определили и вычислили, что в аквапарке произойдет авария-катастрофа. И многие дети погибли бы. Имена предполагаемых жертв были также определены благодаря новым математическим моделям и занесены на эту мемориальную плиту. Ниже под длинным списком имен детей значились имена строителей, которые были награждены медалью «За спасение на водах». Студенты несмотря на дождь тут же зашли в интернет и прочли дополнительно о том, что все строители были премированы суммами в размере 302,59 рублей для приобретения именных резиновых купальных шапочек. И что небольшой этот парк разбит на месте мнимого аквапарка.

Студенты наконец все поняли, но недоумению их не было конца. Когда, вернувшись в институт, они все рассказали двум однокурсницам, с которыми у них завязались дружеские отношения, те им сперва не поверили. И предположили, что все это они выдумали под воздействием винных паров. Но те поспорили на что угодно, что это правда. И вот после занятий вчетвером – было еще по-весеннему светло – они отправились в парк. И девушки признали свою ошибку, а одна, блуждая глазами по списку имен, с изумлением обнаружила и свою фамилию. Вторая студентка уже с надеждой искала себя, но не нашла. Тогда они вдруг поняли, что все трое поименованных живут неподалеку, а вторая девушка совсем из других мест Москвы – откуда-то с северо-востока.

– Понятно, что ты вряд ли бы собралась за семь верст хлорированной воды хлебать, – сказал ей первый студент.

– Кто знает, кто знает, – несколько даже обиженно сказала она. – Эти расчетчики думают теперь, что могут все вычислить, все будущее за каждого предсказать, но ведь это ужасно, да и вранье.

– Ты права, – согласилась с ней первая студентка. – Они все теперь наблюдают... все знают про тебя... я имею в виду про меня... но и про тебя тоже... и про всех остальных. Мне рассказывали,

что у нас в институте собираются установить не только улавливатели дыма – это-то давно есть, чтобы ловить курильщиков... но собираются запретить ругаться матом... совсем... и будут какие-то словоулавливатели стоять, будут распознавать образы тех, кто говорил, и штрафовать вплоть до исключения из института.

– Да, ужасно, – сказала вторая студентка, – сама я не ругаюсь матом... почти... но я за свободу.

– Да некоторые не смогут тогда учиться, им это необходимо вслух проговаривать, иначе мысль их не движется, – заметил первый студент Миронов.

– Тогда надо отвести особые комнаты вроде курительных. Или пусть носят на лице маски, а говорят тихо, чтобы приборы не улавливали, – сказал второй студент Степаняков.

– Да, будем ходить в масках, как в Азии ходят, чтобы не заразить других птичьим гриппом, – сказала первая студентка.

– Невозможно так жить, – сказала вторая. – Давайте четвером уедем в маленький сибирский городок. Думаю, там будущие финансисты нужны.

– Скорей, финансисты будущего, – загорелся первый студент.

– Да, если здесь людей из будущего вычисляют, то мы будем благороднее поступать, – мы будем поворачивать будущие финансовые потоки и реки, чтобы они стремились в Сибирь.

– Да к нам тут же слетятся, как белые мухи на лед, желающие работать, – сказал первый.

– Да, мы создадим несколько рабочих мест, чем заслужим одобрение в глазах окружающих,

– сказала первая студентка.

– Но все же, не находите, что это как-то мелко? – спросил второй.

– Да, как вот этот открытый бассейн, – сказала вторая, показывая на квадратный пруд, – где и воробью по колено... оставленный на месте пусть ужасного, но глубокого аквапарка.

И все четверо здесь же под каплями весеннего дождя дали друг другу торжественную клятву жить и думать так, чтобы превышать все время самих себя с тем, чтобы стать невычислимыми и неисчислимыми.

Незнайко

На ночь, чтобы убаюкать себя, задумал он рассказать, одновременно и вслух и про себя, русскую народную сказку «Незнайко». Сюжет он помнил плохо, поэтому решил украсить ее эротическими деталями, но, как ни старался, не смог. «Насильно мил не будешь», – подумал он. Дело происходило там задолго до поры глухого средневековья, – Незнайко олицетворял тягу к знаниям из глубин язычества, только-только освободившегося от магического детерминизма. Смотрел он, конечно, снизу вверх на новую свободу нарождающегося христианства. Христианство, в свою очередь, снисходительно относилось к этим попыткам познания. Все совпало. Так что Незнайко стал не только культурным героем. Внутри сказочной фабулы он двигался достаточно уверенно и все же хотел понять и нечто другое. В лесу, допустим, встретив волка, Незнайко улыбался ему широкой улыбкой непонимания, – волк только пожимал плечами. Сама собой сказка сказывалась, да все же не скоро сказывалась, а как-то долго, что же говорить об остальном? В той сказке было, безусловно, немало волшебного. Знакомый конь посоветовал Незнайко надеть на голову бычий пузырь и на все вопросы отвечать «Не знаю». За что он и получил потом такое прозвище. Сквозь этот непрозрачный шлем он мало что видел, да и его различали с трудом, так что считали жителем другого мира и смеялись над ним. Так и ходил Незнайко – дух познания – по только что появляющимся городам и селам в самом расцвете и своим ответом, а по сути вопросом предвосхищал искусство будущего Николая из Кузы с его ученым незнанием. Потом с годами, немного устав, Незнайко оседлал своего коня-помощника и стал ездить на нем, наводя ужас красоты на все окрестные места. Не то чтобы стал он образцом, но мерная поступь мудрого коня задавала тот ритм, который не столько убаюкивал, сколько, можно сказать, пробуждал нас для вешего сна.

Два Николая*(Отчим)*

Вечером в дверь позвонили. Ребята вместе подошли и, естественно, спросили: «Кто там?» Приятный мужской голос отчетливо произнес пароль из шести букв, что сделать, казалось бы, нелегко – это было нечто нечленораздельное. Мама им настрого наказала никому не открывать, если тот не знает или не сможет произнести выдуманное слово из шести букв. Но, судя по всему, там был кто-то свой. Они открыли дверь. На пороге стоял человек. Он был достаточно огромный. Лица его толком было не разглядеть, потому что в прихожей было темно, а на лестничной площадке наоборот. Тот протянул руку, и оба мальчика из вежливости, чтобы не здороваться через порог, вышли на площадку. Незнакомый мужчина смело шагнул в квартиру и там сказал:

– Я ваш новый... да что я говорю... я просто ваш отчим... меня мама ваша просила проследить за вами... ну, не проследить... а попробовать с вами.

– А как вас зовут? – робко спросил младший.

– Иван Кузьмич Негропонтов. А вас?

– Меня Николай, – сказал старший.

– А тебя? – спросил отчим младшего.

– Николай. Можно называть второй Николай.

– Да как же такое может быть? У вас одинаковые имена?

– А что тут такого? – спросил старший, – мы привыкли.

– Не путают вас?

– Да мы разные, – сказал Николай, – я же на год старше брата.

– Второго Николая или Николая второго?

– Второго Николая.

– А ты просто Николай? – спросил Негропонтов старшего, – а почему не Николай первый?

– Наша мама очень не любила Николая Первого.

– Почему?

– Потому что он сильно затянул с реформой крестьян.

– Понятно. Но вообще мама велела мне делать с вами уроки.

– Мы этим как раз и занимаемся. Если хотите, тоже садитесь рядом. – разрешил Николай.

Полдвенадцатого, когда вернулась мама, трое сделали почти все уроки. Мама пахла дорогим, по-видимому, алкоголем и сильными духами.

– У тебя какие-то незнакомые духи, – заметил Негропонтов.

– Да они когда прощаются с подругами, целуются, лобызаются со всеми, – пояснил второй Николай.

– С завтрашнего дня я буду жить некоторое время вместе с подругами, у нас важное дело, – произнесла мама и довольно быстро заснула.

На следующий вечер, когда трое делали уже новые уроки, в дверь позвонили. Негропонтов как старший подошел к ней и спросил: «Кто там?» Незнакомый голос пароля не знал, но стал уверять, что он их участковый. Негропонтов спросил его резонно, зачем тот пожаловал. Тот сказал, что ему поступил сигнал от соседей, что в квартире проживает незнакомец. Отчим долго изучал через отверстие в двери документ участкового и затем явно неохотно впустил его в квартиру.

– Кто вы такой? – поинтересовался в свою очередь участковый, проникнув на кухню. Негропонтов достал паспорт, и участковый сказал, что заберет документ для проверки. Тот не согласился, и они долго тянули паспорт каждый в свою сторону, пока Негропонтов не вытянул его обратно. Потом они долго сидели друг против друга, запыхавшись.

– А чем вы тут занимаетесь с детьми? – наконец спросил участковый.

– Не видите, уроки делаем, – сказал Николай, – а вообще-то отчим-то наш очень хороший человек.

- А вы давно с братом его знаете?
- Давно, больше суток.
- Так. А где мама-то ваша?
- Она на квартире с подругами делает газету «Российская женщина», – сказал второй Николай.
- На квартире... газету?
- А они ее сразу в интернет отправляют.
- Ясно. Ну, и о чем уроки, чтобы их троим надо делать?
- Мне надо написать сочинение, – сказал Николай, – о том, что может быть общего в образах Чацкого и Онегина.
- Знакомые фамилии, – произнес медленно участковый, – а, ну да... «Онегин» – это же опера... я в этой опере пел Ленского.
- Где это? – почему-то с недоверием спросил Негропонтов.
- В милицеской самодетельности. У меня на сцене голос прорезался. А ваш Чацкий... тоже знаком мне... да я же в этом спектакле участвовал... Там был еще такой скользкий тип... и притом безвольный... как же его? Молчанов.
- Молчалин, – поправил Николай.
- Точно. Вспомнил он противостоял волевым таким настоящим личностям – Софье, Фамусову, да и Чацкому вашему.
- А вы-то кого играли? – спросил отчим.
- Генерала... как же его?
- Скалозуб, – подсказал опять Николай.
- Фамилию не запомнил... важно, что генерал. Понимаете, я – лейтенант – играл генерала... Представляете, какая ответственность?
- Ну и справились? – спросил Негропонтов.
- Если честно, начальство сказало, что не очень. Но вообще оно строго смотрело за нами. Там, в драме той, кто-то к кому-то приставал, но у нас ни-ни. Режиссер все это сократил. Он сказал, что в школе милиции ставили тот же спектакль, режиссер там был ближе к букве, так через год одна артистка обратилась в суд, сказала, что один артист по ходу действия на сцене к ней приставал, причем прилюдно. Привела как свидетелей ползала бывших зрителей – там ведь все свои. Режиссер пытался сказать, что такой был режиссерский замысел и никто тогда при постановке не возражал, но его в суде поправили, – объяснили, что не замысел, а умысел. Так что ему и артисту не удалось отвертеться от ответственности... Но вообще, ваш Чацкий-то тоже... с корабля на бал... потом наверняка с бала на корабль... поматросил... в прямом смысле.
- Все замолчали, и вдруг Негропонтов торжественно произнес:
- Да вы же подсказали тему старшему Николаю.
- Что за тема? – спросил участковый.
- Ведь Онегин тоже отправляется в путешествие – какое, неизвестно. И Чацкий, видать, тоже... там они могли встретиться. Вот их общее.
- Да они могли на этом корабле... «Бигль»... встретиться, – неожиданно сказал второй Николай.
- Он как раз скоро должен был отправляться... они могли бы на островах увидеть зверей и животных разных...
- Участковый, вроде бы собиравшийся уже уходить, как-то странно помотал головою и снова присел вместе со всеми за кухонный стол. Дальше они писали сочинение вчетвером.
- А все-таки Чацкого этого я бы в порту при пересечении границы все же проверил, – сказал участковый.
- Почему? – удивился Негропонтов.
- Да наверняка за ним здесь шлейф тянется... проверить бы его за последний год... летун есть летун... Да и Онегин этот тоже кого-то там бросил... и генерала, правда, другого тоже, кажется, обидел.

– Вы что, не поняли? – воскликнул второй Николай. – Они отправляются вместе в важную экспедицию.

– А цель задания? Провырнуться, а потом прохладиться где-то на островах? Это все нам знакомо.

– Да они, может, исправятся, станут там нелишними людьми для экспедиции. – добавил Николай. – То есть сразу на двух лишних людей станет меньше. Да об этом можно пьесу в стихах написать.

– Сейчас и начнем, – сказал Негропонтон, почему-то потирая руки.

В форме выеденного яйца

Его всегда привлекала современная архитектура. Поэтому он с большим энтузиазмом стал участвовать в свободном конкурсе проектов жилых домов будущего. Он представил проект в виде огромного яйца, из которого улетел птенец птицы Рухх. «И уже не вернется, – так он им и сказал, – не надейтесь». Его проект довольно высоко оценила комиссия. Он занял почетное восемнадцатое место с конца. Так как всего был двадцать один проект, то всего ничего ему не хватило, чтобы быть в тройке. Но быть восемнадцатым тоже было почетно. С конца производился отсчет, потому что первым начинали окончательно просматривать и любоваться именно занявшим последнее место – чтобы компенсировать внимание. Всем конкурсантам вручали ключи от квартиры в их будущих домах. Он с некоторым содроганием думал о том, как будет заселяться в дом его мечты. Но так как это будет по подсчетам нескоро, то можно было как следует подготовиться. Прежде всего запастись скалолазочным оборудованием. Потому что влезать по внутренним вогнутым склонам огромной скорлупы представлялось головокружительной, хотя и заманчивой задачей. Главное, он думал, как втащить туда свой гардероб – многочисленные штаны, носки и галстуки – без которых он жизни не представлял. Ведь стоит упустить хоть одну вещь, она начнет катиться по белому гладкому склону с угрожающей быстротой. Ему не хотелось, чтобы, допустим, его ботинок – в особенности в связке шнурками со вторым ботинком – зашиб какого-нибудь человека – в особенности из союза архитекторов, который стоял внизу и любовался красотой сооружения. Так что ему предстояла новая, но увлекательная задача, как прожить в этом доме чистого будущего и, главное, как затащить туда друзей и знакомых.

Унисекс

Слово явно состояло из двух частей, смысл каждой был ему понятен, но совместное слово вызывало почти сразу улыбку, если не оторопь. Увидев на наклейке на пальто это слово, он хотел кого-то спросить, что оно значит, но спросить вокруг было некого. Он пришел в обширный магазин готового платья, поднялся на лестничном самоподъемнике на четвертый этаж и оказался среди огромных и нескончаемых рядов висящих пальто. Но ни одного не то что покупателя, но и ни одного торгового сотрудника не было видно. Только пальто и куртки разных расцветок. Он зашел сюда, чтобы выбрать себе пальто поприличнее. Пора было что-то поменять в этой жизни. Давно собирался, но как-то все не складывалось. То часы останавливались, когда он уже шел сюда, и приходилось срочно менять батарейку, то еще что-то. Он не был в таких местах довольно давно – по его прикидкам, лет тридцать пять, поэтому многое здесь было ему внове. Он прикидывал, какое бы ему взять, но глаза разбегались, и было не так уж легко. Попробовал он примерить одно, угрофинского, кажется, производства, – пальто показалось ему на вес легче легкого. И он его примерил, не снимая своего. Снять обратно оказалось трудно, но он и с этим справился. То, что некого вокруг было спросить, поселило вначале в нем небольшую тревогу и что-то похожее

на дрожь, но он подумал, что если он спит, то скоро проснется, а если – в реальности, то вообще бояться некого и незачем. Он стал – в который уже раз – размышлять о том, как отличить сон от яви. Критерия не было. Рекомендации типа «ущипните себя» не проходили, – он многократно щипал себя во сне и продолжал так же, ну или почти так же мирно спать. Здесь – среди висящих длинных курток и пальто – было самое место поразмыслить об этом не отпускающем предмете. Неоднократно, оказавшись во сне, он сознавал, где находится, но это часто не давало никакого результата. Он не просыпался, хотя и очень хотел этого, так что отличить там явь ото сна было не совсем реально. Если же он начинал в нашей яви – по его предположениям он находился здесь – усиленно размышлять, где он все же находится, то, как он заметил, он скоро засыпал, и все его усилия стирались. Сейчас, держась за эту наклейку на пальто, которое ему очень нравилось, он не знал, кого спросить и что ему делать. Был он человеком без определенного рода мыслей, но в этом, он считал, и состояло его преимущество, может быть единственное, и его надо было развивать. Слово «унисекс» поразило его своей универсальностью, и он хотел раздуть его до вселенских масштабов. Прямо здесь, взяв в руки это невесомое пальто, не подходя к кассе, которой не было видно. Начать нечто новое. Вынести на руках к огромному стеклянному окну над городом этой ненынешней и нездешней земли пальто – как невесомую невесту мысли. Где явь и сон соотканы вместе, – без единого стежка, сколько его не ищи.

Бывший председатель колхоза

Когда-то давно он работал председателем колхоза, но сейчас работал в другом месте. Будучи запенсионного возраста, он лечил животных-пенсионеров. Звери доверяли ему, чувствуя его добрую душу и крепкую руку. Он всегда уверенно делал им уколы и все остальное. В свое время ему много раз говорили, что не видят в колхозе том ничего хорошего. Но он не видел там и ничего плохого. Он вспоминал часто коровьи стада до горизонта, что было некоторым преувеличением. Он видел в воображении много тучных стад, хотя все же большая часть была тощих. Тогда приходилось работать в зоне рискованного земледелия, сейчас-то было по-другому. Приходилось оценивать урожай с каждого гектара. Приходилось подсчитывать убытки, и на эту калькуляцию уходила львиная доля времени. Он всегда стоял горой за гармоничное сочетание труда и отдыха: не отдыхать больше, чем положено, и не работать больше, чем требуется. Так что в тени этой горы можно было скрываться от назойливого летнего зноя. А весь подчиненный подъяремный скот и некоторые отдельные люди чувствовали себя как за каменной стеной. Не только к крупным животным: лошадям, коровам и свиньям он относился хорошо, уже тогда ему нравились, например, коты и кошки, хотя некоторые члены трудового коллектива пытались его уверить, что, допустим, какой-нибудь кот – это не тварь, а утварь. Но он уже тогда ценил kota не только за его гладкошерстность, полосатость и длину хвоста – он пытался к каждому зверьку относиться по-человечески, и они отвечали ему тем же. Сейчас эти звери или их потомки припомнили ему старое то отношение, так что к нему на прием выстраивалась достаточно длинная очередь. Хвост этой очереди иногда вырастал чуть ли не с ночи. Так называемые хозяева, а на самом деле по новым правилам лишь доверенные лица зверей, знали, что все будет в порядке. И смело шли в какой-нибудь паб или ночной клуб. Они были уверены, что звери в той очереди не подерутся, не станут выяснять между собой отношения, отложив это до другой более уместной встречи. Бывший председатель иногда выглядывал из кабинета, и иногда с глубокой тоской думал, что именно такого спокойного самосозерцания животных ему не хватало тогда, и что уже поздно учиться у зверей – и надо притворяться, что это ты лечишь их, одновременно учишь их и что-то вправляешь, на самом деле каждый из них понемногу вправляет ему мозги на место, но хватит ли им времени, чтобы объединенными усилиями сделать это? Спросить кроме себя было некого, но он обращал к ним свой взор, надеясь, что все же будет у кого.

Историки

Решился он наконец и направился в один из академических институтов истории.

Смело миновал вход, кивнув уверенно вахтеру, так что тот тоже ему заворожено кивнул. Направился он по наитию к ученому секретарю, и нить интуиции, а вернее, трезвый расчет повели его туда, куда предпочтительно двигались люди, – в направлении к нужным дверям. За столом сидела милая весьма моложавая женщина, которая оживленно беседовала с человеком средних лет с бородкой. Сразу было видно, какой у него проницательный взгляд.

– Вы что-то хотели? – спросила она, не теряя своей улыбки.

– Да. Вот хотел представить вам свою работу.

– Вы историк? – поинтересовалась она.

– Скорей, из смежной области.

– Какой же?

– Философии.

– У вас есть ученая степень?

– Есть... но другая...

– Еще из одной смежной области, – несколько иронически, но заинтересованно произнес человек с острым взглядом и с бородкой. – Так кто же эта соседка истории и философии?

– Не так важно... Важно то, о чем я хочу рассказать, – заторопился историк-смежник, – дайте мне десять минут, и я конспективно все расскажу.

– Ну разве что две-три минуты, – сказала ученый секретарь. – У нас скоро научный семинар начинается. Так что извините.

– Да я быстро... Вот основное. Надо или можно изображать историю на фоне людских судеб... и не человека как участника и соучастника огромных событий, где он растворен, невидим, но историю одного человека, например, моего деда, в котором история не просто отражена, но он является самой историей – огромная история как она видится ему, буквально создается им... понимаете... история, допустим русской революции, данная через микрокосм... понимаете?

– Что же здесь нового? – несколько напряженно спросил острый человек. – Вы какие-то современные статьи по истории читаете?

– Стараюсь... – как-то неуверенно произнес новоявленный историк. – Но понимаете, будет столько больших историй, сколько людей.

– И история разобьется на тысячи осколков, – сурово произнесла ученый секретарь, – не хватит бумаги, да и виртуального пространства, чтобы все это хранить.

– Но так мы увидим в огромной безжалостной истории отдельного человека.

– Но почему этим человеком должен быть ваш дед? – вновь спросила секретарь.

– Да не только он, не обязательно он, – заторопился пришедший историк. – Важно, что каждый...

– Ну, как всегда, либо что-то безумно радикальное, либо зады трижды известного, – подняв бородку высоко, произнес острый человек. – Вы что, всерьез хотите выступать с такой дилетантской работой?

– Но Марк Блок и Люсьен Февр... – начал новый историк.

– Это прошлый век, – прервал его историк с бородкой. – Если хотите, можете прийти на наш семинар, послушаете...

– Вот вы сказали «радикальный», – не желая еще заканчивать, заторопился новый историк, – по-моему, у меня все весьма умеренное и, можно сказать, весьма почтенное... вот я знаю одного другого историка... это действительно радикал... он полагает, что история как произведение искусства... и к тому же каждый день ее можно и нужно переписывать заново... смелыми мазками... ведь это наше достояние... все в нашей власти... мы можем познакомить английскую Елизавету и

нашу Елизавету Петровну, сочетать браком Наполеона с императрицей Марией Терезией, устроить диспут Мартина Лютера с протопопом Аввакумом...

– Чистый постмодерн, – сказала секретарь, – но, кажется, я догадываюсь, о ком идет речь.

– Он мне еще внушал: к ранцам не ходи, не поймут.

– Что он имел в виду?

– Он еще вас иранцами называет, – тех, кто работает в институтах РАН – Российской академии наук... он говорил, что независимые историки сохранились, быть может, где-нибудь по кафедрам провинциальных университетов... но лучше самим что-то создавать... видите, я его не послушался, пришел к вам...

– Да, этот историк-постмодернист... мы его знаем... к нам он тоже захаживал... и продолжает... мы сейчас идем на семинар, если хотите, присоединяйтесь, но только если обещаете вести себя тихо.

– Обещаю.

– Да он тихий, – милостиво улыбнулся историк-бородка. – Вот тот громкий.

– Да уж, тот историк-постмодернист несколько раз себя буйно вел у нас на семинаре, – подтвердила ученый секретарь, но его уже знают и на вахте не пропустят.

Вышел в коридор умеренный историк и в каких-то рассеянных чувствах не знал, куда пойти, как-то автоматически спустился вниз по лестнице. Выйдя из здания, он, ошеломленный услышанным, не сразу понял, какое на улице время года – то ли весна, то ли осень, – что-то межеумочное. И решил все же вернуться в институт на семинар, но дорогу ему преградил вахтер:

– Пропуск.

– Да я только что вышел. Я был сейчас здесь. Вы же меня видели.

– Пропуск.

В этот миг входные двери с громом распахнулись, так что дверные стекла зазвенели, и в институт ворвался какой-то человек, в котором умеренный историк тут же опознал историка-постмодерниста. Одним прыжком тот достиг вахты, прорвался, несмотря на раскинутые в стороны руки вахтера, и семимильными шагами поскакал вверх по лестнице. Вахтер хотел броситься за ним, но понял, что лучше, чем гнаться за двумя, хотя бы одного зайца удержать. И так и стоял, широко расставив в стороны руки.

– Видите, вы его пропустили, – сказал умеренный историк, – а чем я хуже?

– Ничем. Но и не лучше.

И историк был вынужден признать правоту вахтера. Отошел он в сторону и почему-то стал думать о колесе истории. Вначале перед его мысленным взором предстало колесо водяной мельницы. Но это ему не понравилось, и затем явилось огромное колесо на одном московском барельефе, колесо, которое, напрягая все свои мышцы, пытается катить какой-то обнаженный по поясу рабочий. Понял историк, что вспять колесо истории ему не повернуть, но, может быть, ему хватит сил, чтобы направить его хоть немного вбок? Недаром любимым мифическим героем его был Сизиф, и каждое утро, делая гантельную гимнастику, он представлял, насколько Сизиф, вкатывая вверх тяжелый камень, развил свою, особенно грудную, мускулатуру. Поэтому историк поднял и напряг свои руки и под зорким взглядом вахтера стал демонстрировать, какие усилия требует наука, чтобы действительно сдвинуть хотя бы на миллиметр в глубоко пробитой и протоптанной колее это тяжелое колесо истории.

Фигурное мышление

Всегда ей казалось странным и даже диким, что на соревнованиях по фигурному катанию на коньках в парах выступают только лица обоего пола. Вся ее изящная натура протестовала, и неудовлетворенное чувство справедливости звало к ответу. Такая явная дискриминация воз-

мушала ее и волновала в хорошем смысле. Почему мы не видим танцующих пар: мужчин и в особенности женщин? Как двух представительниц граций из трех возможных. Понятно, что вместе танцевать однополым близнецам было бы странно – они бы путались друг в друге, – кто с кем танцует. О трех близнецах и говорить нечего. Некоторые сказали бы, что это цирк. На что, впрочем, им можно было бы ответить: «Да, цирк, но в хорошем смысле». Но мечтой ее было увидеть пару стройных, на себя непохожих, девушек. В этот миг в самый неподходящий момент к ней в квартиру вторглась через интернет ее подруга Т. Но невольно ей помогла. Ее подруга Т. сказала, что нет ничего проще увидеть пару, да нет, даже тройку таких прекрасных девушек – достаточно ясно представить себе картину Боттичелли «Весна», где три такие грациозные девушки, если не сказать, в самом деле Грации, нежно так подняв прозрачные руки, обнимаются как бы через кисею или, может быть, тюль друг с другом. «Мне кажется, – добавила Т., – что одна держит в руке и любит чем-то прозрачным, возможно, это конек, сделанный из льда, не находишь, что это красиво?» Но она тут же ответила подруге Т.: «Когда мне говорят “красиво”, я настораживаюсь. Ведь чем ближе к красоте, – тем дальше от жизни. Тебе это в голову не приходило?» «Приходило», – сказала Т. «А надо, чтобы не приходило, а плавно так въезжало. Пусть даже прямо-таки на твоих ледяных коньках. Ты всегда говорила, что у тебя не женская, а железная или, лучше даже сказать, стальная логика. Вот по этой стали на коньках из льда и надо, чтобы это плавно въезжало. Ты можешь представить, что ты не на стальных коньках по льду, а на ледяных коньках по стали въезжаешь к себе в голову? Въезжаешь». «Я уже это пробовала, – возразила ей Т. – И при этом была даже ближе к жизни, чем ты думаешь, хотя немного красоты никому не повредит. Я себе заказала такие коньки и каталась на них по железному полу нашего завода. Но недолго. Коньки под ногами стали таять». «Но так это чудесно, – сказала она Т. в ответном продуманном слове. – Значит, действительно, остается любоваться коньками из льда на свет, на просвет. И когда ты будешь это делать, я тебя обниму и подниму в изящном обхвате над землей». «Но я же тяжелее тебя», – сказала Т. «Но это по жизни, – сказала она, – а там, в виртуальности, куда мы с тобой забрались, все по-другому». «Но не рискуешь ты отдалиться от жизни? – спросила Т. – да и получается, что ты сама себе противоречишь». «Но не могу же я все время противоречить только тебе, – сказала она Т. – Да, я рискую, но мы же должны с тобой выполнить этот пируэт». «Мне кажется, он будет легче пуха и пера», – в ответ сказала Т. Никто ей не возражал.

Иван БЕЛЕЦКИЙ

а лето-то было лето
а осень почти что зима
и чо я забыл в шинельке моей
на станции балашов

шел тридцать пятый год революции
да здесь больше охраны
чем на всей ювжд
и что с ней предлагается делать?

и чего я сошел с косогора
и чего я ехал всю ночь
в вагоне сидячем
и почему темно и луна
и чего бы не жечь газеты
и плакаты о безопасности на

невежливый пригород
времени больше нету
горит супермаркет свет свет свет
свет это лес света
это света заглавный день
это проговоренный устно свет
свет мировых костей летом я покупал тут последнее летнее
летом я смотрел как из огня катятся овощи
почти достигая горячей дороги

переходишь через реку
(вымышленный брод)
супермаркет у шоссе
возле лесополосы
видно головы святых

Иван Белецкий родился в 1983 году в Краснодаре. Работает журналистом. С 2013 года живет в Санкт-Петербурге. Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Волга» (№1-2, 2016, №1-2, 2017, №9-10, 2018), «Зеркало», Prosōdia, «Полутона» и др.

ты устанешь конечно
перейдешь через речку
а там
пригодятся винтовка
котомка с живым котом
и радость отложенная на потом

Не работают ритуалы скорби
не работают празднички
ритуалы починки
не работают тоже
плохо работает обряд сожжения столицы
ритуалы древесного огня
и осенние яблочные ритуалы
и жалостливые песни сидячих вагонов
и ритуал выхода в ночной сад:

там блуждающий огонь пролетит
там
а за ним пустота там

у меня худые плечи
и бездомная шинель
где бы милая прилечь нам

тра та та тра та та
никогда не бил мента
чижикиа собаку
царя воробья зверей
товарищ товарищ
мы заперты в русском дворе
товарищ где наше утро
товарищ где наши минуты
куда улетела шапка
куда закатилось небо
пойдем принесем партизанских вещей
по партизанскому снегу

Станция Обловка

художник-некросюрреалист проезжает зарослями
мимо пустых коробчатых корпусов
цаплей выходит к переезду с царской еще стрелкой
смотрит как солнце уходит под рельсы
что за станция спрашивает
обловка – отвечают ему –
обловка

на том и разговорились
оказывается сторож живет один
у него
никто не помер и не воскрес
и потому двигался несколько как механизм
говорил тамбов заселили медведи
а в моршанске хозяйствует банда
называющая себя мичуринцы

москвы давно нет но туда и не надо нам
мы едем дальше на юг
где еще остались подсолнечные поля
виноградные буераки морские праздники
курортные смены блюд
знаменитые белые утесы донецкого кряжа
белым мазанные деревья
белые солончаки и вулканические пляжи тамани
бронзовые орлы
не то что тут где видно
траву-канадку и одинокую печальную
голую вечернюю трубу маслозавода
и слышно черноземную песню:

степи развевайтесь
рай приди приди

головы лежите
история прости
сторож был смутьяном
сторож был орлом
он сказал поехали

и мы поехали

Екатерина ДЕРИШЕВА

*

голос в движении выводит границы материка
деревья дом у озера на котором поселится время
генерировать листья и их оттенки следить
сколько на свалке смыслов выброшенных игрушек

*

мутным стеклом
переливается закат
за край жизни

цветок истории
открылся во время войны
график работы – неопределенный

[можно уловить запах событий в момент раскрытия]

наши жизни пиксели
на полотне смерти
где кладбищенские гвоздики цветут круглый год
и цветут
и цветут
и цветут

*

язык проворачивается с языком

система мышления непрерывно меняется
переводится с двоичной на десятичную

ракурс поцелуя меняет значение

Екатерина Деришева — поэт, переводчик, культуртрегер. Родилась в 1994 году в г. Мелитополь. Автор книги стихотворений и переводов «точка отсчёта» (2018). Публиковалась в журналах «Двоеточие», «Новый берег», «Крещатик», Homo Legens, Wizje (Польша), «Литература», «Арион», SoFloPoJo (США, Флорида), антологии «Soloneba», на сайте «Полутона» и др. Переводы вошли в книгу Лесика Панасюка «Крики рук». Соредактор журнала «Контекст», организатор одноимённого фестиваля. Живёт в Харькове.

силой архимеда выталкивает частоты

влияющие на гурт момента

*

разбитые стёкла

улетают с насиженных мест пылинки с комода

плоды мечтают о засухе

*

ритм сердца разбивает

руки в вакууме

[протяжённость момента
в такте замедленной съёмки]

не находят отпечатка

*

заблудился в себе

сделался стрелкою циферблата на прогулке с псом

не контролирую радиус времени

*

видоизмененный макет реальности

алфавит воздуха и есть материя

надпись на плитке анаксименовича

моё агрегатное состояние меняется

одна из груд земли

*

касание

голос распадается

будто пирамида из бильярдных шаров

*

тело прорастает цветами

зёрна зрения

маятник аромата колеблется

шёлковые руки

требуют бессмертия

ЖИВИ ВЕЧНО!

Рассказ

«Ранним утром он возвращался в приподнятом настроении. Северное лето в зените – по земле растеклась малоподвижная белизна, в ней вздрагивали от тревожных видений животные и птицы. Мир дремал под многократно искажённым восходом, который не восстал ещё над равниной, но блеклый, остановившийся с вечера свет разгорался, завладевал холодным воздухом и снами.

Всё сложилось. Он узнал своё будущее и пропустил через себя ощущение предназначения, для поисков которого рождён мужчина. Хотя он шагал обыкновенным своим маршрутом – известен каждый придорожный камушек, рекламная вывеска, автобусная остановка, деревце и цветок на газоне – несмотря на это, движения его были осторожнее обычного, ведь ему чудилось, что он несёт хрупкое знание, которое ещё не окрепло в речи и его может развеять зевок ветра. Он не знал другого способа превратить это в твёрдость, как рассказать жене.

Двор их дома был огромным колодцем, и утреннего света сюда поступало немного. Солнце не заглянет через четыре крыши и не упадёт вертикальным взглядом на поверхности машин, детскую площадку, узкую аллею, по которой он теперь шагает, выкуривая последнюю сигарету, пока не наступит ясный полдень.

Что-то таинственное мерещилось в этой остолбеневшей утренней жизни, которая по часам ещё остаётся самой натуральной ночью, однако свет обнажил её... Как если бы жена вдруг очнулась под белой глазницей машины, пока учёные внимательно записывают её сновидение и замирают, когда жертва безразумно просыпается – сознание спит, расщеплённое ядами, – она слепо оглядывает лица, освещённые зелёными лампами, искажённые злобным ненасытным любопытством; обводит их изумлённым, пустым взором, не отлипшим от сумеречных образов, и вновь проваливается в забытие, чтобы никогда не вспомнить этой минуты, но сон её перестаёт быть безопасным, ведь всюду вокруг, оказывается, свет, а в голове – мгла.

Жена не спала.

Перед тем, как заметить, он долго возился с дверью, снимал обувь, верхнюю одежду в коридоре, на цыпочках входил, старался не слишком громко хрустнуть замком изнутри, чтобы никто чужой не вполз в квартиру, где теперь до самого настоящего утра просидит, распивая чай-кофе, думая о дыхании великого будущего, которое выбрало его... Будет стеречь её сон, а часов в семь, когда утро придёт по-настоящему, – когда начнёт пробуждаться город и примутся затапливать печи заводов работяги, завязывать галстуки служители казённых домов, готовиться сесть за привычную рутину клерки корпораций – разбудит, чтобы её белый северный день начался с любви...

Мечта наполнила его горьким навязчивым предвкушением. Несмотря на то, что он умывался холодной водой, в паху стала накаляться петличка желания.

Константин Куприянов родился в 1988 году в Москве. Окончил Всероссийскую академию внешней торговли по специальности «Международное право», семь лет работал юристом в коммерческих компаниях. Выпускник ВЛК при Литературном институте им. А.М. Горького. Публиковался в журналах «Нева», «Знамя», «Октябрь» и др. Лауреат премии журнала «Знамя» (2017), премии им. Марка Алданова (2017), премии «Лицей» (2018). Предыдущая публикация в «Волге» – повесть «Толя Швейн и Святой» (2017, № 9-10).

...И утренняя тишина будет наливать её, – думал он, тщательно отмывая руки, потом закатывая рукава, намыливая запястья... – превратит к семи утра в передавленное болезненное желание, которое через тело перекинется на жену как самая подлинная, какую только он умеет дать, страсть; и они станут – он замер перед своим лицом в отражении, на котором была начертана предопределённость смерти, – долго, неутомимо любить друг друга. Отражение закончило фразу вместо него.

Только теперь, выйдя на порог ванной, он обнаружил, что все эти минуты – жена не спала.

Серым неподвижным комочком, одетая в его позавчерашнюю рубашку, сидела на стуле, подобрав ноги под себя, посередине кухни, в равном отдалении от стола, подоконника, кухонного гарнитура. Подняла на него, когда подошёл, глаза цвета тинистой воды, настоявшейся за ночь до горького речного яда.

Ничего не сказала, но на секунду её лицо смягчилось, узнавание осветило его; полуулыбкой она спросила: “Испугался?” Он качнул головой, замер над нею.

Улыбка погасла, и она смотрела завороженно – заволаживая ответным кукольным, пустым на поверхности, но бездонным, если думать, что знаешь её...

Гадал: утро выволокло её из постели, бросило перед восходом на стул и заставило глядеть в невнятную туманную рябь неба?.. Которая в одни минуты светлела, а в другие – когда солнце проглатывало потоки дыма, рвущиеся из соседнего городка, где производства никогда не молчат, – превращалась в непроглядную пелену; так что пока его мариновали в недрах проектного бункера, серость ртутным паром травила разум жены... Сначала сделала его мягким и пластичным, мысли преобразила в жвачку, отчего перед её глазами полыхнула незамутнённая красота природного мира, и жена стала опять почти ребёнком, но, разумеется, лишь на миг, ведь зло уже много лет как отравило её и мою внутренность... А когда пройдёт время, газ вовсе отключит в ней всякую способность думать, познавать и, наконец, даже ждать меня обратно... – так я и превращусь в ясную неизбежность, как приход и кончина солнца – так и сотрётся питающее нас незнание.

Вздрыгнул, когда представил её отравленное жадным севером будущее: идеально красивая кукла, высеченная из самой белой человеческой материи, худенькая, но с ранних лет покрываемая фарфоровым отблеском; её икры, ягодицы выстраданы долгими беспощадными тренировками, кубики пресса отливают гордой бронзой – доказательства непреклонности духа и упрямой тяги к совершенству. Он представил её будущее атлетичное тело и как оно однажды окаменеет, как его просветят хитросплетения любопытных молчаливых лучей – представил, как под совершенную летнюю тишину станет через много лет будить её по окончании долгого эксперимента, и она не узнает его... вдруг день, в приходе которого он не сомневался, – сегодня, и настал черёд его амбициозной голове опуститься в человеческий ад?..

Жена повела зрачками, что-то треснуло в прохладном неподвижном воздухе между ними. Ударил следующая секунда, жена потянулась к нему – буквально взяла за запястье в том месте, которое обычно схвачено часами – и нежно поцеловала кожу его руки с тем же застывшим немым изумлением на лице, обращённым снизу вверх. Он почувствовал, как желание быстро охватывает его, вспомнил, что сорок часов минуло с тех пор, как он встал от любви прошлым утром и ушёл на работу. Вспомнил, как искалечил руку много лет назад и как невозможно было поверить, что вновь она будет слушаться, а кто-то – любить её.

– Как на работе? – спросила она, легко вставая и направляясь к чайнику. – Тебя очень долго не было. У Никифорова жена тоже звонила – говорит, он вчера не вернулся и даже не написал.

Наполнив заварочный мешочек листьями чая, через плечо вопросительно смотрела на него. Он улыбнулся, как улыбаются люди, чей великий труд временно приостановлен, и усталость соединяется в них с заслуженным самодовольством.

– Всё хорошо. Сейчас расскажу.

Опустился на стул, который только что занимала она. Но дерево плохо держит тепло, а это был деревянный стульчик, ребристый и хрупкий, так что он не просидел на нём долго, не впитал толком её след. Почти сразу нервно поднялся, причём сам почувствовал, что встаёт как бы неравномерно: дух рванулся прежде тела, а тело рассоединилось: стало состоять из элементов; и вот уже руки давно мнут тело жены – он так ждал его!.. Там, в тёмном заточении и безвестии; и наконец-то она стоит, мучная куколка, склонив голову, так чтобы ему доставался запах её затылка, смотрит на голую стену без ужаса, но открытая к боли...

Вдруг куснула его.

Как хитрый хищный зверёк извернулась и достала его руку; и когда он вскрикнул, метнулась прочь с восторженной улыбкой в угол кухни. Поправила волосы, запахнула рубашку, скрыв грудь и живот от него, но не застёгивая, будто приглашая пробовать снова – побегать за россыпью кремовых родинок на белой упругости, попытать удачи собрать их в чёрный, как запёкшаяся кровь, комочек. Однако он удивлённо смотрел на укус, появившейся на локтевой стороне кисти: как от кожи сначала отлила кровь, на миг побелела, потом из неё проступили алые капли.

– Ничего себе.

Время снова пошло по-обычному медленно. Жена пугливо приблизилась к нему. Рубашка оказалась застёгнута, она наклонилась прикоснуться губами к ране, которую нанесла, и, помедлив секунду, будто распробовав железо, проглотила маленькую каплю крови. Взгляд её выражал покорность и отрицание всякой вины.

Чайник вскипел. Её губы раскрылись так близко, что он услышал теребящий волосы выдох. Он думал, что сейчас схватит жену, но вместо этого стоял, замороженный кровью.

Разлив чай по стаканам, она подвинула стул из середины комнаты к столу и первой села, опять подобрала ноги.

К тиканью комнатных часов прибавились прихлёбывающие звуки – что-то вечернее... Но он и должен был вернуться вечером. Вдруг представил, как в пустоте жена просидела все эти часы, голодная и неутомимая, весенняя кошечка, и приятное сонливое ощущение дома запоздало тронуло его. Быстро, впрочем, улетучилось...

Все эти шесть лет он думал, что если разгадает её запах, если сумеет рассчитать, при каких условиях какие элементы заставляют работать его формулу, то уравнение будет взломано... Причём маячила надежда, что разгадать удастся и всех прошлых и всех возможных будущих женщин.

Ключа к её кисло-солоноватому, молочно-кремовому, дынно-яблоневому шлейфу не существовало. Она смотрела исподлобья, угол стола разделял их тело, колени жены медленно расходились навстречу ему...

– Так что случилось? – спросила жена. – Спасибо, что хоть написал, кстати...

– Ракету сдадут, не волнуйся, мы прошли проверку.

Лёгкое головокружение, хотя чай жёг горло, но, видимо, был не в силах восстановить сцепление сознания с реальностью, и чувство несуществования размешивало его, как сахар, по бездне... А перед глазами сидела влажная жена, будто утренняя роса выпала на серебряном теле, и он почувствовал, как во рту всё делается сухим и нужно её прикосновение, хоть мимолётное, чтобы выбраться из наслаивающегося лабиринта засыпания, но всё безнадежно, и проваливается снова, снова, снова...

– Та самая проверка?! Так рано?

– Да, они специально дали неверные даты...

– Поздравляю! – она хлопнула в ладоши, но никому это не понравилось: эхо слишком громко треснуло по спящей квартире.

Проснулась кошка, сорвалась с карниза птица – рухнула в розоватое облако на дне колодца. Во дворе чихнул метущий улицы человек низшей касты.

- Это не всё
- А что ещё?

– А ещё... барабанная дробь! За Никифоровым пришли. Да!.. – подтвердил он, увидев, как глаза жены делаются большими и разумный свет возвращается в них, хотя даже нет шестого часа и день в отдалении. – И не только, – поспешил сказать он. – За Хамишем тоже. Говорят, крупное дело. Оба сейчас уже арестованы. Все выходы были закрыты, вот мы и не вернулись вчера. Допрашивали всех старших. Я думал, тут пойдут слухи, и вы узнаете... Следующая смена должна была видеть.

– Нет, – пустым голосом ответила жена.

– Всех старших инженеров, всех из конструкторского отдела, всех в общем – попросили задержаться. «Задержимся», – а на деле арестовали без предъявления на тридцать часов. Всю ночь трясли наши компьютеры, базы данных. У них весь доступ был: секретка, совсекретка – Никифоров, похоже, такого не ожидал. Они менялись: днём одна группа, ночью вторая, а утром, то есть вчера утром, опять первая приходит и говорит: «Ну, а сейчас за работу, что вы стоите?» А мы, естественно, переглянулись: ладно, все уже полумёртвые, но «Как это за работу без Хамиша?» – спрашиваем. И тут меня отводит. Их Главный, полковник вроде. Он до этого всё время молчал с нами, только с телефона всё читал что-то и другим говорил, чего делать. Так вот, отвёл меня и говорит: «Ты давай не как попугай вопросы задавай за остальными, тем более глупые, а инициативу проявляй. У вас же проект на нынешний и тот год утверждён?» «Утверждён-то, понятное дело, но полный проект только у Хамиша и Никифорова», – отвечаю. «Вы всё по циклам делаете, так?» – спрашивает. «Так-то так, но Хамиш ведь...» – возражаю. «Ты фамилию эту забудь и до допроса лучше её не говори больше», – злится.

Он перестал рассказывать. Она коснулась лица, попыталась снять маску ужаса – напрасно – та намертво впилась в её щёки и брови и скулы и даже убавила фарфоровый блеск. Ни желания, ни нежелания не источало больше тело – теперь только любопытство держало её в сознании. Он с большим удивлением разглядывал метаморфозы. Тёмно-зелёный чай влил в радужку глаз жены маслянистый отсвет, напряжённую слепую силу.

Он протянул к её коленям руки, стал водить по её коже, потом добрался до сгибов ног.

Уже несколько минут она сидела по-турецки, а до этого дожидалась его под утренним окном, так же сидела, да может быть она и всю ночь сидела в одном положении, отчего пот обильно скопился на ногах с внутренних сторон сгибов, куда никому, кроме мужа, не добраться.

– Сколько ты не спала?

Он стал искать, куда бы можно было провалить пальцы, чтобы они вошли в неё глубоко, как в переспелую нектариновую мякоть, и вдруг фантазия поселилась в его сознании: что тело жены это не одно тело, а несколько сочленённых тел, ведь всегда, когда бы он ни находил её застывшей в медитации, или за чтением книжки, или за бесконечной перепиской через соцсеть – она вечно сидит в одинаковой позе – колени её сладко согнуты, и из-под них, из этого места, которому, читал в отпуске, нету названия на русском языке, пахнет озорной прелой сладостью, и в ней столько голосов, что не верится, будто это одна девушка...

– Не помню, – сказала жена.

И весь этот пот – старый и новый – сегодняшнего и вчерашнего урожая – весь принадлежит ему, потому что она ждала его и никаких других причин сидеть тут у неё не было – а ждала потому, что так решило мудрое женское тело, в которое он старается не вмешиваться и вообще никак особо не интересоваться его устройством, а всё отдать на откуп... потому что она знает, и докторша знает, и бабка из деревни знает – короче, женское тело – женская участь; это такая наука и конструкция, которую он понимать боится и не хочет и, может, даже самую малость брезгует, ведь это наиболее живое и открывшееся ему за всю жизнь, кроме, пожалуй, матери когда-то, очень давно, но то не считается, с тем он ничего поделывать не мог; а всё прочее в его жизни – это всегда чертежи и цифры, и компьютеры, и уравнения, и планы-

графики, а потом, во взрослом мире – вечно сорванные сроки, нагнанные сроки – короче, только сроки, отчётность, инспекции, проверки, допросы, контроль и ложь... короче, всё что требуется, чтобы выжить из скудной северной земли что-либо ценное. А жена и пот жены – единственное живое, что у него было и есть.

– Что же ты не рассказываешь дальше?

Он всегда служил математике, пока как-то раз не пошёл за телом жены, не погнался за ним, с каждым рывком чувствуя, как новая молодость посещает его и как он догоняет самого себя, оставленного на пороге института, и он нагнал – себя молодого, умного, блестящего, но гаснущего, и юную её, способную на всё, остановившуюся, чтобы оглянуться, кто это там сопит в спину – ему стало смешно, когда он вспомнил...

А если серьёзно, то он и сейчас боится – он же полностью сделан из цифр, а не из вот этого всего... не из этих запахов и взглядов, полных то игривости, то загадочности, то смерти, то желания... вполне осознаёт, не дурак ведь, что её пот, и верхняя часть её кожи, и весь урожай, который он может рукой собрать из её волос и крика и намотать на кулак и засунуть себе в рот, чтоб хоть чем-то питаться вместо воздуха, пока она душит его и мурчит, выжимая из его глотки последний животный хрип, затягивая петлю до буквальной смерти, – так сильно душит его неистовая, молчаливая юная жена, как если бы ей хотелось выдавить его до последней капли.

Если счастье будет разгадано, то оно исчезнет! – подумал он и с тем проснулся. Они сидели на той же кухне, и время не двигалось, пока он спал наяву.

– Расскажи ещё.

Он с плохо скрываемым раздражением отступился и потушил себя и опять почувствовал, как разум преобладает над неразумом, и усмехнулся тёмной непослушной материи в себе, увлеченной живою девушкой.

Он нехотя отцепил от неё руки.

Кошка встала между стульями, найдя лазейку между ногами, сплетёнными, жадно подолгу прижимающимися друг к другу, принялась мяукать.

Жена встала и насыпала ей еды, но кошка мяукала, будто заведённая писклявая игрушка; не затыкалась, пока уже он не выдержал и не встал и не ткнул мордочку в пружинящее мясо; тогда животное озлобленно зашипело; вырвалась, куснула, исцарапала его, отпрянула.

– Ах ты!..

Жена была уже тут как тут. Снова она слизнула с руки кровь, его гнев потух в ней

Потом жена, вновь на стуле, протянула в сестринском жесте руки, взмахнула выющимися волосами, склонила шею, чтобы он глядел на неё, пока рассказывает:

– Потом полковник сказал, что будет комплексная общегородская проверка. Все цеха, все блоки... Потому что последние испытания, ну, ты знаешь. А я же с другого объекта. Так и намекнул мне, мол, мы вас знаем, помним... Выходит, мы тут не просто так, – он кивнул в окно, и оба поглядели на бетонную стену напротив их бетонной стены, по которой раз в день скатится сольная слезинка, а больше не произойдёт ничего.

– Их всех отправят в Москву, – продолжал он.

В страхе жены появилось серо-чёрное, никак не связанное с ним. Уязвлённый – он глядел, как это растекается по кухне; любопытно было протянуть в это руки и попытаться понять, что и откуда; а пахло там иначе, чем пахнет обычно для него, – отчаянием и неутолимым желанием, которое он не накормит.

– На главбухе – вышла, наконец, жабка из башенки – лица не было. Просто белая пошла. Смотрела вниз. Всё поняла. Все они... заплатят. Никифорова и Хамиша запаковали там же и прям на вертолёте отправили в ставку. Может быть, они и сейчас летят, – жена будто зачарованная слушала рассказ и легонько качала головой, лёгкий сквознячок находил лазейку в запечатанную капсулу квартиры и колебал её ласковую нежную головку.

– Будут большие перестановки! Я поначалу ничего не понял, но сегодня... вчера вечером до меня стало доходить! Он оставит меня старшим контролёром, если я сейчас справлюсь. Я буду тем, кто... – он хотел воскликнуть, но вместо этого наклонился и урвал её тёплый поцелуй, но она отстранилась и дала жестом понять, что хочет, чтобы он рассказывал дальше. – Меня, скорее всего, поставят на место Никифорова. Ну, или в крайнем случае, зама Никифорова. Мне намекнул этот... полковник. Он знал меня – он только со мной говорил всё это время. Спрашивал моё мнение... Они собираются дать мне выпустить ракету.

Он замолчал. Ждал, как она ответит. Жена не спускала с него глаз. Постепенно страх погас в ней, она скользнула на его колени, он почувствовал, как наконец-то счастье высвобождается, чтобы соединить их. Стал говорить тише:

– Мы обсуждали, что полностью можно перестроить систему. То есть сейчас она дырявая. Я тебе объяснял. Никто ни за что не отвечает, и, по сути, всё упиралось в Хамиша. Как Хамиш скажет, так все и делают. Стоит ему уехать, сразу цех-один встаёт, цех-два выбивается из графика, а остальные просто начинают валять дурака. Особенно служба контроля. Эти вообще. Я сказал ему, что надо её всю менять.

– Службу контроля?

– Ну, да. Думаешь, почему именно Никифоров? Почему не Травин, не Гашевский?... Нет, всё дело в контроле. Они теперь понимают, что без контроля ничего не собрать...

– Ох, – жена, откинувшись на нём, притронулась к животу и поморщилась.

Он сразу обнял её. Несколько секунд глядел на неё неподвижно, пока она вздыхала и выдыхала, будто восстанавливая сбившееся невидимое балансирующее устройство. Потом её дыхание сделалось обычным, глаза перевернулись и снова стали лучиться живой радостью, встретившись с его глазами.

– Нет-нет, я бы сказала, – смущённо сказала жена.

Как можно столько есть? Кошка почти сожрала содержимое миски, наполненной с запасом на будущий день.

– Если у меня будет такая должность, то мы сможем... – остановила его губы. Волосы выкрасились от пришедшей дымной серости в талое серебро.

Жена стала приподниматься и опускаться, сидя на нём, но он ничего не чувствовал. Ему хотелось целовать серебро, но на поверку оно оказывалось безвкусным, сухим. Волосами. Он просыпался. Жена по-прежнему двигалась. Засыпал.

Сегодня за окном пробуждался чистый золотой свет, а не отравившая их нерождённых детей смесь химических элементов и скудного северного песка, развеянного ветром по самым отдалённым городкам.

Главный контролёр. Не какой-то там лишаем покрытый Никифоров отпустит ракету в небо, а он!

Очнулся. Кошка давно вылизала всю миску и теперь отчаянно мяукала.

– Не ходи. Пусть сдохнет от своего мяуканья. Мне опять на смену. Следующие тридцать три месяца, и всё, ладно? Поедем куда хотим.

– Секретность... – ухо обжёг её страстный выдох.

– К чёрту – решу, – он поцеловал её, но сил было не много, и она скоро одолела его, повела его рот туда, куда было ей нужно, куснула губу. Снова во рту возник вкус крови, он сглотнул свою ярость.

– Теперь у меня есть предназначение, – беря её обеими руками за затылок и останавливая, сказал он.

– Уничтожить мир? Хорошенькое...

Он увидел не жену, а далёкую минуту, где ставит последнюю визу: “Согласовано” и отпускает грозное орудие смерти на поле боя, гарантирует будущему: если вы станете вести себя плохо, то вас прихлопнет это...

Он знал, что жена не любит дело, которое привело их в это место, к этому заводу, в одну из тысяч однотипных северных сот-микрорайонов. Но сейчас её взгляд излучал только усталость и нежность. Первые слова вышли из её груди хрипло, но остальные были ласковыми и мелодичными, как осколки песни:

– Всегда знала, что ты добьёшься, чего захочешь...

Из форточки стали доноситься звуки просыпающегося двора, загудело отдалённое шоссе, стал урчать один из цехов неподалёку. Она страстно оплела его рукой, та превратилась в змея. Она притянула его губы к своему горлу, чтоб он говорил в него, как будто хотела, чтобы голос попал в её шею через кожу и поцелуй и был там чем-то осязаемым.

– Шёл вот сейчас домой и думал, – говорил он, уткнувшись в её тело, вдыхая и выдыхая с её медленным дыханием в унисон, – что вот, это оно. Дело, ради которого я появился. Только я. Другой сделан для другого дела. А я для этого. И я это узнал. Это счастье же? Узнать, что что-нибудь тебе принадлежит. Или одни беды от этого?

Какая-то сила отстранила его от тела жены, заставила посмотреть в глаза. За поволокой усталости ничего не было. Он знал, в какой час каких суток, в какое время года и на каком свете меняются эти зрачки: как они глядят, когда жена смеётся, плачет, обижается, боится, умирает от удовольствия, или желания, или ярости. Кажется, он знал про эти глаза всё, купался в её взгляде, как в воде, никогда не опасался, что пойдёт ко дну или что хитроумная волна ударит его, опустит без сознания и, закрутив течением, свирепо уничтожит.

Хотя в них не было ничего особенного, и свет их был ровно таким, каким должен был быть в шесть утра, майским днём, когда солнца по северной земле разлито очень много и тьмы почти нигде нет, – он чувствовал нечто странное. Источником должна быть не она – не существовало ни одного видимого, доказуемого признака, что это связано с ней, – однако он продолжал смотреть безотрывно, понимая в ужасе, что это в ней, только в ней одно дело! Она что-то изнутри говорит ему, а он не в силах прочитать, потому что это не написано, не продумано, нигде не произнесено... Этого нет, но не высчитанная наукой энергия направляет это в центр его сознания, позволяя там вспыхнуть аду.

И в заполонившем утро поцелуе тоже не было разгадки. Предчувствие неправды сгушалось в его сердце.

– Меня будут ненавидеть. Не только ты. Многие будут ненавидеть. Не лично. Но сам факт того, что я есть, будет им понятен. Раз есть ракета, значит, был кто-то, сделавший её и поставивший последнюю визу. Я буду заслуживать людской ненависти. Но высшая правда останется за нами.

Взгляд жены перекрасился в удивление.

– Должно быть оружие, сохраняющее баланс, – твёрдо сказал он, в этом его сонный рассудок не сомневался.

Неустанная, напряжённая работа многих тысяч людей – моя в их числе – приведёт к тому, что оскалившийся, ничего не знающий о жизни и о гибели металл соединится в оружие, ему останется только ждать. Ему нечего бояться времени. Он либо дождётся, либо напится ужасом, который течёт по миру от знания, что металл может их уничтожить. Как белая ворона. Ждать, что именно она полетит, если они прикажут. Сила воли всего человечества выражена в этом оружии.

Жена побледнела.

Кошка легла рядом, принялась кататься по холодной плитке, пока жена кончиком пальца играла с ней, пыталась достать пушистое брюшко. Кошка протягивала лапки и, не выпуская когтей, ловила палец жены в объятия, но не слишком усердно, поэтому жена то и дело промахивалась мимо кошачьего тельца, а когда попадала, то с нежной улыбкой перекачивала его с одной ледяной плитки на другую.

Тогда, собрав остатки сил, он перенёс жену в их спальню и закрыл дверь, чтобы ничто третье не вошло и снова не отняло друг от друга.

– Я ничего не хочу разрушать, – говорил он жене, бесконечно глядя её, как она гладила кошку, и превращался сам в одну сосредоточенную кровавую ракету. – Но если это всё, для чего я был сделан?.. Если это единственное... я не смогу это отдать.

Жена не отвечала.

– Я просто хочу, чтобы ты была в безопасности, – прошептал за закрытой дверью комнаты, чтобы ни кошка, ни другие демоны, которые так пугают её этим утром, не услышали. – Что-бы ты могла сказать малышу: «Живи вечно, мы в безопасности благодаря папе».

– Зачем ты это говоришь? Этого не будет, ты же знаешь, – глаза полыхнули, она ответила с холодным достоинством.

Потом её рука медленно заходила по его волосам... постепенно приказывала: как надо, двигаться, как глубоко в её серую грудь он должен пойти – в невидимый золотой пушок, в крапинки пор кожи, откуда пахнет его женщина.

Ещё несколько минут – и страсть превратит её руку в оружие любви. Начнётся так не похожее на нежность и уважение, и он станет делать что делают все – в напрасной погоне за сутью женщины. Вроде бы просто: не делай зла, уважай её, приноси ей наслаждение – но почему всё это выглядит как уничтожение, как боль, как способ пустить кровь своему самому родному человеку?

– Скажи, что получится, – простонала вдруг жена, и теперь ему захотелось быть жестоким с ней, как она была с ним.

Оторвался от её груди, схватил за талию крепко, насколько хватало сил у несбалансированного тела, притянул к себе. Он почувствовал, что стать с ней одним целым неизбежно, даже если ракеты уже запущены.

Её глаза безотрывно смотрели в него, а в груди набух ком крови.

Он взял руку, которая всё ещё блуждала по его волосам, и поцеловал запястье – дельту из десятков синих вен, тонкую кожу, мягкие суставы. Такая же, как его рука, но никогда не сломанная. Их взгляды соединились, он полмгновения смотрел на жену как на новое, никогда не произнесённое чудо. Ясное предчувствие всего, что случится и когда-либо случалось между людьми, озарило его изнутри, вмиг переспорив науку университета.

Сейчас он поцелует её, и комната до потолка заполнится любовью.

Вместо этого он помедлил и вдруг сказал:

– Год назад, в этой квартире, в этот день, ты переспала с Никифоровым. Пока я был на смене.

Три или четыре секунды длилось молчание. Глаза жены выцвели. Он мог точно сказать, как каждую секунду менялся их оттенок. Вначале они были страстно-кариими, потом томно позеленели, потом серый ужас взорвался в них, потом чёрное мерзкое лукавство и красная, бездонная женская похоть, которая – он узнал только сейчас, через тридцать лет как его отсоединили от единственной верной женщины – столь всеобъемтна, что, если разбужена, мужчине не обуздать её.

Он отшатнулся. Оказывается, нужна лишь пара мгновений, чтобы увидеть цвет её, прятанный за серебряной неподвижностью и гордыней. Его любовь вызрела в ненависть.

– Нет, этого не было, – раздался голос жены, он даже не сразу сообразил, что это она, настоящая, материальная жена, говорит ему. Он и забыл, что она ещё тут, видит его – лишь изнутри быстро умершего, а снаружи – должно быть, всё ещё прежнего, раздавленного усталостью, окрылённого тупым тщеславием, молодого, красивого...

– Это неправда! Кто тебе...

Протянул пальцы к губам.

– Никогда ничего мне не говори.

Речь и слова – это только ложь, увидел он, – лишь затем человек использует их, чтобы хитрить и убивать...

Потом, следующее, что услышал, был скрип двери и кошачье мяуканье. Потом были шорохи и новые скрипы, падали вещи, она поднимала их, складывала, убирала.

Он думал, что ещё сидит на прежнем месте, а на самом деле безучастно помогал ей собирать что-то небольшое, и тоже ронял, и тоже брал ненужные и не правильные предметы, как будто нарочно; и каждый раз, когда она ловила его слепые глаза, он замечал расплывшийся по комнатам серый ужас.

Квартиру залило чистое солнце, заиграло радио, запели птицы. Яд сегодня не пропитывал облака, детям не пришлось идти в сады и школы в защитных масках. Жена, кажется, хранила молчание; пережжённая электрическая нить по инерции соединяла их, трепетала, обугленная, от ударов истекающих сердец.

Малыши, благословенные на мир и безопасность, счастливые родиться под ракетным куполом, который никогда не допустит, чтобы им стало страшно, гуляли под окнами и смеялись беззаботно...

Жена вошла ненадолго в его мысль:

– Я поеду к Даше, – сказала через разбитую на сотню солнечных искажений квартиру. – Мне страшно с тобой.

Он глядел на неё, как если бы это кошка научилась говорить. Как много брошено слов... Это женщина, его жена, они когда-то поженились и прожили вместе шесть лет, мечтали завести ребёнка, ездили в путешествия: в Грецию, а зимой – в малолюдную Абхазию, пока он не получил секретный допуск... а потом каждый год, летом или в сентябре, – к её родителям, в дальнюю безбрежную Россию, куда-то в глубь, где жарко в тених и пахнет навозом, скошенной травой, болотными камышами, лошадьми...

Кто этот человек?

– Игорь. Ты слышал? Я уезжаю. Выпись!

Не было ни одного доказательства; сказанное лишь повисло в их комнате ядовитым облаком... Главное – он навсегда запомнил три неведомых оттенка цвета её глаз. Посмотрел вниз, на свою почему-то обнажённую грудь – что, за всё время даже не оделся? – поглядел на точку, под которой стучало сердце, удивился, что столько жизни есть в этой хрустящей, булькающей...

Она лязгнула замком, как вынула клинок из неё, – он кашлянул в дверь болью. Пора выпить чай и вернуться в бункер.

Никифорову уже ничего не сделается – он отправится туда, откуда за грех против космоса и армии не возвращаются. Жена ничего не повернёт вспять. Это другой человек, которого он не знал до самого утра ... Ничего не осталось, кроме будущего. А там существовала лишь ракета.

Потом прошло много часов; а он снова в этом бесконечно долгом северным дне, – который ночью только притворяется тьмой, а остаётся по сути ноющим, испаряющим желание светом. Он стоял посреди опустевшего цеха – единственный, кому доверили окончательную сборку, приёмку и отправку на фронт ракеты. Он чувствовал, как в тяжёлые, не по размеру громоздкие железные латы заковали тело; как превратили ум, привыкший вычислять, анализировать, критиковать видимое, доверять только цифре, в источник злости и уничтожения.

Он смотрел в бездну шахты. Раньше или позже в неё опустится ракета – результат великого труда многих не злых, светлых умов, продолжающих под градом ракетного обстрела, под канонадой близкой войны сооружать гигантские боеприпасы для нужд передовой. Он один – доказавший своё отличие – примет её рождение, станет ей отцом среди людей, заберёт от хмурого четырёхрукого бога смерти и войны.

Во время работы голова кружилась, раз в полчаса мозг прекращал производить мысли, входил в агонизирующее состояние, в котором ощущал дневной свет как энергию, проводящую информацию, а себя самого – как незначительную часть этой информации,

вписанную в электричество, что путешествует по чёрной пустоте с начала времени и разносит весть о жизни, предлагает её дальним неуютным мирам под дальними, впустую греющими звёздами...

Просыпаясь, он чувствовал, что силы не вернулись, тело колыхается тряпичной безделушкой. Боль разъела его кожу и лимфоузлы, обнажив жёсткую хитросплетённую металлическую основу – в сочленениях пугливо мерцал никем не разгаданный пучок духа, которого не должно существовать согласно канону науки. Однако он был – иначе как ещё, через запах, напряжённое молчание и любовь, которой пришёл час умереть, он узнал...

Её взгляд возвращался, вонзался в него вновь, и вновь, и вновь, как будто выискивая в его совершенной защите брешь... Однако всё это останется прошлым, думал он, вся их история – не случившийся ответ большого замысла о красоте, гармонии и новой жизни. Жена станет возвращаться, пока её неутолимая, страстная сила не растает во времени – как все и предупреждали.

Роковой результат многолетней работы обрёл форму и твёрдость. Он таращился на чашу неба, распахнутого и незащитного перед его яростной клятвой, произносимой единственный раз

15 мая 2115 г.»

Лоббист дочитала рассказ за пару минут до того, как её пригласили в третью приёмную комнату. Это означало, что она следующая. Время клонилось к семи часам. В Москве наступали ранние тёплые сумерки.

– Привет, – он появился на мгновение раньше, чем она шагнула к дверям кабинета. Вежливым, но твёрдым жестом дал понять, что разговор состоится в приёмной.

– Добро пожаловать!

– Вот это да! Я вижу, ты стал большой шишкой!

Они сдержанно обнялись, и она присела на предложенное место на продолговатом рыжем диване, придвинутом к стене.

Чиновник перешёл в другую часть комнаты и, открыв дверь в предыдущую приёмную, сказал помощнице пару слов.

Потом он вернулся к госте и присел на плоский мягкий стул напротив. Их разделял уголок низкого кофейного столика, сделанного под старину из дерева и белого стекла. Рисунок на поверхности столика медленно менялся: внутри стекла будто происходило движение жидкости, и смена течений играла рисунком, подражая человеческой изменчивости.

На стене за её спиной висело четыре картины: три классических (доминировавшие цвета: оранжевый – переклика с цветом ворсистого пола, красный, и синий) и одна динамическая, исполненная к тому же в новомодной технике «угадывания желаний» – наблюдатель видел то, что из подсознания считывала машина. Чиновник краем глаза отметил, что на полотне в медленном вращении сталкиваются два потока воздуха: один быстрее и светлее, кажущийся горячим, хотя кипение в нём не главное, второй – тёмно-фиолетовый, выжидающий, холодный...

– Царственные палаты у тебя, сударь. Надо в следующий раз одеваться торжественнее, – продолжила она медовым голосом. Её взгляд источал любопытство и восторг. Она осматривала его одежду: униформу чиновника, перламутровые знаки различия на плечах.

– Оставим любезности, – мягко попросил он.

– А что же, по-твоему, у меня есть что-то, кроме них? – ресницы девушки порхнули вверх, её удивление обдало золотистым ласковым светом – детским и убаюкивающим, что даже в жару под него можно было бы задремать и напиться в дреме зеленоватой бодростью.

– Уверен, ты пришла с интересной историей, – сказал он.

– Зря ты так со мной... мы не виделись сколько? Все твои новые одиннадцать лет?..

С холодным безразличием на лице чиновник пожал плечами.

– Время быстро летит...

– Полина, дорогая, – он чуть наклонился к ней, и столик покорно уменьшился в размерах, чтобы хозяин мог придвинуться ближе к её телу, – я невероятно счастлив тебя видеть. Давай с этим покончим и перейдём к делу. В социальной сети я не пропускаю ни одной твоей фотографии, но... подобные встречи компрометируют меня. И ты замечательно об этом знаешь.

– Я пошла в лоббисты не от сладкой жизни! – воскликнула она. – И даже у меня могут быть друзья, ты не думал?

Он рассмеялся. Лоббист, похоже, и впрямь немного разозлилась:

– Нет, правда! Что ты знаешь про меня? Думаешь, смотришь фоточки и всё?... Это у вас там... где ты там до этого был? Всё, наверное, цветёт и пахнет, а тут, – она с горечью кивнула на панорамное окно, в которое бился оранжевый закат, затопивший новые московские проспекты и небоскрёбы, – на «территориях», – она показала кавычки жестом пальцев, – всё хуже и хуже. А я не хочу, знаешь ли...

– Ты, как и я, могла работать на любой территории. А выбрала эту, – отрезал он. – Значит, ты здесь не без причин. Может быть, даже хотела попасть поближе ко мне? Признайся, для чего на самом деле?

Теперь уже она придвинулась ближе. Её платье стало менять цвет; если сначала было синим, то теперь темнело в пурпур, ободки красной материи на рукавах и воротнике сделались малиновыми, а камни в серьгах из нейтрально-белых обратились в чёрные кровавые точки.

– Я рассказываю как есть! Да, я лоббист. Вот моя лицензия, – она стремительно показала карточку и почти сразу убрала, – доволен?

Он расхохотался.

– Ну, это уже слишком. Либо выкладывай, либо прекрати ломать комедию...

– Я прочитала твой рассказ ещё раз, между прочим. Подготовилась. Мне правда было интересно с тобой снова... встретиться, – опуская глаза на прозрачную столешницу, сказала она. Её руки закрыли от него хрупкое точёное тело, он больше не видел талию, стянутую кожаным ремнём.

Он отсел чуть дальше, сложил руки на груди и сказал:

– Емейла было достаточно.

– Всех это посещает, – тихо ответила она, выдержав долгую паузу. Во время молчания глаза восхищённо блуждали по его идеальному, юному лицу.

– Что?

– «Странная память». Это так и называется, научное понятие...

Он моргал, потом нахмурился обозлённо. Лоббист стала смотреть по сторонам, изображая рассеянность. Противоположная стена была обнажённым бетоном – ни краски, ни обоев; тёмные металлические щупальца приспособлений для приготовления пищи, напитков или создания чего угодно, что человек может захотеть от машины, торчали из камня, крепко обнимая его, как жилистые лианы обнимают уступы кхмерских храмов; третья торцевая стена гигантским зеркалом отражала свет из панорамного окна.

– Недавно начали очередные исследования забвения и его последствий. Вот и первые новости подоспели, просто пришла поделиться. Конечно, это немного расстраивает, да? Но мы прорвёмся, – сказала она доверительной интонацией и нежно сжала его ладонь, потом встала. – Ты не один, хорошо? Странная память бывает с каждым.

– Нет у меня никаких *странных* памятей, – разозлился он, тоже поднимаясь, но тут же сел обратно, потому что лоббист вернулась на место, коротко бросив взгляд на динамическую картину. – Я всё помню чётко.

Миниатюрная девушка стремительно порхнула со своего места на краешек стола и очутилась ближе к его сердцу. Её глаза обрамила чёрная краска, хотя вошла она не накрашенной: от уголков по идеально гладкой коже висков протянулись густые стрелки, отчего её взгляд стал более раскосым, безмятежным и соблазнительным.

- Ничего нет. Твои выдумки. Чтобы получить что-нибудь от мэрии.
- Вот как. То есть ты в полном порядке? Все эти одиннадцать лет?

Он сидел неподвижно. Тысячи не моргающих механических глаз следили за каждым его жестом. Люди никогда не удивят их.

– А меня вот беспокоит кое-что, и я пришла поделиться, – продолжила она. – Ты ведь знаешь, что я была с ним? – шёпотом спросила она, наклоняясь к его уху.

Чиновник вздрогнул.

– Не шепчи! У нас правила: И. всё должен слышать!

– Я показала лицензию, – она кокетливо положила лапку на его ладонь. – Не бойся меня, милый. Всё законно. Пожалуйста, послушай. Он всё слышит, только ему плевать. Я правда пришла, пользуясь своей профессией, но... мне надо было сказать это именно тебе. По твоему рассказу я подумала, что тебя тоже это... мучает. Это очень важно. Я должна сказать тебе одну очень важную, но очень секретную правду, хорошо? Никто не должен знать.

Её шёпот обжигал мочку его уха. Он знал, что ещё немного и попадёт в ловушку, увлечённый кошачьей вкрадчивой силой её голоса, в котором тонкий хрип соединялся с ударами звона, и на них нанизывалась мысль, входившая в его голову страшным предчувствием: «Она говорит правду. Что-то не в порядке!»

– Я действительно работала с ним. Он стал моим первым клиентом. Очень давно. Ты же знал, не притворяйся.

– Только слухи... – ответил чиновник, пытаясь избавиться от её навязчивых как бы нечаянных прикосновений.

Она полностью была раскрыта перед ним, сидела в тонком чёрном платье – не осталось ни красных, ни лиловых оттенков, и её плоть почти прикасалась к его. Зрачки девушки сделались карими, но в них тлела бирюзовая нотка.

– Я работала задолго до того, как он прославился. Бывала в их доме, знала его жену, сына... И всю команду, лабораторию. У него сменилось много людей, но костяк... – лоббист пересела, будто принимая более удобную позу, хотя, как он заметил, её тело так и осталось напряженным и перекошенным в пространстве – она сидела на самом краешке стола и прижималась к нему, будто в башне был хоть один живой человек, способный подслушать.

– Они говорили, что это будет следующей проблемой. Которую придётся решать. Проблема кода разума, – она чуть отдалилась, чтобы два раза многозначительно моргнуть, поправила волосы. – Сейчас сформулирована гипотеза странной памяти, в том числе о том, что полностью оценены масштабы работы по переносу личности при забывании...

– Чёрт, зачем ты рассказываешь, тем более теперь? – чиновник отстранил её от себя, встал, перешёл к окну. По мановению его руки защитная затемняющая оболочка стекла испарилась.

Он долго глядел на город. Свет угасал – его словно пришибло явившимся с запада облаком, которое начинало в отдалении погромыхать. День проваливался в сеть тёмно-синих вен, которые через час-другой яростной грозой прольются и на мэрскую башню.

– Я лоббировала их, – гордо сказала девушка, вставая, расправляя плечи. Платье перекрасилось в зелёный, серьги вспыхнули изумрудами.

Она пересекла комнату, остановилась перед ним, прямая и не боящаяся ничего, даже смерти, ведь той давно не стало.

От неё пахло слабой частичкой северного хвойного дерева – парфюмер-машина, видимо, осознанно добавила каплю холодного ветра в запах, чтобы та поиграла на контрасте с горячими, падкими до страстных сполохов телами молодых людей.

– Я хорошо их лоббировала, – её речь самодовольно причмокивала. – Это я привела их в армию. Я уговорила его, в конце концов, что только там он получит нужные ресурсы. Был он уже не такой молодой и согласился. Все знали, что это ошибка, но они не могли остановиться, вложив в это столько времени и денег.

– Ошибка?

– И как-то раз он упомянул, – продолжила она, игнорируя вопрос, – что исследование не закончится на разгадывании кода. Даже на фуршете в честь Нобелевской премии он опять говорил об этом.

Она помолчала немного. Чиновник с мраморным безразличием смотрел поверх её головы на отражение, в котором множились копии её спины, плеч, затылка.

– Код разума – вот что будет следующее. Он предупреждал об этом. Поэтому профессор никогда не собирался пользоваться открытием и становиться бессмертным. Он всегда говорил, что важно научиться не предотвращать дефекты и не выращивать новые клетки и даже не контролировать развитие генома, а разглядеть в ДНК то, что отвечает за разум и душу. Поскольку он никогда этого не нашёл...

– Перестань!..

Лоббист коварно улыбнулась. Незаметно для чиновника она вновь была почти вплотную, вновь платье собралось почернеть и захватить его сухими объятиями.

– Время опережало его. Ему давно самому требовалась расшифровка и пересборка... Он мало кому доверял. Друзья-старички его пугали. Я умоляла: пожалуйста, не оставляй нас. Не для того я привела тебя в армию, чтобы они использовали нас, а потом ты, изобретатель бессмертия, попросту бросил нас!

Чиновник нервно подёрнул плечами, описал взглядом дугу, чтобы избавиться от её навязчивого напряжения.

– Их метод дешифровки работал не с самой ДНК как молекулой: они дешифровали электромагнитный резонансный код, сверхслабое излучение базовых делений, он назвал это «нотами», на которых «спет» шифр жизни; сказал, мы теперь знаем ритм; сказал, это отворит следующему поколению исследователей дверь в «тонкий мир». Он был уверен, что душа, память, – всё спрятано в светописси. Как это выглядело со стороны? Несколько зелёных точек среди тонн генома, – он мог разглядывать часами, показывать мне по пять раз на дню и бормотать: «Что говорит твоя интуиция? Может быть это душой? А памятью?» Я только пожимала плечами.

«Памятью...» – горячим шёпотом повторила лоббист последнее слово.

Чиновник захотел оттолкнуть её, но сдержался.

– С тех пор как он расшифровал морфогенетическую светописси, все его мысли были только об этом – найти и пересобрать душу. Армии это не очень нравилось, поэтому ничего из его последующих работ о резонансном коде не публиковалось все эти десятилетия. Они предпочли превратить его в живой памятник. Дать всё, что старик захочет, включая Нобелевку, только бы запереть в загородном доме под присмотром телохранителей. Он был не от мира сего, так что расчёт-то оказался верный... В последнюю встречу он говорил о совсем отдалённых от первой теории вещах. Про телепатию, манипуляции с сознанием и памятью, и постоянно – про этот код разума, его мучили оставшиеся одиннадцать процентов последовательностей, которые они не расшифровали...

Она замолчала, некоторое время они растерянно смотрели друг на друга, будто лоббист на минуту заговорила на иностранном, не известном ей самой языке, а потом спохватилась и теперь пытается заново сказать на своём:

– Про дело Франка слышал?

– Да.

– На самом деле, он просто пытался возобновить старое исследование профессора. Это даже не его идея. Последний старик из лаборатории. Наверное, просто копался в электромагнитных волнах, а они тут же обвинили его в богохульстве... Никто не хочет разбираться в том, к чему расшифровка ведёт на самом деле. Всех, кто будет копать в этом направлении, теперь хотят уничтожить.

– Да, читал, что взялись за эту эзотерическо-генетическую секту всерьёз, – сказал чиновник.

– «Секту», ха! Хотел человек найти душу, – лоббист усмехнулась. – А нашёл билет в один конец. Мы же так не хотим?

– А причём тут «мы»? Ты ни разу не упоминала, что они искали при расшифровке ДНК какие-то потусторонние вещи.

– Я читала первую редакцию его «Теории сборки человека», там было сказано в лоб: крайне маловероятно, что разум можно репродуцировать, воссоздать без потерь – требуются дополнительные эксперименты, прежде чем говорить о качественном сохранении личности. Профессор был уверен, что всё либо какая-то часть потеряется, поэтому сам он не пользовался забвением – отмахивался, мол, простого омоложения клеток достаточно, а если мозг решит отключиться раньше, то так тому и быть... Шутник, да?

– Я не могу поверить, что ты рассказываешь всё это только сейчас, – пробормотал чиновник раздражённо, чем лишь подарил ей новую улыбку.

– Может, ты и прав, но продавать это под этикеткой «Мы не знаем, собой ли вы проснётесь», – сам понимаешь. Я сразу сказала, что неуверенность надо оставить для академической науки, а рынку требуется что-нибудь простое и односложное. Если мы предлагаем фантастический продукт, он должен быть ослепительно прекрасен. Что ты качаешь головой? Можно и было отказаться, но без экспериментов с забвением мы вообще бы не имели даже этой жизни.

Последние слова она вновь произнесла шёпотом.

– Ты же шутишь?..

– Откуда столько драмы? Не бойся, милый. Я рисковала куда больше твоего, однако первые забвения, включая моё, прошли вполне успешно. Поверь, ты был в относительной безопасности.

Он принялся ходить из стороны в сторону по узкому пятакчу перед окном, откуда на ворсистую поверхность пола всё ещё просачивалось закатное пламя. Остальная комната потемнела, но когда машина включала яркий синий свет, чиновник нервно махал рукой, приказывая потушить.

Наконец он воскликнул: «Сделай твёрдым наконец!» – и ковролин покорно исчез, обнажив ледяные мраморные плиты. Наверняка пол теперь обжигал босые ноги девушки, но она не подавала виду... Может, всё-таки она лишь андроид, а происходящее – утомительный розыгрыш И., который, конечно, не пустил бы к нему такую болтунью?..

– Полина, это сомнение терзает меня с тех самых пор. Я проснулся или нет? – скороговоркой произнёс чиновник. – Это меня они... «пересобрали»? Я так отчётливо всё помню, так всё знаю... Но этот мир... Он же другой? Ты точно была там? Мы ведь были знакомы? Это ведь ты? Не другой человек?.. Кто соблазнил меня на пересборку? Ты или реклама?

Лоббист грустно улыбалась, потом пересекла комнату, встала перед бетонной стеной и кивнула. Одна из гибких лиан выделилась из недвижимого переплетения, приблизилась к её юному лицу. Наконечник превратился в стакан с водой. Сделав глоток, девушка обернулась.

– Я себя убедила, что я та же, всё как в биографии: девочка-отличница, которая приводит в большой мир непризнанных гениев науки, защищает их от травли, например, вонючей фармы и остальных бандитов, которые держат народ за скот и кормят его таблетками... А ты как чувствуешь?

Он открыл рот, чтобы ответить, но так ничего и не сказал.

– Задолго до всего этого ужаса, когда только доказали, что «излучение ДНК» существует, и что Гурвич, Монтанье, Бенвенист, остальные – всё это время были правы, и что светопись существует, и что дешифровщик сумеет взять её, – вот тогда-то профессор почувствовал себя богом и, конечно, очень изменился. Он так и сказал: «Свершилось, мы были правы, всё это время я верил...». Большого он не раскрыл, но я видела, как это сияет в его сознании: «Я могу заменить бога!» Он так хотел это сказать, но сдержался, – она снова стояла вплотную к нему. – А когда они впервые смогли перевести резонанс в линейное уравнение, то от перспектив у них поотрывало головы... Почти все, мне кажется, поймали такую звезду, что уже не могли никогда работать эффективно. Кроме Франка и самого профессора, конечно.

Было что-то неправильное в том, что она постоянно догоняет его, будто пытается загнать в угол. Как будто это она тут охотник, а не он. Приёмная была слишком мала, чтобы играть тут в кошки-мышки. Его злила необходимость ускользнуть от её мерцающих подмигивающих

украшений: серёг, браслетов, которые то оплетали руки платиной, то практически исчезали, делаясь полупрозрачной посеребрённой тканью... Маленькая девушка, гибкая и изящная, как кошка, пересекала бесшумной походкой пространство, настойчиво заставляя его чувствовать, как трепещет её кровь и сердце.

– Тебя избрали... Согласись, приятное ощущение? – усмехнулась она. – Чтобы ты прожил хороших сто лет, помнишь? Все твои болезни были вылечены. Ты всегда был юный, свежий, ты был хорошим любовником. Ты путешествовал, ты ничего не боялся... Счастливый билет. Тебе ведь нравится быть молодым, вечным?..

– Нас не должны слышать, – ответил он и вдруг, к собственному удивлению, зачерпнул губами воздух, пробуя поцеловать её, но лоббист будто не заметила и только приподняла бровь в ироничной усмешке.

– Мне надо было с кем-то это обсудить, – сказала она. – Все эти годы я чувствую, что произошло нечто ужасное... Ошибка. А профессора нету, чтобы я потребовала настоящий ответ. Все остальные, даже Франк, лишь подражали ему. Никто ничего не понимает, потому что они боятся «ненаучных» категорий, им до мурашек страшно попасть в опалу и очутиться в клетке за ересь... – она тяжело вздохнула. – Короче, я ни с кем не могу поделиться. Он предупреждал: код разгадан, и теперь мы знаем, как информация путешествует между всем, что состоит из ДНК, то есть и между... «субъектами», находящимся даже в других галактиках... Но разум, повторял он, это совсем другое. Это свет, который будет угасать... Нельзя просто репродуцировать развитие тех же нейронов и ожидать, что личность, восприятие, суть человека – возродятся автоматически, особенно если мы ничего о них не знаем. В общем, мера с забвением сегодня признаётся временной.

Чиновник взял её за плечи.

– Признайся. Они вообще знали, переживём ли мы это?

– Ну что так нервничать? Все всё знали. Наши тела – на месте... а вот мы ли это – она с улыбкой коснулась его виска, потом положила руку на грудь, в область своего сердца, – наша ли это душа, – пожала плечами. – Он так и не открыл её, не стал богом. Профессор не стал богом. Хотя всё делалось ради этого. Его не интересовали генетические болезни, выправление кода, лечение рака, даже бессмертие. Ничего, что он открыл, не имело целью спасти жизни. Он был уверен, что за расшифровкой сигнала ДНК, за расшифровкой микроизлучения, – пускай никто не верил, ему было всё равно – он отыщет то, что составляет нас. Докажет, что это существует и это не религиозная величина, а такая же доступная науке вещь, как и любая материя, любая мутация. Амбициозный старик, понимаешь? Он мечтал переломить мир и переустроить всё заново, а это право даёт только величайшее открытие.

Я защищала его как могла. Его идеи, которые для «нормальной» науки были просто ересью. До последнего, даже когда он нас покинул, я защищала его имя. Знаешь, что ещё в этой концепции с десятилетним сном выглядело привлекательным? Я надеялась, что пока буду в забвении, лаборатория продолжит работу и найдет способ восстановить меня полностью такой, как я была. У меня была эта наивная надежда. Но все они, кроме Франка, продались, когда он нас покинул, а Франк был слабым и проиграл фарме, едва вылез с первой статьёй.

Они глядели друг на друга. Теперь всё, что было за окном, превратилось в маслянистые однотонные сумерки и стало выглядеть чужим, не правдивым – вообще никогда не содержавшим правды – ведь самого его, может быть, не вписали сюда прежним, и нет «его», а есть иная сущность, очнувшаяся здоровым, сто десятилетним человеком, выглядящим как старшеклассник, и весь смысл новой сущности обнаружится в пластиковом одноразовом счастье. А потом, после декады следующего забвения, всё повторится.

Вдруг ему пришло в голову:

– Про всё это знает И., не так ли?

– Да.

– Ты должна к нему пробиться. Пусть объяснит, что нам с этим делать.

Она поёжилась.

– Спасибо, конечно, что так веришь в меня... Я иногда думаю про это. А что если И. хочет, чтобы нас пересобирали неправильно? Если он всем этим управляет... Это же самое логичное. Искусственный интеллект использует забвение, чтобы сделать нас игрушками?

Чиновник вздрогнул и предпочёл ничего не говорить.

– А с другой стороны, зачем мы ему? – рассуждала лоббист, наблюдая за тем, как дождь принимается за дело и бьётся о стекло в страстных порывах ветра. – Нас ведь горстка... ему куда важнее контролировать тех, кто умирает не по расписанию и постоянно создаёт всякие дурацкие человеческие проблемы...

Сквозь сумерки на многоуровневые эстакады и сложно переплетённые развязки в одночасье рухнули потоки ливня. Солнце последним алым лучом задело мэскую башню и кануло до утра за мокрую пелену, из заводских труб потянул дым – один И. или чёрт (если только он есть) знает, что там создают на этих фабриках, полностью отделённых от кварталов людей и отданных машинам...

– Красиво... – задумчиво сказала лоббист.

Ему невероятно захотелось обнять её и ощутить рядом настоящую человеческую душу. Она прильнула к нему, едва он протянул руку, прислонилась и взяла его ладонь, трепетно сжимая её, будто пытаясь передать последнюю часть рассказа одним прикосновением.

– Всё-таки я довольно отчётливо помню то, что было. Только это как будто отделено стеклянной стеной. И знаешь, я больше не чувствую никакого притяжения, – признался он. – Ни к кому... Только желание тела осталось. Твоё тело – совершенно...

Он посмотрел на неё, и платье сделалось прозрачным, прямо как того желал... Теперь уже он потянулся слепо. Выглаженное брюхо тучи, которая ощупывала город влажной искрящей клешней, отражало прикосновения ушедшего солнца, и на фарфоровое тело лоббиста падала рябая, многократно искажённая позолота. Они хихикнула: ткань не допустила чиновника до кожи – он водил по невидимой материи, контролируя и горячку желания, и лёгкое разочарование.

– Как я мог там любить? И измерять эту штуку в словах «сильно люблю», «слабо люблю», – сказал он, – если теперь этого совсем не существует? Полина?..

– Это всё истории, – грустно вздохнула она. – Из книжек и фильмов для смертных. А в основе всего – просто желание...

– Рекламный проспект я читаю все десять лет. Пытаюсь понять. Самая главная сделка моей жизни, – он всё ещё водил по её телу в бессмысленном, несвоевременном стремлении дотронуться до него. – Обманули меня или нет?

– Нет. Всё правда. Это ты. Человек. Ты хочешь меня. Это нормально.

Глаза лоббиста уже давно по-змеиному замерли – он отражался в них зверем, ошпаренным неискоренимым желанием. В один миг чиновник получил доступ к ней: его ладонь вдруг провалилась, и он упёрся в её живот, горячий и твёрдый.

...Однако ничего не изменилось. Когда он выпрямился и отступил от неё на несколько шагов, когда её спина элегантно разогнулась, а она обернулась и лучезарно улыбнулась – он лишь убедился в том, что ничего нет.

Их одежда вновь была цельной, чёрной, целиком застёгнутой, всё сплослось на ней, словно они ничего не рвали.

Она пугливо приблизилась и провела по губам пальцами, будто удостовераясь, что его лицо не распадётся сейчас на фрагменты и он не окажется ещё одной лживой композитной машиной.

Чиновник разочарованно смотрел на их искаженные тенями отражения в дальнем полумраке приёмной.

– Есть перспективный молодой биофизик... – сказала лоббист другим голосом.

– Вот когда ты перешла к делу, – чиновник закатил глаза.

– Ну, а как ты хотел? Или думал, я не пробовала секс? Секс с теми, кто прошёл забвение, с теми, кто смертен, с теми, кто сейчас в забвении?.. – с горечью сказала она. Некоторое время продлилась пауза. Чиновник поморщился.

– Ответ не в сексе, а только в науке, малыш.

– Полина...

Она злобно посмотрела на него.

– Ты сможешь или нет? Есть славный мальчик. Пара-тройка публикаций, хорошие отзывы, малозаметный. Пока его не сожрали, ему нужно тихое место, где он создаст лабораторию, начнёт расчёты и эксперименты, но главное, ему сейчас нужно хоть три-четыре года тишины. Только на территориях, – она качнула головой на успокаивающийся за окном ночной дождь, – я сумею его защитить. Тем более с твоей помощью.

– Почему это «только»? Африка чем плоха? Кения, например? А Европа? В Лондоне, говорят, приняли закон о свободной науке...

– Я знаю, чего хочу, – отрезала она. – На территориях ему будет лучше.

– Упрямая сучка.

– Некогда распускать слюни, – она схватила его руку и сжала запястье до лёгкой боли – знала, где навсегда осталась след тяжёлого детского перелома. – Ты же видел... – она кивнула на окно, возле которого – ударяясь о страсть ливня – человечья страсть сражалась за общее тело, недавно и недолго, и не казалась отсюда, из будущего, ни ей, ни ему, что победа была возможна.

– Таким методом ответ не найдёшь. А народ рано или поздно узнает про бессмертие, и начнут-ся вопросы. Разве ты сам не понимаешь опасности этой истории? Без дальнейших исследований мы можем сами скоро не знать, что происходит во время забвения!..

– У тебя что, паника?

– Всё, что мне надо, это дополнительная тысяча лицензий для опытов мальчика, – объявила лоббист.

– Как зовут?

– Сначала лицензии.

– Как зовут?! Я ничего не буду делать для какого-то анонима.

Лоббист колебалась. Он чувствовал, что сейчас она, наконец, говорит искренне. Живая, озлобленная беспокойность проявилась в её взгляде и осанке. Она сделалась нетерпеливой, но он верил в то, что она действительно болеет страхом за свою память... Или вновь ждёт?..

– Луи... Габо.

– Какое это гражданство?

– Француз. Какая, к чёрту, разница! Сосредоточься на важном. Я не собираюсь гадать до следующего забвения. Мальш Габо говорит – тысячи должно быть достаточно. Он ранний гений, у меня на это глаз намётан, – она невесело усмехнулась. – И последователь Франка. В любом государстве, – вновь она показала пальцами кавычки, хоть имела в виду именно сохранившие суверенитет страны, – его запрут в клетке и объявят шарлатаном. Даже сейчас история, как с Монтанье, может повториться, хотя все всё знают...

Она пожала плечами, качая головой, и коротко закрыла лицо руками. Её плохо подавленная истерика, понял он, комична и утомительна в своей искренности.

Ещё тысяча бессмертных, вздохнул чиновник. Большое ли дело? Ни один не откажется, когда узнает, для чего их выбрали. Вспомнил себя – то, как он посмотрел на будущее, когда ему сказали: «Это ты...» Он ощутил себя богом. Больше всего его изумила темная масса прошлого, груз которой он прежде не осознавал и которая стала растворяться в безразличной стоячей воде вечности, едва он поверил.

– Полина, я буду тебе всегда благодарен за то, что меня...

– Благодарен?! – вонзилась в него чёрными глазами. – Знаешь, сейчас уже моё терпение иссякает. Ты мне должен, – отчеканила она. – Вот это всё и твоя чёртова сто двадцатилетняя жизнь – это всё я! Я к тебе пришла. Ты меня не благодарить должен, а... я ещё и дала тебе, господи! Не думала, что придётся это произносить, но ты же понимаешь, что это компромат?..

Она осеклась. Гнев боролся на её лице с безразличностью и жалостью. Потом, видимо, ей сделалось стыдно, и она добавила:

– Я правда надеялась, что до этого не дойдёт...

– Направь обращение, – холодно бросил чиновник. – Я рассмотрю... в эксклюзивном порядке.

– Игорь, ну не надо. Ты заблуждаешься, всё не так, – вдруг снова начала говорить она ласково и вкрадчиво. – Я ничего этого не имела в виду. Я бы на тебя никогда ничего не сказала...

Не подтверждённое фактами предположение, что она каким-нибудь образом сможет отнять у него лицензию, поразило чиновника, и впервые за много лет страх тронул его сердце.

– Что тебе ещё нужно? Ты всё получишь. Уходи, пожалуйста. Мне неприятен этот разговор.

Лоббист глядела на него огорчённо, как молодая наивная девушка. Но потом что-то дьявольское промелькнуло в её глазах, а стрелки, обрамлявшие их с начала встречи, испарились.

– Кстати, добавь в рассказ, чтобы они что-нибудь ели. Раньше это было очень важно, помнишь?

Чиновник отвернулся, чтобы не видеть её уход. Нет повода волноваться: математически новая встреча неизбежна. Она напоследок прижалась к нему, обняла одной рукой, завела левую ногу за его ягодицы:

– Ты был хорош. Мы сильно любили друг друга, раз я это тебе предложила. Я не использовала тебя. Это для всех нас... Но это же не мы. Это не жизнь. Надо узнать...

Чиновник медленно развернулся, но не отвечал. Как много брошено слов – меж тем свет прекрасно объясняет всё, что произойдёт или происходило прежде между людьми. Возможно, тайне она надеется, что сейчас он поцелует её, и комната до потолка заполнится любовью.

Вместо этого он помедлил и вдруг сказал:

– Понятно, на что ты надеешься. Но профессор никогда не вернётся. Через двести лет, в этот день, всё здесь погибнет – задохнётся ядом, – а единственными, кто выживет во Вселенной, будут те, кого он взял в экспедицию. Он оставил тебя тут, хотя знал...

Проступил холодный пот, речь выбелила его, но слабая улыбка осветила лицо. Лоббист окаменела от ужаса, потом оскалилась в безрадостной усмешке. Собрав силы, развернулась и решительно зашагала к дверям.

– Живи вечно! – пожелал он.

Она вздрогнула и простояла секунду, не оборачиваясь, будто поражённая током, а не разрядом памяти.

Когда дверь бесшумно затворилась, чиновник тяжело выдохнул, закрыл на своём устройстве приёмный день и вскоре выглянул и объявил помощнице, что та может уходить. Бесшумная машина замерла в жесте благодарности, заехала в нишу в стене, где подсоединилась к заряжающему устройству и якобы уснула.

Первый месяц на работе складывался неважно. Похоже, это только начало. Тысячи дел, никогда не кончающаяся волокита. Единственная чёткая установка на этот счёт от И.: «коммерческие» бессмертные должны платить обществу хорошей работой. Пускай. Как он там руководит всеми процессами, человеку не понять, но мир по какой-то причине не разваливается, значит, все эти бредни про апокалипсис остались сюжетами скучных фильмов.

Жизни хочется лишь движения вперёд. Ум, обращающийся в прошлое, злит её – она склонна скорее уничтожить его. Может, поэтому несчастные смертные так часто болеют и чахнут в депрессиях? Под смрадным сероводородным облаком, в котором купаются их города, что ещё хочется им делать, как не умирать?..

Он решил кое-что перепроверить. Ему нравились принимать человеческие, неразумные решения. Может, в радиусе всего километра – вокруг башни раскинулся гигантский лабиринт чиновничьего улья – не было другого одушевлённого существа, способного ошибиться, и мир чах от звона совершенства мнимого сна цифры...

Вернулся в кабинет, открыл почту, нашёл собственное письмо трёхнедельной давности: «Полина, привет. Думаю, ты и сама всё видела по соцсети. Перейду к делу. Это мой рассказ. Я впервые что-то написал с тех пор, как вышел из забвения. Было странно. Раньше я писал стихи(?) По крайней мере, в библиотеке за прошлый век нашлась пара тонких книжек с моим

именем. А теперь вот это. Я написал это за несколько часов и утром не сразу понял, что это такое... Подобного со мной никогда не было, тем не менее я пережил эту историю как свою. Меня несколько тревожит: память это или фантазия? И кому это принадлежит? Мне было бы интересно узнать, что ты об этом думаешь? Напиши, когда у тебя будет время. Понятное дело, спешки нет (старомодный смайлик)».

Выдержав двухнедельную паузу, она ответила: «Игорь, обязательно давай поговорим про это! Но мне очень важно рассказать тебе кое-что... Не в переписке, но думаю, ты догадываешься. Ты сможешь понять, вот что важно. Давай встретимся?»

Контрразведка по московской территории, скорее всего, ошиблась: согласно логу, предоставленному офицером-человеком, она якобы открыла файл лишь пару вечеров назад и закончила чтение за несколько минут до того, как он принял её. Впрочем, именно это не важно: её ведут наверняка более сложные мотивы, о которых надо собрать больше информации, а этот Луи, может быть, попросту любовник... Ну, или очередной клиент – и они не собираются ничего на самом деле делать, кроме дорогостоящих военных экспериментов над сигналом, прокладывающим нити ДНК между всем живым...

Судя по всему, она обосновалась на территориях всерьёз, и пора принять её как участника большой политической игры, происходящей под присмотром молчаливого И. Однако то и дело его размышления уходили в сторону от дела. Он начинал возвращаться в те минуты, когда страсть Полины казалась подлинной, её взгляд, брошенный на него через плечо, – чем-то ценным... Он смутно улавливал, что это действительно существовало, но не имеющая названия дополнительная оболочка, то ли появившаяся недавно, то ли существовавшая всегда, отделяла его разум от прикосновения к смыслу происходящего. В сердцевине их наслаждения, неотчётливо предчувствовал он, была натянута электрическая петля: на одном краю которой – злобная похотливая ненависть, мечтающая сожрать себя и другого, а на другом – отдающая, ничему не противящаяся, согласная умереть в любой миг, а потому вечная, живая, питающая...

Слова не было. Когда природа убедилась в его вечности, когда он вышел из забвения – новая сущность смысла древнюю обязанность продолжаться.

Слово больше ни к чему, час его в прошлом.

Прошло ещё время: тягучее человечье промедление...

Ровно в полночь город захлестнёт лихорадочная уборка. То ли кто-то из работавших над И. программистов был чистоплюем, то ли машина в процессе самообучения сделала вывод, что людьми лучше всего управлять, сохраняя в чистоте их города и деревни... По крайней мере, не было логического объяснения, почему И. столь упорно внедрял систему еженощной уборки на всех территориях, сданных ему в аренду.

Выползут из невидимых укрытий овальные пылесосы, вооружённые тысячей насадок и сотнями тысяч сенсоров, соскребающие любой плевком, жвачку, бумажку... Залезут даже в штаны к бездомному: без брезгливости, с выверенной до наносекунды дотошности вытряхнут из них гадость, а самому человеку в тысячный раз вручат повестку в лепрозорий. Что не поменялось за сто двадцать лет, так это тяга человека к саморазрушению, усмехнулся чиновник. И даже теперь, когда вот-вот всем будет объявлено, что больше можно не умирать, в подворотнях найдутся опустившиеся и «просветлённые»...

Потом он перестал думать о других и залюбовался бессмертием. Даже если эта «странная память», про которую упоминала для соблазнения Полина, – правда – не видно причин беспокоиться. Жизни не нужно копошение там, позади – ей нравится только он нынешний...

К тому же он уже начинает осязать этот мир куда отчётливее, чем до забвения. Тогда он был «юным» – природа собрала его первый раз и предупредила: «К старости ты рассыплешься, отсчёт пошёл – успей, беги!» Теперь, когда он перехитрил её, ставки изменились. Он чувствует, как природа с опаской высовывается и безмолвно приглядывает, оглушённая тем, что не сумела вплести в его код шёпот искажения, ведущего к смерти. Ей тоже теперь интересно узнать о нём побольше – посмотреть на тёмную противоестественность клеток, которую металлическая

машина искусственно беспристрастно подновляет и выправляет, прописывая светом нужное «направление» ДНК...

Забвение, необходимое для обновления функций мозга, как говорят, продлилось ровно десять простых земных лет... Но почему мне кажется, что минула вечность и всё переродилось, а меня одурачили – всё это не моё? Мне неуютно здесь, я лишний, я не могу вместе с миллиардами других пережить самое основополагающее... Чиновник вдруг задумался: какое из чувств забвение следующим отщипнёт от него? Будет ли это дефектом сборки или последним очищающим шагом в приветственные объятия бога?

Впрочем, может быть, я лишь сгущаю краски, – и эмпатия действительно восстановится. Прошло одиннадцать лет... но время упрямо – оно исправляет всё, не так ли? Постепенно пройдёт, будто пустота – это неправильно, перестанет болеть о том, что они с женой расходятся, будто холодные угли – разлетаются, не желая (разумеется) плодить новых смертных, и им не для чего быть друг с другом после того, как свербящая похоть разрешена...

Каждый месяц кожу, кости, кровь и внутренности чиновника изучала специальная машина. Она снимала доподлинную копию всех невидимых крошечных нитей, делающих его единственным неповторимым человеком на земле. Столько лет она заглядывала в него и копалась в том, что, как он ещё недавно полагал, не существует! Ему всякий раз хотелось узнать у неё – видит ли она нечто в этом сообщении электричества и света внутри него? Каждый раз, когда это происходило, его мучило от любви к машине и от восторга перед наивысшей математикой, перед И.

Официально, конечно, И. не распоряжается бессмертием, тут можно поверить Полине: действительно, бессмертных на планете малая горстка и контролировать их легко, ведь они наиболее зависимы от развития технологий и прогресса. А вот смертные... Именно им нужны зыбкие конструкции из бога, поиска радости и вечности за пределами себя.

Но неужто он просто их терпит? Как это они не интересны ему – особенным, математическим интересом – люди, которые перешли реку забвения, а через век, когда клетки их мозга перестанут генерировать разум и дух, – пройдут ту воду повторно?..

Разве И. не находит их родственными себе? Они очищены от одной из основных страстей и стали так подобны ему, богу цифры, – результату создания людьми нейронной цепи, опоясывающей мир, которая выдула из человека яркий стеклянный сосуд. Из его горлышка, усилием воли шести миллиардов душ – извлечён высший, не ошибающийся разум, – кстати, многие боги, спекулировавшие на мудрости и знаниях, стали смешны.

Ранним северным утром, через неблагоприятные пустынные территории он возвращался домой. Город стелился гладью вылизанной дороги – шагай босиком, впитывая каменное тепло, стерильную бессонницу цифры, – нежно искажённый лунным светом, мерцающим и непостоянным, будто его нарисовала юная художница-человек.

Давно пора нырнуть в полупрозрачную транспортную капсулу и позволить машине перенести себя в квартиру, там рухнуть спать и долго восстанавливать силы, не забыв перед тем тщательно смыть с себя Полину, эту неуместную, неясную женщину из прошлого, даром давшую ему вечность...

Однако он сознательно поступал нелогично, оттягивал: шёл пешком, ощущая колебание человека, который бежит из задыхающей ядовитым воздухом Гоморры под единственным условием: «Не оборачивайся». Разве возможно? Не для того я вышел из бога.

Чиновник решительно обернулся в прошлое, на иного человека – никогда не жившего, не думавшего, любившего. На себя. Вспомнил выдумку. Персонажа схваченной серебряным утром истории, которого предала жена и который идёт, обессиленный – шагает домой, чтобы она убила его, а он ещё не знает, что умрёт.

В том мире, где идёт война, где МБР готовы к запуску, и враг окоченел от ужаса, ожидая их, где совершается несправедливость и месть между людьми (хотя машины и уравнения готовы всё исправить), – есть тоже свой, весьма своеобразный И.

Бог того времени обрекает человека на муку, чтобы тот проснулся брошенным и через страх постиг, что вечность – это холод в отсутствии любви... И потому куда лучше – призрачный золотистый мир, сотканный словами, то есть ложью и страхом. Ещё он обожает разнообразие, их бог: и любви, и ненависти, и изумлению – всему вперемешку под его крылом есть место. Одно беспокоит его: чтобы только жизнь не иссякала, чтобы любовь проникала между живым всюду и делала новую жизнь; и чтобы нёсся по черноте её вписанный в свет и звук и радиацию сигнал; чтобы он оплетал любое существо, – и немую одноклеточную жизнь, и голубые сверхгиганты, испускающие дух перед взрывом или белым миллиардом лет забвения; чтобы он рвался, невзирая ни на что, не уставая искать ответы, не позволяя препятствиям сдерживать себя, не обнаруживая даже у смерти достаточных сил, ведь будет новая-новая-новая жизнь!..

Усталость опустила на бессмертное тело, возвратила в двухмерный мир сомнения и животного страха перед ложью, жестокостью, болью – тысячей причин бояться. А ведь всего этого нет... Прошлое коварно, манит страстями – и вот уже вонзает клыки в его губы и жадно глотает кровь, чтобы он влюбился в усталость, чтобы уснул наконец после трёх суток допросов, а очнулся посреди ледяной постели, и чтобы не было рядом жены и кошки – они будут, они были – но сейчас их нет. Похоть и безумие уничтожили его, но лишь на время.

Он покачивается на ветру. Стал лёгким от усталости и стресса, из-за обысков и арестов начальства, чувствует, как скоро провалится в неизбежное забвение, которое всё излечит. Очнувшись, он пересоберёт себя и уйдёт в мэрскую башню – принять ракету.

Чиновник тянул руки богу смерти и разрушения, но и там не находилось твёрдости – ничего не было, его окружала ионизированная тьма. Казалось, её мог просветить и объяснить вспыхивающий в недосыгаемой дали лукавый взгляд Полины... Однако память – это испаряющийся свет, всегда движущийся во времени в противоположную от меня сторону, и его чёткости никогда не достаточно; чем больше она отдаляется, тем меньше собирает информации, а правда высыхает в ней – в ответ мне достётся только выдох пустыни.

Мысль чиновника окончательно утратила твёрдость. Впрочем, с тех пор как познал И., он был уверен, что никогда не распоряжался ею – просто через зверьку проходили потоки волн, придавая иллюзию смысла происходящему.

Он представил себе сияющую сеть нуклеосом, связывающих спирали ДНК, пульсирующих в их хитросплетениях разумным электричеством, которое неумоимо проповедует о жизни на языке, давно стёртом временем, – ширится беззвучной опухолью из центра Вселенной. Старый профессор в окружении злобных армейских хозяев корпит над разгадкой светописи, но лишь отдельные озарения сплавляют вместе чудом угаданные слова. Мир рукоплещет рыжему круглолицему гению, не понимая, что истинный дар – бездна молчания и знания – так и спрятан за непереваемой толщью света, от которой человек лениво щурится в неге и роскоши последних времён.

Он трясся в утренней автобусной толкучке. Ничто не мучило его и не привязывало по-настоящему к миру живых. Он чувствовал себя вправе создать совершенную машину уничтожения. Ничто не могло остановить его – все эти мелочи с женой превратились в скучную газетную неправду. Он ехал усталый и мёртвый. Однако, по крайней мере, любивший – таков был прежде незамысловатый способ постичь суть происходящего.

«Живи вечно», – повторяет он, не испытывая ни ненависти, ни второго слова. Как дикий зверь, который не знает, и не может, и не хочет знать, что произойдёт в следующий миг, и поэтому готов ко всему; попросту не ведает, что существует где-то в непроизнесённом будущем его смерть.

СТЕПНАЯ, I

Повесть

Юридический факультет занимает здание бывшего аэровокзала. Аэровокзал иначе называют терминалом аэропорта.

Раньше по просторному холлу стучали каблучки бортпроводниц и скрипели пластиковыми колесиками чемоданы, а теперь между колонн толпятся студенты – шумные, беспокойные. Половина всех окон смотрит на поле, изрезанное взлетными полосами. Аэропорт съехал отсюда лет двадцать назад, и поле густо заросло. Солнце всходит с другой стороны здания – из-за деревьев и высоток – а иначе половина окон каждое утро озарялась бы нежными рассветными лучами.

Зато вечером – особенно зимой, когда солнце садится рано – аудитории, выходящие на поле, пылают закатным огнем.

Адвокатуру читали – и, кажется, продолжают читать – в двести десятой. Двести десятая смотрит на поле. Я всегда просачивался в самый угол, к окну – не из стремления к прекрасному, а потому что адвокатура – нестерпимо скучный предмет, и если остальные лекции второго курса еще можно было сносить, сцелив зубы, то на адвокатуре я был готов выть от тоски.

И поэтому я рвался к окну, как к спасению, и полтора часа – с крошечным, смешным перерывом в середине – блуждал взглядом по полю.

Справа от факультета возвышался ангар, и из окна двести десятой его было видно почти целиком. Большая часть стекол была выбита, бока сочились ржавчиной, и ворота – ворота были такими огромными, словно предназначались для великанов.

Самыми частыми гостями на поле были автолюбители, так называемые «ученики» – кто-то кого-то привозил, усаживал за руль, и машина начинала, дергаясь, ползть из стороны в сторону. Машины то и дело глохли, натываясь на невидимую стену, ревели, как раненые звери, и производили впечатление жалких подневольных существ, вынужденных терпеть любые издевательства.

Одно время по полю бегали какие-то дети – и пускали воздушных змеев. Наблюдать за воздушным змеем – большое удовольствие, которое выпадало на мою долю раза, наверное, три, не больше. Видимо, детям змеи наскучили, и они перестали приходить.

На столешнице – в самом уголке – была выцарапана ножом роза ветров. Она была выцарапана очень старательно и аккуратно – вероятно, кто-то так же, как и я, маялся от скуки – и искал способ ее победить. Я даже как-то раз одолжил в столовой вилку, и за половину пары выцарапал вокруг розы ровный круг, как бы рамочку.

Здесь я должен отвлечься и вступить за адвокатуру – иначе у читателя возникнет неверное представление о том, как у нас на юридическом факультете преподают.

Преподают у нас хорошо, не хуже, чем у других, во всяком случае. А с адвокатурой дела и вовсе обстоят замечательно. Все дело в том, что в какой-то момент, проползая жуком по второ-

Дмитрий Лагутин родился в 1990 году в Брянске. Окончил юридический факультет Брянского госуниверситета. Победитель конкурса «Всемирный Пушкин» (2017 и 2018, номинация «проза»), лауреат премии «Русские рифмы», «Русское слово» (2018, номинация «Лучший сборник рассказов»), один из победителей конкурса «Мост дружбы» (2018). Публиковался в журналах «Новый берег», «Нева», «Нижний Новгород», «Дальний Восток» и др. В «Волге» публиковался рассказ «Сердце» (2018, № 7-8)

му курсу, я решил, что юриспруденция – это не мое, что взявшись за нее, я, наверное, совершил ошибку, что надо было идти на какой-нибудь там иняз или истфак. Но я был нерешительным – и, буду честен, довольно апатичным – молодым человеком и оправдывал себя поговоркой про грузди и кузов и про «стерпится-слюбится» – и все в этом роде. А адвокатура – уж не знаю, по какой причине – оказалась для меня в самом центре разочаровавшей меня за полтора года юриспруденции. Вот бывает такое – невзлюбишь человека без видимого повода, и годами на него косо смотришь. То же случается и с предметами – вот не пошла мне адвокатура, и баста. Даже если бы ее в стихах нам преподавали или в фильмах со спецэффектами – я бы все равно жался к окну и ковырял вилкой столешницу.

Адвокатуру читал Павел Александрович – невысокий, смугловатый, флегматичного вида, коротко стриженный человек.

И вот здесь и начинается, собственно, мой рассказ.

Павел Александрович родился и вырос в Казахстане, зачем-то приехал в наше захолустье, закончил этот самый юрфак и остался на нем преподавать. У Павла Александровича были темные круги под глазами, он немного сутулился и казался старше своих лет. Ему на момент моего второго курса было лет тридцать пять или около того.

Когда он читал лекцию, он снимал с запястья часы и принимался перебирать ремешок одной рукой – и перебирал его безостановочно. Нетрудно было заметить, что человек он, что называется, нервный.

Я видел его на старых факультетских фотографиях – в стенгазете. Худенький, смуглый мальчишка с длинной шеей. На казаха он был совсем не похож, потому как им и не являлся; а что он делал в Казахстане, почему там родился и рос – понятия не имею.

Факультет на фотографиях выглядел точно так же, как выглядит сейчас – узкие темные коридоры и просторный светлый холл. Только тогда можно было курить прямо в аудиториях, и в столовой продавали пиво.

Когда Павел Александрович поднимался по лестнице с папкой бумаг или стоял в очереди в буфет – хотя мог же и не стоять! – можно было подумать, что это замкнутый, угрюмый человек. Таким он казался со стороны. Но если вы приходили на лекцию – даже если она вызывала в вас такую же тоску, что и во мне – вы видели, как угрюмость постепенно растворяется и сквозь нее проступает увлеченность, открытость и даже какое-то упоение – какое-то даже, я бы сказал, болезненное воодушевление.

Павел Александрович у нас считался, что называется, «головастым дядькой» – и те из нас, кто к юриспруденции был если не расположен, то хотя бы лоялен, сразу принимались перед ним благоговеть.

Однажды по полю, по тому, что осталось от взлетной полосы, проехала такая машина – знаете, передвижной трап. Выглядит так, как будто с «нивы» сорвали крышу и водрузили на ее место лестницу. Она подъезжает к самолету, и по трапу спускаются – или поднимаются – пассажиры. И вот эта штука просто проехала по полосе из одного конца в другой, постояла несколько минут в раздумьях, развернулась, проехала обратно и скрылась. Выглядело так, будто она заблудилась и немного опоздала.

Совсем немного.

С третьего курса мой закадыка, с которым мы тогда были не разлей вода, как-то затесался в центр правовой помощи при факультете. Это бесплатный юридический кабинет, в котором консультации дают студенты. Я бы в такой за советом не пошел – ну да ладно. Основной клиентурой были бабульки, которым, понятно, не с руки разоряться на маститых юристов. Они приходили и сидели подолгу, раскладывая на столе справки из БТИ, потрепанные свидетельства и договоры, написанные от руки.

Но перед этим они, конечно, проходили через просторный холл в узенький коридорчик, увешанный стенгазетами и справочными материалами, шли по коридорчику до самого конца, а в самом конце сворачивали в сторону и попадали в неприметный закоулок, в котором и темнела внушительно дверь с глазком. Табличка слева от двери гласила:

«Центр правовой помощи».

Зачем центру правовой помощи потребовался глазок, можно было только гадать.

Центр, как и двести десятая, смотрел на поле – но только, понятно, с первого этажа, и поле маячило как будто под самым носом – надоест сидеть за бумагами, откроешь окно и уйдешь в рябую даль. А какой-нибудь лентяй будет за тобой следить, сидя на адвокатуре.

Зачем мой закадыка подался в центр – кто знает? Но мне, понятно, пришлось идти за ним, а то какой же он мне закадыка?

Ну, я и пошел.

А главным в центре – вот те на – тот самый Павел Александрович. Закадыка мой был у него на хорошем счету – по семинарам – его сразу взяли, а я как будто за компанию, вдруг получится?

– Юриспруденцию, – говорю, – люблю. Жить, – говорю, – без нее не могу. Мало мне, – говорю, – теории, требует душа практики.

Взяли.

На первое время Павел Александрович поставил нас дежурить с самой занудной зубрилой из всех возможных – чтоб она нас натаскивала, как новобранцев. Но зубрила нас тогда терпеть не могла, а юриспруденцию любила, как родную мать – и всех клиентов брала на себя. А мы с закадыкой сидели и мотали на ус – как это ловко у нее все получается.

Набирались опыта, значит.

Она нам иногда говорила что-нибудь вроде:

– Распечатайте, пожалуйста, если не сложно, ГОСТ по наружной рекламе. Спасибо.

Она была всегда жутко вежлива и говорила тихо-тихо, но это, конечно, потому, что она тогда нас терпеть не могла и за людей не считала. Хотя у моего закадыки была какая-то предрасположенность ко всей этой юриспруденции, да и я со временем втянулся – и как втянулся! Практика, что уж говорить.

Мы дежурили вместо двух-трех пар в неделю. Если клиентов не было, мы с закадыкой сидели у компьютера в наушниках – по одному на брата – и смотрели фильмы. Зубрила восседала в кресле Павла Александровича – за широким директорским столом. Она не вылезала из «Консультанта», а мне этот толстяк с сотней подбородков надоел хуже горькой редьки.

Забегая вперед, скажу, что центр правовой помощи на два года стал для меня домом родным – и именно благодаря нему я после четвертого курса оказался в состоянии прилично трудоустроиться, оформив заветное «свободное посещение».

Но тогда я еще был совсем дуб дубом, мне поручали самые простые вопросы и я, как мог, со скрипом тащил их на своей широкой спине.

Павел Александрович приходил в центр в перерывах между лекциями – и в «окна». Он через весь факультет нес из буфета кофе – шел медленно, не сводя глаз с пластикового стаканчика, – входил, садился за свой стол и принимался печатать. И стучал по клавиатуре так свирепо, что треск стоял по всему этажу. Но лицо при этом было каменное – ни один мускул не вздрогнет. Только изредка нет-нет да ухмыльнется в кулак.

Он несколько раз публиковался в юридических журналах. Такие, оказалось, существуют – и находятся уникамы, их читающие. А однажды он даже издал книжку по авторскому праву – ее распространяли в интернете, спрос был что надо.

Я скачал ее, открыл – и тут же закрыл. Я понял, что, как бы ни полюбил юриспруденцию, это вот выше моих сил.

Зато зубрила наша с ней носилась – смотреть смешно.

Я хотел сказать об этом позже – а потом решил и вовсе не говорить – но чувствую, что надо сейчас. Итак, сообщая, забегая вперед, что мой закадыка, как только я ушел на «свободное посе-

шение», пригласил зубрилу замуж, а она возьми и откажись. Но потом она все-таки согласилась, и была свадьба – такой скучной свадьбы мир еще не видел. Гости только что не спали, но закадыка просто сиял. Как-то она его захомутала, в общем.

Но это так, к слову.

На столе у Павла Александровича стояла крутейшая вещь – песчаный пейзаж. Это такая рамочка на подставке. Рамочка наполовину наполнена разноцветным песком, наполовину – зеленой жижей. Рамочка вращается – перевернешь ее, и песок сыпается сверху вниз тонкими струйками, и получается пейзаж – горы, долины, все прямо как настоящее.

Я насмотрелся на такую диковину, и купил себе такую же. Поставил дома – в сервант. Только у меня жижа была оранжевая, а не зеленая, но это мелочи.

На большие праздники городские власти прибегали к услугам нашего поля. За факультетом ставили сцену, приглашали выступающих – и потом еще неделю по полю катались бутылки и бумажки. Как-то к нам в центр, в открытое окно, залетел билет на концерт какой-то брянской группы. Это было забавно.

А однажды к нам – мы тогда сидели вдвоем с закадыкой, зубрили не было – зашла Наташка с четвертого курса, «старичок» центра, и прикрикнула:

– Так, лодыри, скидываемся!

Мы захлопали по карманам, закадыка спросил подозрительно:

– А на что?

Наташка выпучила глаза.

– Вы совсем? У шефа день рождения!

Это был наш первый год в центре, мы еще ничего не знали. Мы сдали деньги, и Наташка исчезла.

Оказалось, что день рождения у шефа только через месяц, но подарок, который придумали старики, требовал времени на подготовку.

Через месяц мы все пришли раньше обычного. Понабились в центр – не продохнуть.

Кто-то командует:

– Откройте окно!

Открыли, а за окном зима – поле белое-белое, небо затянуто облаками – и они как будто тлеют – это с другой стороны солнце встает. И снежок в окно посыпался – мелкий, робкий.

Сразу стало уютно, и я почувствовал себя в кругу большой семьи. Такой семьи, в которой половину родственников по именам не знаешь, но с которыми очень хорошо сидеть рядом за столом и звенеть бокалами.

Закадыка протиснулся к подоконнику, стрёб снег и запульнул снежок в поле. А потом взял еще щепоть – и сунул за шиворот зубриле. Зубрила взвизгнула, а Наташка отвесила закадыке звонкий подзатыльник.

Мы надували воздушные шары, а девочки привязывали их к чему только могли, и скоро шаров стало больше, чем людей.

В углу, на стуле красовался здоровенный бумажный сверток. Это был подарок. Мы с закадыкой несли его от Наташкиной машины – чуть спины не сорвали.

– Что внутри? – спросил я Наташку.

– Кирпичи.

Наконец все было готово. Мы стояли и ждали. Павел Александрович задерживался. В коридоре стоял топот – студенты разбегались по аудиториям.

Кто-то заикнулся про лекцию, его зашикали.

Проорал звонок, топот усилился, потом затих.

Я оглянулся на окно – в шею дуло. Облака горели огнем, подоконник припорошило. Я подтянул воротник повыше, но закрыть окно постеснялся.

Наконец дверь раскрылась, и в кабинет ввалился запыхавшийся Павел Александрович. Он остановился, обвел нас взглядом, и сказал:

– О.

Наташка вышла вперед.

– Дорогой Павел Александрович! От всего коллектива центра правовой помощи позвольте...

И все в этом духе. Мне дуло в шею, я, не оборачиваясь, протянул назад руку, нащупал створку окна и прикрыл его.

– И мы очень вам благодарны за все, что вы делаете, мы без вас – никуда, – закончила Наташка.

Павел Александрович стоял и улыбался – немного застенчиво. И на каждую фразу кивал головой – соглашался. Он так и стоял – в пальто, и на плечах у него таял, превращаясь в прозрачные бусины, снег.

– И позвольте преподнести вам...

Наташка кивнула старичкам, и стул с подарком выехал из угла. Наташка принялась разворачивать бумагу.

Я на носки привстал, чтобы увидеть, что там.

Из свертка показались две стопки книг. Я решил, что это тот же самый трактат об авторском праве, приуныл и опустился с носков. Теперь я не видел свертка, а видел только Павла Александровича – по грудь – и курчавый затылок одного из старичков.

Павел Александрович выглядел очень удивленным – и обрадованным. Он как-то засмутился – теперь это было совсем очевидно, склонился над свертком и взял одну из книг. Открыл, перелистал.

Потом поднял глаза.

– Спасибо, ребят.

– Тут тридцать экземпляров, – сообщила Наташка.

Павел Александрович только руками развел – смутился.

Помолчали немного.

– Ну, по такому случаю жду вас завтра после занятий – на застолье, – сказал Павел Александрович воодушевленно. – Сегодня не получится, а завтра – милости прошу.

Все радостно закивали. И я закивал – радостнее всех.

– А сейчас, извините, у меня лекция.

И Павел Александрович стянул пальто – бусины посыпались на пол. Все стали, огибая стул, просачиваться к двери. И все, перед тем как выйти, жали Павлу Александровичу руку и поздравляли.

Когда я поравнялся со стулом, то понял, что зря унывал. Мы несли из Наташкиной машины не занудные трактаты об авторском праве, а нечто совсем иное. На обложке пылала какая-то ядреная абстракция, а поверх нее красовалась фамилия Павла Александровича с инициалами и надпись: «Город джаза». А ниже: «рассказы».

– Ребята, пожалуйста, поторопитесь, у нас семинар, – затараторила зубрила, толкая меня в спину.

Мы шагнули к имениннику, пожали холодную руку, промямлили что-то и побежали на семинар.

А сразу после семинара нас потащили на конференцию в главный корпус, и мы с закадыкой даже не успели забежать в центр. Мы замотались в шарфы и поплелись вместе со всей группой мимо сугробов – дорогу до нашего аэровокзала никто не чистил так, как следовало бы, и вдоль тротуара стояли целые горные хребты. Утро было отличным – солнечным, ясным. Мы даже немного покидались снежками, а закадыка упал в сугроб и все никак не мог выбраться.

В тот же вечер я слег с температурой – почти на неделю. И на застолье, конечно, не пошел.

Ох, как же мне было обидно!

Когда я вернулся в строй, закадыка с лету засыпал мои раны солью. Я еще дверь за собой не закрыл, а он уже орал:

– Погуляли на урал!

Я состроил гримасу и сел дописывать иск о возврате долга, который начал неделю назад. В центр приходила тетка, махала перед моим носом распиской и триста раз повторила, что у должника нет совести. А потом я пересчитывал проценты по долгу за каждый год с учетом триста раз изменившей ставки рефинансирования – то еще веселье. Тетка мне телефон оборвала, пока я в горячке лежал, только что домой не приехала; договорились, что явится, как только я выйду, и я имел глупость ей сообщить, что вот, пожалуйста, вышел.

А закадыка все кружил вокруг меня и нахваливал гулянку. Он теперь, я так понял, был со всеми старичками на короткой ноге – потому что один из них заглянул к нам, окликнул закадыку каким-то мерзким прозвищем и поздоровался с ним, как с родным братом.

За неделю в центре – кроме авторитета моего закадыки – изменилось еще кое-что. Раньше тумбочку под зеркалом делили между собой истертый журнал посещений и трактат об авторском праве. Теперь эти двое жались к краям, а в центре пестрел «Город джаза».

– Наш экземпляр, – гордо пояснил закадыка.

– Наш с тобой?

Он величественно обвел рукой кабинет – так воевода обводит дланью панораму взятого города.

– Наш, – выдохнул он.

Я отложил иск – с непривычки от всех этих цифр рябило в глазах, всю сноровку за неделю потерял – и дотянулся до книги.

– Я за кофе, – сказал закадыка. – Тебе брать?

– Ага.

Он выгреб из куртки мелочь и вышел.

Обложка была что надо – твердая, глянцевая. На обороте был указан только год, ни тебе аннотации, ни фотографии автора.

В книге было двенадцать рассказов. Я выбрал самый короткий и стал читать.

Описывался мир, в котором люди живут в поездах. И пребывают, понятно, в постоянном движении – куда глаза глядят. Мутная история – мир вроде как не заканчивается, какая-то пространственная аномалия. И они расстояние измеряют временем – месяцами, годами.

И все ищут обрыв – который зовут «концом горизонта». А что там за ним такое – никто не знает; и зачем его искать, соответственно – тоже.

Рождаются в одном поезде, когда приходит пора, слезают с него, пересаживаются на другой. И так по пятьсот раз за жизнь.

И есть у них такое поверье: если встретил дважды одного и того же человека – случайно, по пути – значит, почитай, до обрыва недалеко.

Но закончить рассказ я не успел – дверь распахнулась и на пороге выросла тетка с распиской. Я начал мямлить что-то – почти готово, еще вот секундочку – она цыкнула и села за стол. Ждать, значит. Ну а я вернул книгу на место и вернулся к иску.

Зашел закадыка с кофе.

– Может быть, кофе? – спросил я тетку.

– А что у вас за кофе?

Я посмотрел на закадыку.

– Три в одном.

– Нет, спасибо, я пью черный.

Я зачем-то решил состроить из себя джентльмена.

– Сходить за черным?

Она заерзала недовольно – это ж я тогда от ее циферок оторвусь, как же так.

– Я схожу, – зачем-то соорудил из себя джентльмена мой закадыка, поставил стаканы на стол и вышел.

Потом он вернулся, вручил кофе тетке и уселся в кресло Павла Александровича.

И я еще полчаса мучил ее иск. Под конец у меня уже голова пухла, все эти проценты, номера статей и вся эта казенщина – «согласно тому-то», «в соответствии с тем-то», «исходя из того-то» – у меня перед глазами водили какой-то дикий хоровод. Поставив точку, я вдруг решил, что где-то обязательно ошибся – и принялся все перепроверять, а потом еще и закадыку подключил.

– Ты вот тут опечался, – зашипел он, заглядывая мне через плечо.

– Где?

Он ткнул пальцем в экран.

Я вместо «по истечении» написал «по истечение». Это был пустяк, но меня это подкосило – если я в такой ерунде маху дал, то что говорить о цифрах? У меня даже ладони вспотели. Это было мое первое мало-мальски серьезное дело.

А тетка тем временем выпила кофе – морщилась так, будто пьет воду из лужи – постукала по столу длинными малиновыми ногтями и без спроса подтянула к себе книгу.

– Что это? – спросила она.

«Книга», – чуть не ляпнул я.

– Это у нас... руководитель пишет, – ответил закадыка.

– Да? – она сделала удивленное лицо. – Ничего себе.

Она принялась листать «Город джаза».

– Фантастика?

– Вроде того.

А я продолжил проверять иск. Я проверил все цифры еще раз – и теперь намеревался проверить все статьи, на которые ссылался. И, как оказалось, не зря. Дважды вместо «ГК» я написал «ГПК».

Тетка листала-листкала, а потом захлопнула книгу и сказала:

– Недурно.

Она положила «Город джаза» на тумбочку и повернулась к окну.

– Но я фантастику – не то чтобы...

Она не договорила. Закадыка висел над моим плечом и читал иск.

– А какой у вас тут вид! – воскликнула она так внезапно, что мы вздрогнули.

День был солнечный, и поле за окном сверкало так, что больно было смотреть.

– Но не сегодня-завтра все это застроят... – вздохнула она.

– Не застроят, – вступился за поле закадыка. – Это муниципальная собственность.

Она посмотрела на него с усмешкой.

Я, наконец, решил пустить иск на печать. Сверху вниз по каждому листу тянулась широкая серая полоса – даже как-то стильно смотрелось. Тетка пробежала текст глазами, вздохнула и встала.

– Спасибо вам за работу, мальчишки.

И она положила на стол триста рублей.

Мы смутились.

– Да чего уж...

– Дело-то несложное...

Она улынулась победно и вышла.

А у нас в центре было правило: если кто из клиентов расщедривается – все идет в общую кассу. Касса жила в верхнем ящике стола и представляла собой коробку от телефона Нокia. Чей это был телефон и кто пожертвовал центру коробку – мы не знали. Мы спрятали деньги в кассу и пошли проветриться – лекция шла полным ходом, и на факультете царил благоговейная тишина.

– Только я на улицу не пойду, – предупредил я.

– Почему?

– Только выздоровел.

Закадыка почесал затылок.

– Тогда пошли до столовой, пожрем.

– Пошли.

И мы пошли в столовую. В столовой было солнечно, уютно, за прилавком плавал туда-сюда, точно белый кит, огромный повар в колпаке. Мы взяли по котлете с толченой и по стакану сока. Кроме нас в столовой было человек пять – четверо первокурсников, вздрагивающих от каждого шороха, и милейший старик, в прошлом году преподававший нам конфликтологию. Он ел борщ, и от борща у него все усы были красные.

– Смотри, – кивнул я на него закадыке.

Закадыка скопился на старика, прыснул и подавился котлетой. Он принялся кашлять, закрывая рот ладонью, а я перегнулся через стол и постучал его по спине кулаком.

Только отдышался – и завел свою шарманку:

– Нет, погуляли отлично. Жалко тебя не было.

Мне стало тошно, и я его перебил:

– Жалко-жалко. Ну, а ты читал?

Он нахмурился.

– Что?

– Рассказы.

– А, читал.

– И как тебе?

– Интересно.

– Все читал?

– Нет.

– А сколько?

– Два-три, – он допил сок. – Я фантастику не очень.

– А теперь похвали пейзаж.

– Что?

– Ну, по сценарию. Как тетка.

Он махнул рукой.

– Ай, ну тебя.

Он вдруг встал.

– Мне идти надо – договор составлять.

– Какой?

– Аренды.

– Аренды чего?

Он почему-то вспыхнул.

– Да что ты пристал? Аренды транспортного средства! С экипажем!

– Бричку?

Он не ответил и поволок поднос к стойке. Проходя мимо старика с красными усами, он склонился почтительно и поздоровался.

Я не спеша доел, выцедил сок, взял чашку чая и смотрел, как через поле бредет какой-то чудак – по колено в снегу, напролом. Чудак шел, пока не превратился в точку, точка все уменьшалась и, наконец, исчезла за деревьями с той стороны. Там была рощица, а за ней сразу центр города.

Когда я, наконец, вернулся в центр, намереваясь дочитать историю про мир железных дорог, книги на тумбочке не было: забегал кто-то из старичков и умыкнул ее на лекцию.

О том, что Павел Александрович родился в Казахстане, я узнал из нашей факультетской газеты, которая выходила раз в месяц.

Газета была, в общем-то, недурной – если не брать в расчет наимерзейший юридический юмор, которому с особым пиететом отводили последнюю страницу. Дескать, вишенка на торте. Шутки писали наши кэвээнщики – и это была такая стыдоба, что и вспоминать совестно. Но в остальном – газета удавалась. В каждом номере было по два интервью – с преподавателем и студентом. Студентом, понятно, не абы каким, а отличившимся. Однажды было интервью с нашей зубрилой – она выделилась на каком-то конкурсе.

Был еще один минус – качество печати. В цвете печатали только обложку, все остальное давали на растерзание обычному принтеру – и оттого многие фотографии выходили совершенно непрезентабельными. Зубрила на одном фото стояла у куста сирени, на лицо падала тень, а получилось, что она в какой-то карнавальной маске. Она, когда увидела, так губы и надула – но смолчала.

И вот в февральском-то номере – как сейчас помню, холодина стояла лютая, по полю носилась, завывая, пурга – в февральском номере вышло интервью с Павлом Александровичем. Мы с закадыкой на паре читали.

Было про регалии, про конференции всякие. Про центр правовой помощи. Про трактат об авторском праве. А про рассказы – ни слова. Мелькнуло что-то про любимые книги – Азимов, Стругацкие – и все.

А между тем почти одновременно с выходом интервью на тумбочке под зеркалом появился еще один артефакт. Это был литературный журнал. И на тридцатой странице – рассказ Павла Александровича.

Этого рассказа не было в «Городе джаза», и я решил, что прочту его после того, как осилю сборник целиком. Еще половина оставалась, или около того.

Мы все поздравляли Павла Александровича – и я ждал застолья по случаю публикации, был предельно осторожен с проветриванием, но застолья не случилось. Досаду мою не описать.

Не было застолья и по случаю повышения – Павла Александровича сделали заведующим кафедрой. Теперь он реже появлялся в центре, а когда появлялся, выглядел вымотанным. Он садился за свой стол, включал компьютер и с такой яростью стучал по клавиатуре, что мы всерьез боялись – и за него, и за нее.

Как-то закадыка отравился и слег – и я два или три раза дежурил в гордом одиночестве; а зубрилу от нас уже давно отселили, выделив ей самостоятельное время. Это был все тот же февраль, самый конец, погода – хоть на факультете ночуй. За окном метет, небо затянуто; курильщики отказывались идти на улицу и набивались в туалеты как кильки в банку. На них устраивались облавы – и понурых, пропахших табаком нарушителей партиями водили в деканат. Я сидел в центре, пил кофе, крошил на клавиатуру печенье и редактировал курсовую.

По коридору простучали шаги, дверь распахнулась, и в нее влетел Павел Александрович.

Он посмотрел на меня, кивнул и опустился в свое кресло. Загудел компьютер, экран бросил на сосредоточенное лицо голубые блики. Павел Александрович с ходу забарабанил по клавиатуре, но почти сразу осекся, убрал руки, скрестил их на груди, откинулся в кресле и задумался.

Мне стало неловко, и я стал прикидывать – уйти мне или остаться. С одной стороны – курсовая, кофе, крекер в форме рыбок. С другой – Павел Александрович.

Он взял со стола ручку и принялся постукивать ей по блокноту. Сидит и постукивает. А я – как на иголках.

Я попытался сосредоточиться на курсовой. Слышу – клавиатура. «Ну, – думаю, – можно остаться».

Раз – и опять тишина. Сидит, ручку вертит между пальцами. Потом и вовсе – скрипнул колесиками и отвернулся к окну вместе с креслом.

Я встал, кашлянул.

– Павел Александрович, я это... пойду перекушу.

Он обернулся, посмотрел на пакет с крекером – наполовину пустой – и пожал плечами.

Я вышел.

Было около четырех, шла пятая пара. Половина аудиторий – пустые. Я прошелся по коридору, стараясь шагать как можно тише. В холле только гардеробщица – сидит на стуле, скучает среди леса курток. Я поздоровался, она посмотрела подозрительно.

– Чего не на занятиях?

Я не ответил. Пересек холл, поднялся на второй этаж. Оперся на перила, постоял, глядя вперед. Холл почти целиком состоял из огромных окон, и за ними мела метель. Сугробы были такие, что казалось, будто вокруг факультета вздымаются белые волны. Гардеробщица не спускала с меня глаз – сверлила просто, через весь холл, по диагонали.

– Чего не на занятиях? – повторила она.

Я закатил глаза и отошел от перил. Поизучал расписание – первый курс не учится в субботу! – посидел на диванчике. На меня наваливалась дремота.

Мимо прошла Марина Викторовна – она у нас вела трудовое.

– Чего не на парах?

– У меня дежурство в центре.

Она прищурила глаза.

– Разбаловал вас Павел Александрович.

И она скрылась за углом.

Я и вправду совсем обнаглел. Дежурство дежурством, а вот так расслаживаться – да возле деканата. Я встал, подождал, пока затихнут шаги, свернул в коридор. По левую руку в стене светились узкие оконца, похожие на бойницы – три штуки – в них можно было заглянуть, если росту хватит. Я подошел к ближайшему и привстал на цыпочки, уцепившись за раму пальцами.

Оконце выходило в потоковую аудиторию. Тянулись вниз ряды, на них тосковали студенты – наш курс. Вот мои одноклассники – рассеяны по рядам как горох. Строгая иерархия – отличники внизу, разгильдяи вверх. Вот и зубрила – в самом центре первого ряда, не поднимает головы от тетради – а если поднимает, смотрит на преподавателя так, словно хочет его загипнотизировать. А что у нас на галерке? Сидят с застывшими лицами, спят с открытыми глазами. Один – с закрытыми. Голову на грудь опустил, руки на столе – пишет, дескать. И даже ручку держит – в левой. Писал-писал, и вдруг закемарил – с кем не бывает?

Внизу, у доски, расхаживает преподаватель, жестикулирует, диктует.

В аудитории такие же окна, как и в холле – огромные, во всю стену. Здесь, наверное, раньше был зал ожидания – что-то в этом роде. За окнами метет так, что ничего не разглядеть – сплошная каша. Теперь кажется, что факультет оторвался от земли и плывет среди облаков. Горят под потолком лампы.

Меня заметили. Один из наших встретился со мной взглядом и давай сразу пихать локтями соседей. Я им помахал и скрылся.

Прошелся по коридору до самого конца. За кабинетом информатики – поворот налево и тупичок. В тупичке две двери и три кресла в ряд. Я уселся на среднее.

Где-то было открыто окно – по полу тупичка кругами завивался холодный воздух. Вероятно, с лестницы. Снова навалилась дремота. Я вспомнил спящего студента и улыбнулся.

Одна из двух дверей распахнулась, и в тупичок вывалился пятикурсник. Мы были знакомы. У него лицо было все в пунцовых пятнах, ноздри раздувались.

Мы поздоровались, и он сказал:

– Жди. Через год будет вам веселье.

И кивнул на дверь.

– Через два, – поправил я.

Он наклонил голову.

– А ты не на четвертом?

– На третьем.

Он хмыкнул.

– Самый кайфовый курс.

И спросил:

– Экватор гуляли?

– Ага.

– Вот. Нормальная группа. А мы...

И он развел руками.

– А где гуляли?

Я назвал место, он одобрительно кивнул.

– Ладно, – сказал он, – давай.

– Пока.

И он засеменял по коридору в сторону расписания.

В аудитории, из которой он вылетел, кто-то громко ругался. Я встал, подошел к двери, приоткрыл ее и в щелку посмотрел – что же это нас ждет через два года?

В аудитории рвал и метал местный тиран, гроза всего студенческого мира. Я был наслышан о его буйстве, знал его в лицо, но пары он вел только на пятом. А значит, пока и бояться было нечего.

Он заметил, что дверь приоткрылась.

– Что? – крикнул он. – Вернулся?

Я щелкнул замком и ретировался.

Из тупичка я махнул на боковую лестницу, спустился и быстрым шагом двинулся к центру. Снова пришлось пересекать холл и ловить на себе подозрительный взгляд.

От холла я замедлился и пошел тише, а к центру подбирался и вовсе на цыпочках. Я подошел к двери и прижался к ней ухом.

Мне показалось, что я слышу, как стучит клавиатура.

Я постоял, раздумывая, но войти так и не решился. Была, конечно, мысль, что Павел Александрович строчит всего-навсего какой-нибудь отчет или очередную статью про авторское право... Но вдруг – нет? Войду – и прощай, шедевр. Я вздохнул и потащился обратно – решил попытаться счастья со столовой. Столовую обычно закрывали в четыре, но иногда они там задерживались и до пяти, и до шести – и пускали студентов попить чаю.

В этом крыле факультета лестницы не было – и мне опять пришлось идти мимо гардеробщицы. В коридоре по стенам висела всякая всячина – я выудил с одного из стендов список тем для курсовых, уткнулся в него и пошел через холл. Дескать, я тут не просто так шатаюсь, а вот, пожалуйста, с документами. В рабочем, значит, движении.

Гардеробщица, смотрела на меня так подозрительно, словно собиралась вот-вот вызвать охрану, – но ничего не сказала.

Я поднялся на второй этаж и пошел к столовой – но еще издали увидел, что она закрыта. И табличка даже висела: «закрыто». И я уже было собирался возвращаться в центр и ставить под удар шедевр, как вдруг понял, что стою напротив той самой аудитории, в которой Павел Александрович нам читает адвокатуру. И я почувствовал, как по щиколоткам меня гладит ледяной воздух, волнами вытекающий из-под двери. Так вот где было открыто окно.

Но если там открыто окно, то там точно никого нет – не станут студентов так морозить, так и до бунта недалеко.

Я взялся за ручку – ледяная. Надавил, она поддалась. В щель пахнуло февральским морозом, свет не горел. Я огляделся по сторонам и юркнул внутрь.

В аудитории было жутко холодно и совсем темно – зато за стеклом сияла метель. Окно возле места, где я всегда сидел, было раскрыто настежь, в него выл, как в трубу, ветер и мело снегом – прямо на столы. Я подскочил, захлопнул – и в аудитории воцарилась тишина.

Я провел ладонью по стулу – сухо – и уселся. Зима точно рассвирепела – как это я посмел ее прогнать – и хлестала по стеклу горстями снега.

Все таяло в белой пелене, и казалось, что само поле встает на дыбы и бросается на факультет. Рощи видно не было, домов за ней – подавно, и только темное небо устало выгибалось где-то далеко вверх.

Я разглядел розу ветров и смахнул с нее россыпь сверкающих капель. Роза ветров, выцарапанная на черной столешнице, вбирающая в себя холодный прозрачный свет, выглядела очень таинственно. Я дотронулся до нее кончиками пальцев и стал водить по шероховатым лучам. Можно ли на ощупь понять, какой именно узор выцарапан на столешнице? Узнаю я свою розу, если ослепну? Я закрыл глаза и почувствовал, как сталкиваются, сменяя друг друга, тонкие линии, выгибаются, зовут за собой – но отказываются складываться в цельную картину и рассыпаются во все стороны наподобие лабиринта.

А потом линии и вовсе иссякли, и пальцы заскользили по гладкой мокрой столешнице.

Заверещал звонок – и в ту же секунду факультет сбросил с себя оцепенение. Он точно вздохнул – по коридорам, по стенам, по потолкам и полам пробежал гул, вслед за ним захлопали двери и поднялся невообразимый гвалт.

Я встал, потянулся – так, что кости захрустели – и вышел. Мимо дверей неся поток из студентов, он вобрал меня, донес до лестницы, скинул в холл – гардеробщица палила по потоку очередными подозрительных взглядов – и понес к лесу из курток, но я увернулся, сделал усилие и вырвался в коридор, ведущий к центру.

Когда я вошел, Павел Александрович сидел в кресле и смотрел в монитор – что-то внимательно читал.

Шедевр, которому я помог своим отсутствием?

Я сел на место, и только тогда Павел Александрович меня заметил.

– Наелся? – спросил он совершенно серьезно.

Я кивнул.

Он одарил меня долгим взглядом, но ничего не сказал. А я уже был готов объясняться – что не хотел ему мешать и всякое такое.

Он выключил компьютер, перелистал какие-то папки и снял с вешалки пальто. Я думал, он так и уйдет, ничего не сказав – и тогда будет повод понервничать – но уже в дверях он вдруг обернулся.

– Как курсовая?

Я покачал головой.

– Пока так себе.

– Если нужна будет помощь по тексту, обращайся.

– Большое спасибо.

Он кивнул и собрался было шагнуть в коридор, но я выпалил:

– Павел Александрович!

Он посмотрел вопросительно.

– Посоветуйте – с чего начать Стругацких?

Он задумался.

– А тебе сколько лет?

Я ответил.

– Стругацких уже поздно, – сказал он. – Попробуй...

И он назвал какую-то причудливую фамилию, которую я тут же забыл.

– Хорошо.

Он махнул рукой и вышел.

Как только закрылась дверь, я хлопнул себя по лбу – и с чего меня вообще угораздило полезть с расспросами? Стругацких я читать не собирался, этого, как его, пурумбурум, – тем более. Захотелось поддержать беседу?

Я свернул курсовую, завязал пакет с крекером и сунул его в ящик, тот самый, в котором жила касса. За окном мело по-прежнему, только небо еще больше потемнело.

Когда я воевал с молнией на пуховике – она меня вечно подводила – дверь открылась, и в центр заглянул Павел Александрович. Я испугался, что он сейчас заговорит про Стругацких или про пурмбурум – а мне уже страсть как хотелось домой. Но он только напомнил:

– Будешь уходить – не забудь сдать ключ на вахту.

Это кто-то из старичков отличился вчера – забрал ключ домой. Две смены сорвались. Бабульки толпились перед закрытой дверью и возмущались.

Рассказ из журнала я прочел – не закончив «Город джаза» – через пару месяцев, и вот при каких обстоятельствах.

Это был конец апреля – около того. Погода – сказка. Поле нежно зеленело, небо переливалось – голубое-голубое.

Учиться, понятно, никому не хотелось. До сессии оставался целый месяц, и студенты старались выжать все возможное из весны. На факультете возобновились дискотеки, повсюду кто-то кого-то звал в кино, кто-то кому-то дарил цветы, несколько смельчаков сыграли шумные студенческие свадьбы. Даже занятия казались не такими скучными, как обычно.

И дважды я видел, как дети бегут по полю со змеем. Змей был самодельный, невзрачный, но – как же здорово он летал!

И лектор, стоя за кафедрой, засмотрелся на змея. А потом сказал мечтательно:

– Мы тоже в детстве змеев пускали...

Он сразу понял, что ляпнул не в тему, встряхнул головой, нахмурился и продолжил читать курс.

И даже семинары были какие-то несерьезные, никого не выгоняли, не отчитывали, не грозили исключением. Как будто все договорились не мучать друг друга такой весной.

Все – да не все. Пятикурсник накаркал – и когда Марина Викторовна, сетовавшая на то, что Павел Александрович нас разбаловал, заболела – весной! болеть! – ее заменили тем самым тираном, от которого нас, казалось, отделяли полтора года.

Лекция прошла более-менее мирно, тиран был, судя по всему, в хорошем расположении духа и просто декламировал, отчаянно жестикулируя.

А вот с семинаром с самого начала не задалось.

Сперва аудитория оказалась закрыта; тиран жажнул в дверь плечом, обвел нас глазами и рявкнул:

– Староста!

Но староста куда-то пропал.

Тиран выдержал паузу и снова рявкнул:

– Староста!

Тишина.

– Ты! – и он ткнул пальцем в закадыку.

У того кровь отлила от щек.

– Я не староста, – промямлил он.

– Он не староста, – подтвердил я.

У тирана ноздри раздулись так, словно он хотел нас обоих ими всосать – по ноздре на брата.

– Ты! – он снова ткнул пальцем в закадыку. – За ключами!

Закадыка исчез.

Мы – человек двадцать – остались наедине с тираном. Мы были зажаты в небольшом «кармане», тут стояли диванчики, но сесть никто не решился. В окно заглядывало поле, по небу безмятежно плыл белый пух облаков. Тиран сперва не сводил с нас взгляда – со всех одновременно – а потом решил, что мы не заслуживаем его внимания, и уткнулся в записи.

Я увидел, как за его плечом, прижавшись к стене, крадется по коридору староста. У него глаза были как блюдца.

Все стали ему моргать и подмигивать, он понял, развернулся и, не издав ни единого звука, не отлипая от стены, удалился.

Наконец подоспел мой закадыка.

– Почему так долго?

Закадыка из белого стал пепельно-серым и только открывал рот, как рыба.

– Давай сюда ключ!

Тиран вырвал ключ из онемевших рук, отпер дверь и вошел первым, а за ним уже потекли в аудиторию все мы.

Отличники рассаживались прямо перед тираном с лицами, полными ужаса и мольбы. Я у них никогда таких лиц не видел. Они затравленно озирались, а один попытался пробраться на задние ряды, но его безжалостно вытолкали обратно.

Я как-то умудрился просочиться в самую даль, к окну, а передо мной сел наш тяжелоатлет. У него спина была как шифоньер – она отгородила от меня тирана и половину аудитории в придачу.

– Андрюха, – шепнул ему я, – ты – лучший. Ты станешь чемпионом мира.

Под рубашкой весело заиграли могучие мускулы.

На соседний стул опустился закадыка. Теперь он был каким-то зеленоватым, как водоросли.

– Ты чего это так разнервничался? – спросил я безмятежно.

Он посмотрел на меня с ненавистью и уже хотел что-то ответить, но откуда-то из-за спины шифоньера заговорил глухо тиран.

– Я смотрел ваши работы, – тихо цедил он слова. – Марина Викторовна вас разбаловала.

Все сидели, втянув головы в плечи. Даже Андрюха, игнорируя законы природы, умудрился сжаться – и мне пришлось расплататься по столешнице, чтобы сохранить укрытие.

– Я преподавал трудовое право, – продолжал тиран, – это важный и серьезный предмет, к нему нельзя относиться легкомысленно. Сегодня на трудовое право выделяется куда меньше часов, чем следует.

Я приподнял голову – отличники усердно скрипели ручками. У всего ряда уши были красные, точно маки.

– Если бы я продолжал заниматься трудовым правом, ситуация была бы иной...

Я возблагодарил небеса за то, что он не продолжил заниматься трудовым правом.

– Но я уже несколько лет не занимаюсь трудовым правом. Я занимаюсь...

И он назвал предмет, от упоминания которого даже у абитуриентов по телу пробегает су-дорога.

– И я вывел эту дисциплину на высочайший уровень. Насколько я понимаю, нас с вами ждет не так много встреч, – он повысил голос, – в рамках трудового законодательства, но я постараюсь сделать все возможное, что вы хотя бы на йоту продвинулись в понимании глубинной сути этого предмета.

Я смотрел в окно. Поле лежало прямо передо мной – широкое, нежно-зеленое, трава весело вздрагивала от ветра. Я представил себе этот апрельский ветер – еще прохладный, острый, но уже напоминающий о лете.

А тиран между тем закипал.

– Зарубите себе на носу, далеко не все из вас смогут стать юристами. Юрист! – пауза. – Юрист – это особый тип! Это отдельная каста!

По небу плыли лоскутами полупрозрачные облака.

– Я уже давно не встречал группы, в которой хотя бы половина студентов была достойна преступать порог этого факультета!

Я снова приподнялся. У отличников уши горели так, что можно было испугаться – не срабывает ли пожарная сигнализация. Выплыл из-за огромного Андрюхиного плеча и сам тиран – в руке он держал кружку Марины Викторовны, которая всегда стояла на столе, и даже Марина Викторовна из нее никогда ничего не пила. Он держал кружку так, будто был готов прямо сейчас разнести ее об стену – или чью-нибудь голову.

Я снова прижался к столешнице.

Но речь прервалась – что-то тоненько запищало, повисла тишина, потом прогремел голос тирана:

– Алло?!

Я бы, услышав такое «алло», упал в обморок.

Тиран с грохотом вернул кружку на стол и вышел, шарахнув дверь.

По аудитории пронесся вздох.

– Это ненормально, – сказал закадыка. – Ненормально.

И тут я сделал очень странную вещь, которой сам от себя не вполне ожидал. Я встал, распахнул окно, схватился за раму, уперся ногой в подоконник и вынырнул наружу. Все ахнули.

Меня обдало ветром – он был точно таким, каким я его представлял.

В окно я увидел изумленное лицо закадыки.

– Ты чего?

И он повертел пальцем у виска.

Я пожал плечами.

– Идет, идет, – задохнулся кто-то.

Закадыка рванулся в мою сторону и захлопнул окно.

Я ухнул на корточки и гусиным шагом стал пробираться в сторону. Миновав аудиторию, я выпрямился и вздохнул полной грудью. Потом шагнул к окну и одним глазом заглянул внутрь. Тиран снова размахивал кружкой, отличники безостановочно строчили. Зубрила оторвалась от тетради и посмотрела в мою сторону. Во взгляде читалось отчаяние. Я сделал грозное лицо и замахнулся на тирана – на большее я не был способен.

Тиран, не оборачиваясь, шагнул к окну, и я отпрыгнул. Прислонился к холодной стене факультета, посмотрел по сторонам.

Больше всего мне сейчас хотелось уйти прямо так, через поле – на вылом глаз. Но это было, конечно, слишком круто.

Вариантов было два: снова проползти мимо тирана и обогнуть факультет с северной стороны – или пробираться мимо десятка аудиторий, чтобы дойти до противоположного угла.

Я выбрал второе.

За следующим окном – теория государства и права, первокурсники. Варвара Михайловна, добрейшая женщина, что-то пишет на доске. Я вразвалку проплыл мимо, сунув руки в карманы и что-то насвистывая.

Первокурсники не отрывали от меня восхищенных глаз. У последнего окна я засвистел громче.

Налетел ветер, подхватил мой свист и унес в поле.

Далее пришлось снова перейти на гусиный шаг – Павел Александрович читал авторское четвертому курсу.

Далее – широкое окно в коридор. В залитом светом закутке в позе мыслителя сидит наш староста, разглядывает туфли. Я занес было руку – постучаться, но потом решил не отвлекать.

А вот мимо следующей аудитории я только что не полз – римское право. Декан.

Пока ковылял по-крабьи, заметил, что из-под стен факультета, там, где они вырастают в асфальт, торпоятся высокие зеленые клочки травы.

Слева выкатилась машина с буквой «У» на макушке. Поравнявшись со мной, притормозила, весельчаки принялись сигналить, руками замахали. Я в это время крался мимо криминалистики.

Наверное, за каждым окном думали, что сигналият именно им.

Долго ли коротко ли, я добрался до окна центра – крайнего на этой стороне – и обнаружил, что оно, внезапно, открыто. Ну, то есть кто-то подложил учебник, чтобы оно не распахивалось

настежь – но это был, конечно, пустяк. Я просунул руку, нащупал учебник и аккуратно его отодвинул.

Окно медленно отворилось, приглашая меня внутрь.

Дважды просить не пришлось – я уцепился за подоконник и втащил себя в центр.

Пахло кофе. Дверь – заперта.

У меня даже дыхание перехватило от восторга – настолько удачно складывались обстоятельства. С закрытой дверью центр больше не принадлежал факультету, теперь он был частью поля с его взлетными полосами, ангаром и кружевами облаков.

Я распахнул окно так широко, насколько мог, еще раз – на всякий случай – подергал дверную ручку, представил, как где-то за тридевять земель, за морями-океанами, на кудыкиной горе вздрагивает недоуменно дверная ручка в коридоре незнакомого мне факультета, пугая заплутавшего первокурсника – и меня захлестнуло волной горячей трескучей радости.

Я стал между столами, поправил стопку бумаг, лежащую у моего компьютера, посмотрелся в зеркало, перевернул песочную картину Павла Александровича – неслыханная дерзость! – и сверху вниз побежала тонкая струйка серебряной пыли. Песчинки громоздились друг на друга, и на картине росла сверкающая пирамида.

Я высунулся в окно и втянул ноздрями ветер, поле, весну, облака, третий курс – аж голова закружилась. Стрекотали кузнечики, щебетали птицы, издали доносился автомобильный гул. Солнце метало лучи в распахнутое окно, они изгибались и чертили на стене прямоугольники.

Я сел в кресло Павла Александровича, откинул голову и закрыл глаза. Но просто сидеть я не мог.

И тогда я решил прочесть тот самый рассказ, из журнала.

Я встал, взял с тумбочки номер, вернулся в кресло, устроился поудобнее. Прочитал до тридцатой страницы – в этом журнале печатали только фантастику – и стал читать.

Действие происходит в параллельном мире – или вроде того. Как если бы советский союз до сих пор существовал – и преуспел в техническом плане. До такой степени, что можно бы было людей отправлять на Марс.

Вокруг такой экспедиции – первой в истории – вся история и вращается. Главный герой, мальчуган лет пятнадцати, ждет возвращения отца – с Марса. Из-за солнечных бурь кораблю угрожает опасность, а он и так уже помят. Корабль совсем близко к земле – последний, как говорится, рывок. Идет урок физкультуры, весь класс гоняет мяч, а мальчуган мается, не знает, чем себя занять. Он садится в углу школьной площадки на траву и начинает от скуки терзать подобие телефона – какой-то дремучий карманный компьютер, у которого функций раз-два и обчелся.

В числе этих раз-два – возможность переписываться с кем попало на волнах определенных, одному компьютеру понятных частот.

Но из-за солнечных бурь вся техника – а не только космический корабль – барахлит и отказывается работать как надо.

По полю в обратную сторону прокатились мои весельчаки – с буквой «У». На песочной картине вырос целый Египет – пирамиды прятались одна за другую и продолжали строиться. Над ними нависали черные грозовые тучи.

Мальчуган с горем пополам натывается на единственного возможного собеседника – и вступает в переписку.

Сразу становится понятно, что собеседник – все дело в бурях – «отсюдава». Из нашего, то есть, измерения. У нас тут, понятно, на Марс не летают, зато карманные гаджеты не в пример солидней. Ну и начинается классическая игра в угадку – читатель все понял, а персонажи ломают комедию.

Но мальчуган переписывается как-то спустя рукава – и удивляется загадочному собеседнику так же, через силу. Мыслями он с отцом. Он отвлекается, не может унять беспокойство, а то и вообще отложит свой патефон, обхватит колени руками и смотрит в небо, не моргает.

Угадка, получается, дает сбой.

А наш тем временем продолжает всеми силами заявлять о себе – он, почитай, батьку с другой планеты не ждет, он, небось, на лекции сидит и от скуки умирает.

За тридевять земель, на кудыкиной горе по коридору простучали тяжелые шаги. Я привстал, был готов прыгнуть за свой компьютер, но шаги стали удаляться и затихли.

Тучи над пирамидами разошлись, и оказалось, что это не пирамиды, а холмы. Между холмами бежала белая дорожка, небо стало совсем ясным. По бокам, у рамки, песок еще сыпался – там нарастали горные склоны.

Рассказ заканчивался тем, что к мальчугану подбегали ликующие одноклассники и сообщали, что, дескать, вышел, вышел на орбиту! Все, значит, хорошо.

Мальчуган тут же забывал про своего корреспондента, подскакивал, не помня себя от счастья, и неся со всеми к школе. Что там параллельные миры, когда с папой все хорошо.

А последним предложением было:

«Заканчивался теплый сентябрь тысяча девятьсот семьдесят восьмого года».

Альтернативная история, значит, я и не родился еще.

И меня аж проняло. Дочитал, положил журнал на стол, сижу, молчу.

В картине весь песок ссыпался – получилась долина с холмами, спрятанная в горах. И так все правдоподобно выглядит – точно фото.

Посидел я, почесал затылок. Проняло – а чем именно, понять не могу. И такая мне в этом рассказе почудилась тоска – прямо душу наизнанку. Встал я, прошелся из угла в угол, сел на подоконник.

По небу носились черными крючками птицы. Вдали, в поле, маячили несколько фигурок – я все надеялся, что это дети, и сейчас заколешется на неразличимой отсюда нитке воздушный змей, но фигурки помаячили-помаячили и исчезли. Совсем рядом раздался стук – в соседней аудитории открыли окно.

В семьдесят восьмом здесь был аэропорт. Отсюда крылатые машины взмывали в объятия вот этого, синего, неба. Они чертили на этом небе ровные белые линии. Небо становилось похожим на альбомный лист, по которому прошли с линейкой.

Я все думал про рассказ. Мне казалось, что я понял что-то очень важное – но не мог определить, что именно. Не покидало ощущение, будто я заглянул в глубокий колодец.

Я слез с подоконника, опустился в кресло и хотел прочесть еще что-нибудь из журнала – вдруг здесь все так прошибает? – но прозвенел звонок, сразу за ним зазвенели ключи – и в центр влета Наташка.

Увидев меня, она взвизгнула.

– Ты как здесь оказался? – закричала она.

Я пожал плечами:

– А я и не уходил.

Рассказ из журнала поселил в моей душе недоумение. Я несколько раз порывался заговорить о нем с Павлом Александровичем, уже открывал рот, но – не знал, что сказать.

Однажды – во время дежурства, когда закадыка вышел за кофе, – я не выдержал и брякнул:

– Павел Александрович, а я ваш рассказ прочел.

Он выглянул из-за монитора.

– Какой?

– Из журнала.

– И что скажешь?

– Очень интересно.

Он усмехнулся. Наверное, глупее комплимента я не мог выдумать: «очень интересно», подумать только.

Я решил исправить ситуацию, но только все усугубил. Я сказал:

– Мне очень понравилось.

– Здорово, – ответил равнодушно Павел Александрович.

Я замолчал – и молчал до возвращения закадыки.

Весна заканчивалась, стояла жара, факультет был окутан дурманящим облаком – поле цвело и дышало.

На горизонте возвышалась грозным обелиском сессия.

Когда обелиск бросил на нас свою черную тень, мы перестали дежурить в центре – центр правовой помощи закрывался на лето. А ведь я мог похвастаться кое-какими успехами: ко мне зачастило некое ООО, которое хлебом не корми – дай поменять адрес, наименование, размер уставного капитала и так далее. Я набрался практики – и вскоре все эти бесконечные изменения щелкал как орехи. Закадыка даже стал завидовать.

Время от времени мне приплачивали – и я все по-честному складывал в кассу.

Но сессия несла на факультет хаос – спокойному, понятному ритму студенческой жизни наступал конец.

Теперь в центр мы заходили опрокинуть чашку-другую кофе, отдышаться и пожаловаться. Теперь это был центр психологической поддержки – не очень эффективной, надо сказать. Старички уверяли, что дальше будет только хуже, а новички, которых Павел Александрович привел пару месяцев назад, молчали и только строчили в тетрадях трясущимися руками.

Даже поле утонуло в тени обелиска – и я уже не видел ни детей, пускающих змея, ни экзальтированных машин с треугольниками на крыше, а о передвижном трапе и говорить нечего.

Но я легко отделался – закрылся четверками. Это был отличный результат.

После заключительного экзамена – какого-то пустяка – вся наша группа до ночи гудела в местном кабаке. Изю всех окон кабака было видно факультет. Казалось, он за нами наблюдает.

Еще и окна были – круглые, точно иллюминаторы.

Выходили с закадыкой на улицу – подышать. Уселись на бордюры, закадыка и говорит:

– Два года осталось.

– Ага.

– Бросать уже поздно.

Мне это показалось очень смешным, я рассмеялся. Закадыка – тоже.

– Ты – мой друг, – сказал он.

– А ты – мой закадыка.

– Кто?

– Закадыка.

– Нет такого слова.

Я фыркнул.

– Ага, как же. А «закадычный»?

Он почесал подбородок.

– Закадычный – есть.

– И закадыка есть.

Он пожал плечами, у него глаза были в кучу.

– Закадычный – это который за кадыком?

– Ага.

Я сам был хорош, все вокруг плавно качалось, как на волнах.

Посидели молча.

– А я ведь хотел на иностранный идти, – сказал закадыка.

Я не сдержался и прыснул.

– Ну тебя, – закадыка, охая, встал. – Пойдем.

Я уцепился за его руку и поднялся.

В конце улицы таял в сумерках факультет. Несколько окон на втором этаже горели.

Мы помахали факультету рукой и скрылись в кабаке.

Я все лелеял надежду погулять в центре – но Павел Александрович, приняв последние экзамены, укатил к себе, в Казахстан. А без него – понятно – никто собираться не хотел.

Павел Александрович звонил нам из поезда и давал распоряжения – у кого остаются ключи, что надо отнести в деканат, и всякое такое. Я попросил у Наташки трубку и сказал:

– Павел Александрович.

– Да?

– Можно взять «Город джаза» на лето?

– А он в центре?

– Да.

– А бери.

– Спасибо.

Так сборник фантастических рассказов «Город джаза», который я все никак не мог дочитать, оказался у меня.

Но взялся я за него только в августе – и как взялся!

В августе родители – вопреки всем моим грандиозным планам – поволокли меня в Турцию. Я даже поскандалил немного, мне эта Турция даром не нужна была.

Уже и сумки собрали, уже сели на дорожку – и в самых дверях я хлопнул себя по лбу. Не разуваясь, добежал до своей комнаты, выудил книгу из шкафа, сунул в рюкзак.

И «Город джаза» полетел со мною в Турцию. В ручной клади.

Вылетали с нового аэропорта – в нескольких километрах от города. Аэропорт был аскетичный, компактный, персонал – сонный и доброжелательный.

Когда взлетали, у меня жутко заложило уши. Стюардесса разносила по салону леденцы, я набил ими рот – без толку.

Набрали высоту, и я смог разглядеть в центре города наше поле – и даже белую козьявку факультета. На поле со всех сторон наступали дома, а оно было такое ровненькое, овальное, беззащитное.

Когда уши прошли, меня сморило.

В первый же день я обгорел – красный как рак, к плечам не притронуться. Всю следующую неделю я мог выходить к морю либо ранним утром, либо поздним вечером. Днем я шатался по отелю, просиживал штаны в лобби и спал в номере.

Номер у нас был отличный – целая квартира.

Вставать рано я не любил. С трудом вытаскивал себя из постели к концу завтрака. Брел до ресторана, сгребал все, до чего мог дотянуться – из того, что осталось – долго клевал носом над тарелкой.

И я повсюду носил с собой «Город джаза» – хотя читал очень медленно.

По ресторану летали, как оголтелые, воробьи. А я и не знал, что они тут водятся. Стоило от-вернуться от столика, его тут же атаковал целый отряд. Ташили с тарелок, внаглую. Никто на них и внимания не обращал. Даже весело.

А лобби – прямо над рестораном, вроде широкого такого балкона. Ну, и там тоже воробьи.

Я в лобби примелькался, стал своим. Приду – все со мной здороваются.

Я даже закладку из книги убрал, чтоб никто не видел, как медленно я читаю – пришлось номера страниц запоминать.

А вечером – вот уж, правда, красота. Море теплое, солнце мягкое. Хочешь – купайся, хочешь – сиди на берегу, хочешь – пьянствуй в баре, если родителей рядом нет.

Я в Турции уже был однажды – лет в тринадцать. Но тогда мне, понятно, бары были мимо кассы. А тут я просто ошалел – при первой возможности старался влить в себя все, что только видел. Сам удивлялся.

Так что вечером, искупавшись, я принимался строить из себя романтика – брал какое-нибудь пойло, садился за столик, выкладывал перед собой «Город джаза» и с задумчивым видом смотрел вдаль.

Закаты были сказочные. Я у нас таких закатов не видел.

В установленное время я нетвердой походкой шел в ресторан, находил родителей, и мы ужинали. Я старался меньше говорить, сидел с прямой спиной, смотрел загадочно – и, кажется, они ничего не замечали. После ужина родители шли на какое-нибудь представление, а для меня это – скука смертная, вроде адвокатуры. Я один раз только поддался и сел со всеми смотреть народные танцы. Вытерпел двадцать минут, извинился и сбежал.

Темнело красиво, но очень уж быстро. Ночи были душные, бархатные. Я слонялся от бара к бару, сидел на пляже и время от времени наведывался на дискотеку.

Дискотека была обычная, не хуже и не лучше любой другой. Проводилась в каком-то подвале, прямо в отеле. Светомузыка, грохот – все как надо. Я приходил, брал себе выпить и с важным видом восседал за барной стойкой.

И всех интересовал «Город джаза». Турки, наверное, думали, что я какой-нибудь кандидат наук – очков не хватает. И при первой возможности спрашивали на ломаном русском:

– Че за книга?

Или по-английски:

– What is it?

– Stories, – отвечал я. – Рассказы.

И просил еще пива.

Турки одобрительно кивали. А тот, что стоял за баром на дискотеке, полез с допросом:

– Достоевский?

– No.

– Чехов?

– No.

– Тургенев?

– No.

И я назвал фамилию Павла Александровича. Турок пожал плечами.

– Моя мама, – сказал он, – очень любит русскую литературу.

Я почувствовал себя частью великой культуры, попросил передать низкий поклон его маме и попросил еще пива.

В номер я пробирался далеко за полночь, просачивался к себе, но еще долго не мог уснуть – сидел на балконе и цедил ледяную газировку из мини-бара. Звездная турецкая ночь кружилась перед глазами, все плыло, море сливалось с небом, я всякий раз проклинал свою неумеренность и зарекался пить. С балкона открывался чудесный вид, было видно противоположный берег залива, оттуда моргали огнями отели – такие же, как наш.

Почти каждую ночь на той стороне устраивали иллюминацию – и в ночное небо тянулись тонкие разноцветные лучи.

Когда звездная турецкая ночь замедляла свое вращение, я брал «Город джаза», читал пару страниц и шел спать.

Рассказы были неплохие, даже увлекательные, но – было ли тому виной мое злоупотребление спиртным или же так действовала теплая безмятежная обстановка – ни одна из историй не могла впечатлить меня так, как это удалось сделать прочитанной в журнале. Время от времени в рассказе мелькало что-то знакомое, и мне снова казалось, что я заглядываю в глубокий колодец, – но оно тут же расплывалось и исчезало. Я возвращался, перечитывал абзац – ничего.

А за пару дней до отъезда произошло удивительное событие.

Я сидел в лобби, потягивал чай из махонькой стеклянной чашечки и читал – настолько медленно, насколько мог. Я брел взглядом по строке так, как бредут студенты к первой паре, добредал до ее обрыва и, охая, переползал на следующую. Со стороны могло показаться, что я сплю с открытыми глазами. Я и впрямь почти спал – потому что вернулся в номер перед самым рассветом.

Вдобавок ко всему в лобби мурлыкала тихая однообразная мелодия – кого хочешь в сон клонить начнет.

Даже воробьи перелетали с места на место лениво, с неохотой. Один приземлился на спинку кресла, придвинутого к тому же столику, за которым сидел и я.

Воробей приземлился, повертел головой, уставился на меня. Воробей был маленький и какой-то приплюснутый с боков; они тут все тощие – от жары, наверное.

Мы с воробьем стали играть в гляделки. Он смотрел на меня, я – на него. Никто не хотел уступать.

У меня глаза заслезились так долго не моргать. Меня спас старик, который битых полчаса косился на меня из-за соседнего столика. Он тоже пил чай, и пока я читал, он раз двадцать ко мне поворачивался.

Теперь, когда я уже был готов пихнуть ногой кресло, на котором сидел воробей – чтобы победа досталась мне – старик меня окликнул, и я получил возможность выйти из игры без репутационных потерь.

– Простите, молодой человек, – сказал старик.

Я посмотрел на него. Невысокий, в голубой рубашечке, бриджах и панаме. Аккуратная белая борода, добродушная улыбка.

– Простите, что отвлекаю, – сказал он, растягивая слова. – Можно взглянуть на вашу книгу?

«Город джаза» снова был в центре внимания. Я пожал плечами и протянул его старику.

Старик вынул из нагрудного кармана очки, водрузил их на переносицу и поднес книгу к глазам.

Его лицо расплылось в улыбке.

– Надо же!

Он посмотрел на меня.

– Это же...

И он назвал фамилию Павла Александровича.

– Я не знал, что его рассказы можно купить.

Я встряхнул головой, пытаюсь понять, что происходит.

– Я читал его рассказ, – он назвал тот самый журнал. – И был очень впечатлен.

Я полагал, что литературные журналы чуть более популярны журналов юридических, и уж никак не ожидал встретить еще одного кого-нибудь из читавших тот номер – кроме разве что самого Павла Александровича.

Да еще в этих краях!

Поэтому – и из-за моего состояния – я въезжал в беседу со скрипом. Старик, наверное, решил, что я туговат.

– Ээээ... – промычал я.

Я совсем не знал, что говорить в таких случаях. А старик смотрел на меня, улыбался и как будто ждал ответа.

Я потер лицо ладонью и нашелся:

– Да, рассказ отличный.

Старик штудировал оглавление.

– Только здесь его нет, – протянул он озадаченно.

– Нет, – подтвердил я.

Старик закрыл книгу и еще раз всмотрелся в обложку.

– Город джаза. Какое красивое название.

– Красивое.

Он снова стал листать.

– По приезде обязательно приобрету.

Тут-то я спохватился:

– Нет-нет, ее нельзя купить.

Старик сделал удивленное лицо.

– Ну, то есть... – я собрался с мыслями. – Это наш преподаватель, мы ему ее как бы подарили. Напечатали тираж.

Белые стариковские брови взлетели на середину лба.

– Вот как?

Я пожал плечами.

– Это же просто восхитительно!

Я даже вздрогнул – так громко он воскликнул.

– Преподаватель! А где вы учитесь?

Я ответил.

Старик всплеснул руками.

– Юридический факультет! Стало быть... Стало быть, сей замечательный автор – юрист?

– Юрист.

Старик снова открыл книгу и листал ее, качая головой.

– Чудеса, – бормотал он себе под нос. – Самые настоящие чудеса.

Он посмотрел на меня.

– Знаете, – сказал он, – а ведь его рассказ – лучшее, что я читал в этом журнале за последние лет, наверное, пять.

Так вот кто читает эти журналы.

– Ничего себе, – крикнул я.

– Да-да, – старик вздохнул и поерзал на стуле.

Так ерзают перед тем, как завести речь. И я не ошибся. Старик заговорил, растягивая слова и выдерживая театральные паузы:

– Да-да. Я очень люблю этот журнал. Жанр, – он постучал пальцем по обложке, – сегодня не в почете, переживает трудные времена. Но издание – достойное, ратуют за идею, держат, если хотите, какие-никакие принципы, и стараются публиковать действительно серьезные вещи. И ваш... кхм... преподаватель... – он снова всплеснул руками – подумать только – преподаватель на юридическом факультете... Что вы, это же настоящее открытие! Я даже в редакцию писал – отзвываясь, благодарность.

Я благодарно кивал – как будто хвалили меня.

– И тут такая встреча. И где! В этом, – он обвел рукой лобби, – уголке. Я искал книги вашего преподавателя в магазинах, но о нем никто не знает – и тут такая встреча. Удивительно, просто удивительно.

Он говорил с воодушевлением и даже торжественно, и смотрел при этом мне за спину.

– Его рассказ... Это же просто шедевр! Без преувеличения – шедевр! Маленький, но шедевр! Чувствуется... такая искра, такое пламя.

Он вдруг понизил голос и посмотрел на меня.

– Поверьте мне, юноша. Поверьте. Я знаю, о чем говорю. Это... Вы, наверное, даже не понимаете, что это... Это...

И он потряс руками.

Потом он вздохнул и откинулся в кресле.

По лобби плыла волна за волной тихая музыка, от ресторана тянулись запахи еды, перепрыгивали со столика на столик воробы. Турок за стойкой, казалось, дремал.

Старик долго молчал, положив книгу себе на грудь и сцепив над ней пальцы. Молчал и смотрел куда-то вверх. Потом встряхнул головой, перевел взгляд на меня, прищурился и прошептал доверительно:

– А ведь я был знаком с самим Воннегутом.

Я знать не знал, кто такой этот Воннегут.

– Однажды я даже был у него в гостях.

Я сделал удивленное лицо.

– Да-да.

Он кивнул – да, дескать, вот так – и замолчал. И молчал долго, я чуть не уснул.

– Понимаете, – сказал он, наконец, – фантастика – это нечто куда большее, чем просто... – он пренебрежительно взмахнул рукой, – фантазии.

Я кивнул.

– И больно смотреть на то, во что фантастика превращается сегодня.

Я снова кивнул. Хотя боли, признаться, не испытывал.

– Даже не превращается. Превратилась, – он горестно вздохнул, но тут же оживился и засиял улыбкой. – Я не только Воннегута знал, нет-нет. Я много с кем имел общение. С Лемом, например. И с Игорем Можейко.

Я только руками развел.

– Да-да, – заверил он и вернулся к серьезному тону. – Так вот. В каждом жанре есть тексты, оправдывающие... существование этого жанра. Сердцевина, если хотите. Ядро.

Он сделал движение руками, как будто ловил баскетбольный мяч.

– Фантастика призвана... Фантастике дано... – он никак не мог подобрать нужное слово и зашелкал пальцами. – Фантастика может дать читателю так много! Вы читали Беляева?

– Нет.

– Обязательно почитайте!

– Хорошо.

– Запишите, а то забудете.

– Спасибо, я запомню.

– Нет-нет, забудете.

Он схватил со столика салфетку и окликнул дремлющего турка.

Турок встрепенулся и подскочил к нам.

– Извините, – сказал старик, – нельзя ли попросить у вас ручку?

Турок ушел, вернулся и протянул старику ручку.

– Премного благодарен.

Турок зевнул и спрятался за стойку.

Старик развернул салфетку и принялся писать.

– Возьмите. Надеюсь, почерк разборчивый.

На салфетке значились три фамилии. В одной я угадал Беляева, две других разобрать было невозможно – почерк был ужаснейший.

Я кивнул и спрятал салфетку в карман.

– Обязательно прочтите этих авторов, – сказал старик. – Перед вами откроется целый мир.

– Хорошо.

Немного помолчали. Старик снова стал листать книгу.

– Да-да, – бормотал он, – очень интересно, очень.

Он поднял глаза.

– Это большая тайна, – сказал он, понизив голос,

И замолчал. Он молчал и смотрел на меня. Мне даже как-то неуютно стало. Он молчал, молчал, а потом повторил:

– Это большая тайна. Тайна искусства. Разные люди. В разных местах. В разных эпохах, – он делал между предложениями многозначительные паузы. – Вдруг говорят об одном и том же.

Следующая пауза показалась мне вечностью. Старик разволновался, был перевозбужден, и меня тяготил наш разговор.

От окон на пол ложились широкие диагональные полосы света.

– Знаете ли вы, что я услышал в рассказе вашего друга?

Друга. Он назвал Павла Александровича моим другом. Я с трудом сдержал улыбку.

– Что?

Он задрал подбородок.

– Голос поколения.

Пауза.

– А может быть, и не одного.

Он вдруг засуетился.

– Мне просто необходимо написать вашему другу. Дайте, пожалуйста, его адрес.

Я растерялся.

– У меня нет его адреса.

Старик посмотрел с горечью.

– Тогда дайте свой. Я пришлю письмо вам, а вы передадите его по назначению.

Я замялся.

– Давайте я вам продиктую адрес факультета, Павлу Александровичу обязательно передадут.

– Прекрасная идея! – воскликнул старик вместо того, чтобы обидеться.

Он схватил еще одну салфетку, и я назвал ему адрес, который сотни раз указывал при заполнении писем от центра правовой помощи.

– Замечательно! – с его лица не сходила улыбка.

Я привстал и потянулся за книгой.

– Извините, мне надо идти.

Старик сперва растерянно кивнул, а потом сделал умоляющее лицо.

– Еще одна просьба! – воскликнул он. – Оставьте мне книгу до завтра. Завтра утром мы улетим, я вам ее верну.

И вот тут я не сомневался ни секунды. Я знал, что Павел Александрович одобрит мое решение.

– Да, конечно, – сказал я. – Во сколько вы уезжаете?

Старик просиял.

– В семь.

Я представил, что мне надо будет встать в такую рань, и у меня все внутренности скрутило.

– В семь... – повторил я вслух.

Я оглянулся по сторонам.

– Оставьте на стойке, пожалуйста, – и я показал на дремлющего турка. – Мне ранние подъемы даются тяжело.

Старик хлопнул в ладоши.

– Отлично! Так и сделаем!

И он прямо-таки выпорхнул из кресла.

– Позвольте откланяться, не терпится приступить, – он постучал пальцем по обложке. – А ведь еще и искупаться надо сегодня. Напоследок.

И он рассмеялся.

Я кивал на каждую его реплику, а потом с трудом встал, и мы обменялись рукопожатиями.

– Удивительная встреча! – причитал он, трясая мою руку. – Просто удивительная.

– Да.

– Просто удивительная.

Он отпустил меня, кивнул и засеменил к лестнице.

Я потер лицо ладонями, взъерошил волосы и отправился за чаем. Солнце уже не пекло, можно было собираться на пляж.

А утром произошло вот что.

После завтрака я, еле передвигая ноги, добрался до лобби. Турок за стойкой увидел меня издалека, просиял, подскочил и замахап так, словно мы с ним лучшие друзья. А когда я подошел, протянул мне письмо. Обыкновенный белый лист, сложенный вдвое и с обеих сторон исписанный знакомыми мне каракулями. Книги не было.

Ушлый старик заграбастал себе «Город джаза»!

У меня даже дыхание перехватило от возмущения. Я попытался разобрать хоть что-то из написанного, не отходя от стойки, а турок все это время смотрел на меня и чему-то очень радовался. С большими усилиями я смог прочесть приветствие. «Доброе утро!» – писал старик.

Голова тихо и равномерно гудела, неделя ночных приключений что-то сбила в настройках моего мировосприятия, и я на все смотрел как будто сквозь толстое мутное стекло.

Турок предложил чаю. Я кивнул, подождал, пока он поставит передо мной стеклянную чашечку и, обжигая пальцы, транспортировал себя к ближайшему столику.

В лобби все было как всегда – текла ручейком спокойная музыка, скользили по стенам потоки золотого света. Сновали туда-сюда воробы.

Я опустился в кресло, выставил на середину столика огнедышащую чашечку и устался на каракули.

Один Бог знает, каких трудов мне стоило расшифровать послание старика. Я выпил пять чашек чаю, дважды выходил подышать, но прочел-таки почти все. Графологическая экспертиза признала бы в старике инопланетянина, не меньше.

Старик рассыпался в извинениях, но, однако, писал, что «не мог, просто не мог поступить иначе, никоим образом не мог». Писал, что такие встречи «удивительны и невообразимы и случаются раз в столетие» и что он «не смог бы себе простить возврат книги недочитанной». А он прочел только половину, а еще половина осталась, и в этой половине еще, наверняка, сокрыто много тайн и открытий, хотя, казалось бы, ну куда уж больше – потому что и первая половина представляет из себя нечто «первоклассное». Он так и написал – «первоклассное». «Сквозь все тексты, – писал он, – тянутся тонкие серебряные нити – те самые, которые после сходятся и переплетаются в рассказе из журнала. Распутывать эти нити для человека, знающего толк в фантастике, – сущее наслаждение. Это линии жизни, по которым я, опытный хиромант, разгадываю будущее жанра...» И далее – все в таком духе, у меня даже в глазах зареяло. Через каждые два предложения старик принимался извиняться и писал, что «автор – поймет, непременно, всенепременно поймет; и не осудит». В конце концов, я успокоился, потому что хоть и был зол на хитрого старикашку, знал, что Павла Александровича такое развитие событий не только не расстроит, но, быть может, и повеселит.

В конце письма говорилось, что книга «будет отправлена по адресу факультета вкупе с самой наиподробнее́ей рецензией и письмом, адресованном дорогому автору». Я представил себе наиподробнее́ю рецензию, написанную таким почерком, и мне стало дурно.

Делать было нечего. Я попросил у турка ручку, нарисовал на полях письма несколько самоликтов, допил чай и пошел в номер – спать. Спина и плечи были в какой-то бахроме – слезала белой пленкой обгоревшая кожа. Перед тем как завалиться в кровать, я почти полчаса сидел перед зеркалом и, извернувшись, ее отколупывал. А когда, наконец, улегся, то долго не мог уснуть, ворочался, кутался в одеяло. В конце концов плюнул – встал и пошел слоняться по отелю.

Мы улетали следующим вечером, и оставшиеся полтора дня я ходил как голый – до того мне не хватало «Города джаза». Меня даже узнавать, кажется, перестали – и уж точно смотрели не так уважительно, как раньше. Дважды или трижды я, не глядя, шарил ладонью по столу в поисках книги. А ночью, когда я притаился на дискотеку и уселся перед барменом, чья мать любит русскую литературу, он посмотрел на меня так, словно у меня вместо носа хобот – или что-то в этом роде.

О, та ночь заслуживает отдельного разговора.

Бармен молча смотрел на хобот, пока я пил первый бокал, а потом спросил:

– Где твоя книга?

Он прекрасно говорил по-русски, но обязательно выбирал одно или два слова в предложении и коверкал их.

Я развел руками.

– Потерял?

– No.

- Дочитал и оставил в номере?
- No.

Я влил в себя еще порцию, и меня понесло. Я осадил бармена и принялся рассказывать ему про хитрого старика, про Павла Александровича, про факультет и про то, что на пятом курсе нас ждет тиран, которого хлебом не корми – дай отчислить дюжину-другую студентов.

Бармен внимательно меня слушал, кивал и время от времени пытался хвастнуть тем, что у его матери дома целая библиотека русской литературы. На этих словах я лез к нему через стойку с объятиями.

А потом у меня в голове что-то щелкнуло, и я – впервые за все эти дни – решил присоединиться к танцующим.

Что это было! О, это было нечто! Я почти ничего не помню, но это было нечто. Я даже вспомнил, что когда-то, в младших классах, занимался русскими народными танцами – и... Нет, этого нельзя описать, это надо видеть!

И конечно, в танце, когда душа нараспашку, я в какой-то момент почувствовал себя влюбленным. Объектом романтических переживаний стала темноволосая барышня в платье с красными маками. Меня эти маки прямо поразили – такие они были пестрые. Я плясал так, что сердце растаяло бы даже у айсберга – не то что у барышни с красными маками – я клял современные дискотеки за дефицит медленных композиций, и когда заиграло что-то мало-мальски спокойное, я тут же бросился к ней с мольбой о танце.

Она была с подружками – они постоянно хихикали, толпились вокруг столика и тянули разноцветные коктейли. Барышня с маками сперва замялась, но потом прочла в моем взгляде самурайскую решимость и протянула руку, увешанную браслетами. Подружки захихикали громче и стали подпихивать ее в спину.

Что это был за танец! У меня все плыло перед глазами, все эти прожектора и огни, я косился на красный мак на ее плече, а каштановые кудри щекотали мне щеку – и пахло от них просто ошеломительно, какими-то цветочными духами. Я вспомнил, что как-то так пахнет наше поле, за факкультетом, весной – и уже было открыл рот, чтобы поделиться открытием, но вовремя одумался.

Оказалось, что она ни слова не понимает по-русски, а сама – представьте себе – из Израиля. И английский у нее был не то чтобы образцовый – я выражал свои мысли куда свободней, хотя был в стельку пьян.

Ума не приложу как – но мне удалось заинтересовать ее своими рассказами про Россию, хотя я, насколько помню, нес какую-то сплошную ахинею и то и дело вспоминал то Павла Александровича, то хитрого старика. Не удивлюсь, если в итоге она решила, что я работаю в аэропорту – или что-то такое.

Когда танец закончился и клуб снова загредел отвратительным и бесконечным «бум-бум», я буквально за руку оттащил барышню с маками к стойке и попросил у моего друга-турка «два самых романтических коктейля». Потом были еще два, потом я взял себе еще что-то – а она еще и половину второго не осилила – и я понял, что превзошел сам себя этой ночью, что я их, наверное, обанкротил в плане выпивки.

Барышня с маками сперва была весела и говорлива – и беседа пошла как по маслу – но потом она стала вдруг как-то в один момент жутко рассеянной, отвечала невпопад и явно скучала. То и дело она вертела головой и искала подруг, но подруги, к счастью, разбежались кто куда. Я понял, что еще немного – и она оставит меня куковать в одиночестве. Поэтому я наплел ей что-то про звездное небо и упротил выйти на воздух.

На воздухе мне стало лучше, горизонт заваливался градусов на десять, не больше. Барышня с маками и сама приободрилась – даже сказала, что покинуть клуб было отличной идеей. И что можно прогуляться немного, а после она пойдет спать, потому что уже поздно и все подружки разошлись, а утром они едут на экскурсию на какой-то базар.

Мы прошли мимо бассейнов. За ними, перед самым пляжем, между толстыми стволами пальм были натянуты гамаки. Ночь и вправду выдалась звездной, но звезды казались мелкими и

тусклыми. Над морем лениво катился кружок луны. Барышня с маками присела на один гамак – в самый его центр, давая понять, что места хватит только для одного, – я грациозно повалился на соседний.

Густой теплый ветер шевелил пальмовые листья над моей головой, я что-то рассказывал про факультет и при этом старался сохранять неподвижность – как только гамак начинал качаться, меня мучило.

Барышня рассказала о себе, о том, какие книги любит, на кого учится – и все в этом роде. Больше всего меня поразила новость о том, что после университета ее ждет срочная служба в израильской армии.

Я поудивлялся, а потом вернулся к рассказам о России – и стал выпытывать, кто из русских писателей ее особенно впечатляет. Она подумала и назвала Чехова – а я у Чехова читал три-четыре рассказа в школьной программе. Потом она завела речь о своих подругах – о том, что они с самого детства вместе, но у одной из них – с невыговариваемым именем – жених из США, и ей скоро придется уехать, и они из-за этого чуть не рыдают днями напролет – и так далее и тому подобное.

А потом она совсем заскучала, и беседа иссякла. Я к тому времени мечтал сползти с гамака и распластаться на твердой земле – потому что гамак все норовил качать меня, как дитя в люльке, – но не представлял, как это повернуть, не опростоволосившись. Пальмы перед глазами кружились и танцевали. Я отвечал односложно и думал только о том, чтобы не потерять равновесие. Чтобы хоть как-то урезонить гамак, я свесил одну ногу вниз и с такой силой уперся пяткой в газон, словно от этого зависела моя жизнь.

Наконец – восхитительный миг! – барышня в маках встала и, тербя браслеты на запястье, сообщила, что ей пора.

Я изобразил на лице огорчение, медленно кивнул и поблагодарил ее за чудесный вечер.

Она сказала, что впервые общалась с русским человеком так близко, и теперь мнение о России у нее самое положительное. Потом она помахала рукой, улыбнулась дружелюбно и упорхнула.

Как только она скрылась из виду, я вложил всю свою решимость в пятку, упиравшуюся в газон, ухватился за край гамака и вывалил себя из него. Мне было очень дурно, во рту пересохло, ноги не слушались. К великому счастью, совсем неподалеку, в нескольких метрах, качался, как на палубе корабля, ближайший лежак – вместе с ним качался пляж. Я, готовый в любой момент завалиться навзничь, добрал до него и улегся на бок, поджав под себя ноги.

Минут, наверное, сорок я лежал неподвижно, с открытыми глазами – едва я их закрывал, мне становилось не по себе. Я лежал и смотрел на качающийся пляж. Кромку пляжа лизало море, и было непонятно, как это оно не выливается совсем при такой амплитуде, за пляжем был пирс, за ним еще пляж, за ним еще пирс – и так далее, пока берег не начинал закругляться и уплывать вбок, а там горели разноцветными огнями отели, и от них летело эхо музыки.

Я стал вслушиваться, пытаюсь разобрать мелодию, все мое внимание сосредоточилось на этом занятии, мне стало легче, потом еще легче, потом еще, а потом я уснул.

И вот что мне приснилось.

Мне приснилось, что я прохожу по темному узкому коридору, заставленному мебелью, толкаю дверь и оказываюсь на крыльце. Я совсем еще ребенок, не старше пяти или шести лет. Я беру за перильце и спускаюсь с крыльца. Пересекаю площадку перед домом и подбираюсь к калитке. Забор тянется частоколом в обе стороны. Я откидываю крючок, и калитка открывается. Передо мной расстилается невообразимо широкое поле, ему не видно конца, конец ему – ниточка горизонта, но и она так далеко, что глазам больно. Ни деревца, ни кустика – голое поле, покрытое сухой травой. А над полем...

Над полем раскинулось небо – оно еще огромней, еще шире, еще невообразимей.

И оно буквально кишит летальными аппаратами – всех видов и величин. Медленно тянутся хвостами вперед гигантские лайнеры, плывут, вращаясь, спутники и орбитальные станции, дирижабли и воздушные шары – и странные конструкции, похожие на выгнутые металлические

решетки. Все залито холодным светом, мерцают серебряные бока и изгибы. Аппаратов так много, что не видно ни звезд, ни луны, одни аппараты выше, другие ниже, они движутся беспрестанно и медленно – и совершенно беззвучно. И они не сталкиваются друг с другом, повинувшись какому-то сложнейшему сплетению линий и траекторий. Я стою, запрокинув голову и распахнув глаза, а они все плывут надо мной и сверкают в свете луны, которой не видно.

Налетает ветер, треплет на мне рубашку, выворачивает калитку так, что она со стуком бьется о забор, прижимает к земле сухую траву – но наверху все по-прежнему движется медленно и беззвучно.

Я проснулся на рассвете – от холода. Море тихо шелестело прибоем. По дорожке вдоль пляжа шел турок в униформе и длинной палкой тормозил аккуратно подстриженные кустики.

Меня потряхивало, зубы стучали. Я кое-как встал и заковылял к отелю. Когда я поравнялся с турком, он поздоровался и спросил по-английски:

– Where is your book?

Я развел руками.

Я его впервые видел.

После обеда мы покинули отель, а вечером я спал, уткнувшись бровью в ледяное ребро иллюминатора.

А с сентября в центр повалило столько клиентов, что мы за голову схватились – и это при том, что значительная часть старичков благополучно защитила дипломы и упорхнула. Павел Александрович выбил нам еще часы в расписании, и теперь мы были самые заправские на факультете юристы – ходили по судам, знали наизусть телефоны антимонопольной службы, и налоговой, панибратствовали с нотариусами и так далее.

Павел Александрович за лето привел в порядок свои записи и издал сборник статей по авторскому праву. Казалось, что авторское право – какой-то мистический предмет, о котором можно было писать вечно. Зубрила в этот сборник вцепилась как клещ – только что домой не уволокла.

А как я объяснял пропажу «Города джаза» – вот умора была. У меня не хватило ума выцепить Павла Александровича тет-а-тет, где-нибудь в коридоре или у буфета – вот он и спросил меня при закадыке и Наташке:

– Ну а что же сборник? Прочел? Тут его замдекана просит.

Я залепетал что-то, прерываясь на хихиканье, но пришлось взять себя в руки и выложить все как есть. Только письма у меня при себе не было – и я не мог предъявить никаких доказательств. Когда вышли с закадыкой в столовую, он ткнул меня в бок и спросил ехидно:

– Посеял, да?

– Да, – сказал я ему. – Посеял. Скоро пожну.

– Геро-ой, – протянул закадыка и фыркнул.

Но на следующий день я принес в центр письмо – и торжественно прочел вслух перед всеми. Окончив, я раскланялся, и Наташка зааплодировала.

А потом спросила:

– Долго сочинял?

Но Павел Александрович, кажется, поверил.

Из «Города джаза» я – по вине старика – не успел дочитать всего один рассказ. Про фотографа, который ходит на озеро и зачем-то его постоянно фотографирует; а зачем – сказать не может. Тянет его, мол, влечет.

Я прочел буквально полторы страницы – и старик этот.

Поле за окном желтело и высыхало, в конце сентября зарядили дожди, и всеобщие надежды на бабье лето покатались под откос. На том краю поля за лето вырос дом этажей в девять, он теперь все время смотрел на факультет, как будто думал о чем-то. Его было видно изо всех ауди-

торий, выходивших на поле, рядом с ним крутился на одной ноге подъемный кран, и в открытое окно центра время от времени долетало эхо стройки.

На Павла Александровича свалилось много работы – ему добавили предмет, он стал совсем нервный, осунулся, круги под глазами потемнели. Теперь он часто оставался в центре позже всех и уходил последним – неизвестно во сколько.

Однажды мы с закадыкой катались по полю на отцовском «опеле» – кажется, в середине октября. Было уже темно, вечер – а в центре свет горит. Только не видно, кто там – жалюзи мешают.

Мы оставили машину у ангара, подкрались к окну, но сколько ни пытались – ничего не увидели.

А в ноябре Павел Александрович зашел в центр в наше дежурство – мы строчили письмо в управление потребительского рынка – оглядел центр, словно выискивая кого-то, остановился взглядом на нас – кроме нас и не было никого – посмотрел с прищуром и сказал:

– В Москву поедете?

Мы ахнули.

– Форум по арбитражу, – пояснил Павел Александрович. – Посидите с умным лицом.

– Вдвоем?

– Смешная шутка. Со мной, конечно.

Мы, разумеется, согласились. Это была большая честь. Зубрила чуть с ума не сошла от зависти.

Наташка сказала:

– Не обольщайтесь.

Мы и не обольщались. Мы экипировались солидного вида портфелями, встретились с Павлом Александровичем без четверти полночь, а без пяти – влезли в купе, оплаченное факультетом. В моем портфеле кроме бумаг и блокнота лежала пара запасных носков, а у закадыки портфель был объемней, и туда мы сгрузили две бутылки пива.

Кроме нас в купе ехал какой-то взъерошенный парень. Он зашел последним, поздоровался и юркнул на верхнюю полку.

Мы уселись за столик: я и закадыка по одну сторону, Павел Александрович – по другую.

Уселись и стали смотреть в окно. Перрон был покрыт тонким слоем инея и серебрился в свете фонарей. Прямо под нашим окном ежилась и притоптывала на месте проводница. Мимо пронесся, придерживая прыгающие на переносице очки, долговязый мужик в ушанке.

Небо было черное, силуэты домов были черные, деревья за путями были черные – все вокруг было черным, кроме серебряного перрона и нашего купе – теплого, светлого и пахнущего поездом.

Наконец, купе качнулось и поплыло влево.

– В прошлом году в это время уже снег сыпал, – сказал закадыка задумчиво.

– Ага, – подтвердил я.

Павел Александрович сидел, положив локти на стол, смотрел в окно и, по-видимому, не собиравшись поддерживать разговор о погоде. На нас с закадыкой молчание действовало угнетающе.

– Что ж, Павел Александрович, – спросил я, – что-то новое публиковали?

– Нет.

– А писали?

Он зевнул, прикрыв рот кулаком.

– Писал.

– А я прочел ваш рассказ, из журнала, – подхватил тему закадыка.

Прочел – года не прошло.

– И что скажешь?

Закадыка сделал восхищенное лицо и затряс головой.

Зашла проводница. Взъерошенный парень сел, свесив ноги, долго шарил в карманах в поисках билета, нашел, протянул проводнице и снова улегся.

– Чай? Кофе? – спросила она у Павла Александровича.

– Нет, спасибо, – сказал я.

– Чай, – сказал Павел Александрович.

Она кивнула и вышла.

Снова повисло молчание. Мимо окон плыл нескончаемый лес.

– А вы давно пишете? – спросил закадыка.

Павел Александрович подпер подбородок ладонью.

– Давно. С детства, наверное.

– Здорово, – сказал закадыка.

Павел Александрович пожал плечами.

– И всегда писали фантастику?

Павел Александрович кивнул.

– А почему пошли на юридический, а не на... литературный?

Я даже покосился на закадыку – чего это он такой разговорчивый?

Павел Александрович задумался.

– На литературный... Да я и не собирался, – сказал он, – как-то не было в мыслях. А юридический...

Он посмотрел в окно.

– Да случайно как-то.

И снова замолчали. Открылась дверь, вошла проводница. Она поставила перед Павлом Александровичем стакан чая – в подстаканнике. В стакане дрожала ложка, на подстаканнике была изображена слоновья голова, выглядывающая из джунглей.

Павел Александрович поблагодарил, расплатился, постучал ложкой по стенкам стакана и стал разглядывать слоновью голову.

Мне казалось, что я слышу мысли закадыки – во всяком случае, он в этот момент совершенно точно думал о содержимом своего портфеля; как и я. Мы не обсудили практическую сторону за-теи, и теперь я начинал понимать, что пиво будет томиться в заточении, пока Павел Александрович не отправится на боковую.

Но Павел Александрович, казалось, и не думал отправляться на боковую. Он не дал чаю остыть и цедил его сквозь ниточки пара, плывшие из стакана. Видно, чай взбодрил его, и он начал рассказывать про то, как его вывело на широкую дорогу юриспруденции.

– Поступал я на исторический, – говорил он. – У себя, в Уральске. Но пролетел – это сразу стало понятно. А у меня друг детства сюда, – он показал на лес за окном, – уехал после девятого класса. С родителями.

По вагону, за дверями, проплыли тяжелые шаги.

– Я приехал, подал документы. Друг в восторге. История меня больше не привлекала, а юридический тогда был самым престижным факультетом.

Он усмехнулся.

– И оказался я на юридическом.

Мы закивали одобрительно. В купе погас свет. Павел Александрович дотянулся до лампы над своей полкой и зажег ее. Теперь в окне отражались наши лица, а все остальное тонуло во мгле, и казалось, что за окном сидят трое незнакомых людей и о чем-то тихо – так что нам не слышно – разговаривают. Эти трое были полупрозрачные, и сквозь них было видно бесконечный черный лес.

Разошлись облака, и над лесом показалась луна. На лес посыпался холодный белый свет.

Закадыка ткнул меня в бок и похлопал по портфелю. Что он этим хотел сказать, я не понял; если это было напоминание – так я и не забывал.

Павел Александрович сидел с мечтательным видом.

– А друг уехал через пару месяцев. В Москву.

Он усмехнулся.

– А я остался.

Он зачем-то понюхал чай.

– Закончил юридический, на отлично. Оказалось, что юрист из меня может выйти неплохой. Остался в аспирантуре, потом позвали преподавать.

Мы молчали. Кто-то снова протопал по вагону.

– А фантастика... – Павел Александрович улыбнулся и щелкнул слона по хоботу, – это другое. Это, наверное, из детства.

Мы кивали.

– Ну а что ж, – спросил я, – старик мой не писал?

Я так и сказал – «мой старик», умереть можно.

Закадыка прыснул, Павел Александрович рассмеялся.

– Нет, не писал.

– Ох уж этот старик, – всплеснул руками закадыка.

Я выдавил из себя улыбку.

Лес за окном исчез, и его место ненадолго занял какой-то городок. Побежали мимо окна дома с темными окнами.

Павел Александрович отодвинул от себя стакан.

– Ладно, юристы, – сказал он. – Вы как хотите, а я – в горизонталь.

Он наклонился, расшнуровал туфли, снял их и аккуратно поставил под столик. Потом достал из своего саквояжа какую-то книгу, ткнул в угол подушку и, не застываясь, растянулся на полке. Поставил книгу на грудь, открыл и стал читать.

Закадыка крикнул и пробормотал:

– Умоюсь, пожалуй.

Он встал и выпучил на меня глаза. Я сразу понял.

– Я тоже, пожалуй.

И мы вышли из купе. Прошли до середины вагона, остановились.

– Ну что? – спросил закадыка.

– Что?

– Как поступим?

Я пожал плечами.

– Давай ждать, пока уснет, – сказал закадыка.

– Давай. Только я растянуться буду, мне сидеть надоело.

– Мне тоже.

На том и порешили. Мы еще немного постояли, глядя в окно – с этой стороны тоже был сплошной лес – и пошли обратно.

Павел Александрович читал.

– Что читаете? – спросил закадыка.

Павел Александрович назвал фамилию, в которую, кажется, уместились все буквы славянского алфавита, включая мягкий и твердый знаки.

Я достал из пакета белье и долго возился, заправляя верхнюю полку – напротив взъерошенного парня, спавшего к нам спиной.

Как только голова моя коснулась подушки, я понял, как сильно хочу спать. Но выпить пива под стук колес хотелось сильнее, и поэтому я лег набок, сунул руку под подушку, выгнул шею и стал смотреть в окно.

Внизу шуршал закадыка – шуршал и шуршал, шуршал и шуршал, точно ему вместо белья выдали десяток пакетов. Наконец наступила тишина.

За окном тянулся лес. Луна выбралась из-за облаков и откатилась в зенит. Звезд почему-то было совсем мало, и они были как в Турции – крошечные и бледные.

Время от времени над лесом вставали вышки – кажется, сигнальные, с двумя красными огнями. Выглядело так, будто нас провожают великаны с горящими глазами.

Мне такое сравнение показалось очень удачным, и у меня прямо язык зачесался поделиться им с Павлом Александровичем, но при закадыке было как-то неловко. Я покосился вниз – Павел Александрович читал, нахмурившись.

Я вернулся к своему занятию.

Стали попадаться особенно высокие башни, с четырьмя огнями – и можно было представить, будто это один великан сидит на плечах у другого.

Павел Александрович выудил из саквояжа ручку и стал что-то пометать – прямо в книге, на полях.

Я осторожно выглянул – так чтобы увидеть закадыку. Он лежал на спине с закрытыми глазами, скрестив руки на груди.

Павел Александрович посмотрел на меня.

– Свет не мешает?

– Нет-нет.

И я опять уставился в окно, ругая себя за нерешительность. Если бы я сказал, что да, мешает, совсем чуть-чуть, самую малость мешает – Павел Александрович наверняка бы погасил эту треклятую лампу и лег спать.

Теперь за окном плыли поля, изредка взрывающиеся рощами. Луна висела над ними, как фонарь, облака расползлись, оставив после себя какие-то лоскуты и обрывки.

Поля утекали к горизонту и там упирались в частокол леса, а если не упирались, то выливались за горизонт, как масло.

Я не заметил, как уснул.

Мне ничего не снилось. В поезде мне никогда ничего не снится. Не знаю, с чем это связано.

А проснулся я от того, что почувствовал, как кто-то трясет меня за плечо.

В купе было темно – только жидкий лунный свет пленкой лежал на столике, на спине взъерошенного парня и на круглом, как луна, лице закадыки, маячившем прямо передом мной.

– Ты чего?

– Тише! – зашипел он. – Слазы!

– Зачем?

– Пиво пить!

– Какое пиво, я сплю уже!

– Я что, зря шефа караулил?

Я потер лицо ладонью.

– Караулил?

– Он свет погасил полчаса назад. Сейчас точно спит. Я сам чуть не отключился, пока выжидал.

– Ты что, вообще не спал?

– Нет, – гордо ответил закадыка.

– Это ненормально, – пробормотал я и приподнялся. – Двигайся!

Закадыка отступил в сторону, и я слез, едва не завалившись на Павла Александровича.

– И что дальше?

Закадыка раскрыл портфель и выудил оттуда блестящие бутылки.

– Теплое, – скривился я.

– Какое есть.

Я взялся за ручку двери.

– Ты куда?

– В смысле куда? Пиво твое пить.

– Так давай здесь!

Я повертел пальцем у виска, он вальяжно махнул рукой.

– Да перестань! Не школьники!

– Ага, – зашипел я, – взрослые солидные юристы – едут на форум и надираются по дороге.

– Да успокойся ты!

Я сдался. Павел Александрович спал лицом к стенке, укрывшись простыней.

– Открывай.

Закадыка достал из-под подушки открывашку – у меня глаза на лоб полезли – и скрючился, как рак, и открыл обе бутылки совершенно бесшумно. Мы уселись на его полку и принялись молча пить.

Пиво было теплое и кислое. Дрянь, а не пиво, если быть честным.

Пейзаж за окном не менялся – лес, лес, лес, поле, поле, роща, лес, несколько домиков и снова лес, лес, лес. Оставшиеся после облаков лохмотья растаяли, звезды лениво шевелили лучами, зато луна была в ударе. Она, в двух третях, похожая на лепесток, летела по небу так, словно играла с нашим поездом в догонялки.

Сперва мы смотрели в окно и пили молча, а потом осмелели и стали перешептываться.

– Дрянь, а не пиво, – шептал я.

– Да, – соглашался закадыка.

– Не выпимся, – шептал я.

– Да, – соглашался закадыка.

– Форум будет – скукотища.

– Скукотища.

Мы с закадыкой отлично друг друга понимали.

Заворочался на верхней полке взъерошенный парень, из-под простыни высунулась его нога в сером носке.

Мы притихли.

Он опять заворочался, нога спряталась под простыню, воцарилась тишина.

– А ты правда рассказ читал? – спросил я.

– Да.

– И как тебе?

– Ничего.

– Тот старик прямо в восторге был.

Закадыка захихикал.

– Вот что ты за человек? – возмутился я. – Все уже поверили, один ты как не знаю кто.

Закадыка закрыл рот рукой и зажмурился.

– Никто не поверил, – зашипел он, сдерживая смех, – все думают, что ты его посеял.

– Кто все?

– Все!

– И...? – я показал на Павла Александровича.

Закадыка задумался.

– Нет, про шефа не в курсе.

– Ну и все, – я сделал глоток, – а на вас мне плевать.

Закадыка снова закрыл рот рукой и весь затрясся, лицо у него из белого стало пунцовым. Успокоившись, он зашептал, не убирая руки:

– Все уверены, что ты, хитрая рожа, решил ситуацию вывернуть в свою пользу. Выдумал какого-то почитателя, чтоб перед, – он кивнул на полку напротив, – выслужиться.

У меня в ушах зашумело от возмущения.

– Ну, ты-то знаешь, что я бы так не сделал!

Он посмотрел на меня ехидно и пожал плечами. Я покачал головой.

– С такими друзьями...

Но закончить фразу мне не удалось – произошло нечто неожиданное.

Павел Александрович вдруг перевернулся на спину, открыл глаза и сел, свесив ноги. Закадыка спрятал руку с пивом под столик, так как сидел у окна, мне прятать было некуда, и я остался сидеть как сидел.

Павел Александрович равнодушно посмотрел на меня, потом на закадыку, перевел взгляд на окно. Потом зевнул в кулак, лег и отвернулся к стене.

Через минуту мы услышали ровное размеренное дыхание.

Я вытер со лба пот. Закадыка развел руками и сказал:

– Бывает. У меня брат во сне из квартиры выйти пытался.

– Жуть какая.

Закадыка посмотрел в окно.

– Может, это из-за луны?

– В смысле?

– Ну, луна, лунатизм. Она ж прямо на него светит.

И правда, сейчас полка, на которой лежал Павел Александрович была вся залита бледным светом, широкая серебряная полоса текла по подушке и, выгибаясь, ложилась ему на шею.

– Не неси чушь, – сказал я.

Закадыка привстал и задернул шторку. В купе стало значительно темнее.

Мы допили пиво, еще немного поспорили про луну и лунатизм, и я полез наверх. Закадыка тоже улегся, но потом встал и ткнул меня в плечо.

– Что?

– Ну признайся, – сказал он, – ну придумал же ты старика?

Я закрыл глаза.

– Ну, не чтоб выслужиться, – затараторил он, – а так, чтоб углы сгладить.

– Отвали, – сказал я, не открывая глаз. – Дай поспать.

Он захихикал и скрылся.

Как только он перестал шуршать, я сунул руку под подушку и снова стал смотреть в окно – шторка закрывала только нижнюю его часть. Поезд летел вдоль высокой насыпи, на хребте которой горели синие фонарики. Я стал их считать и спустя дюжину уже спал.

В ту ночь я проснулся еще один раз – не знаю, в каком часу. Поезд стоял, и в окно я видел засыпанный снегом перрон и низенький вокзал, за широкими окнами которого светился пустой зал ожидания с огромным циферблатом часов под потолком. От поезда удалялся наш взъерошенный попутчик – полка была пуста. Он толкнул дверь вокзала, и на перрон упал прямоугольник оранжевого света. Попутчик шагнул внутрь, дверь закрылась, и прямоугольник исчез.

Почти сразу же купе вздрогнуло, и мы тронулись. Я немного поразглядывал городок – домики высыпали к самым путям и смотрели на поезд с удивлением, за ними высилась гордо тонкая высокая башенка – и уснул.

Конечно, мы не выспались. Конечно, форум оказался таким скучным, что даже матерые юристы не выдерживали и засыпали – головы их предательски запрокидывались, рты широко открывались. Я таких счастливицков насчитал в зале ровно десять. Я боялся стать одиннадцатым и потому сидел, согнувшись над блокнотом – хотя опасность поджидала со всех сторон: я мог упасть вниз. На сцене стояли столы, стулья, на столах торчали микрофоны, в них говорили выступающие, а за спинами выступающих лениво ползли слайды с колонками текста. Закадыка держался по-спартански – боролся со сном, как с заклятым врагом, сидел прямо и что есть мочи пучил глаза, чтобы выглядеть бодрей. Его глаза, наверное, было видно со сцены, а мы сидели на девятнадцатом ряду. Я представлял себя турком за стойкой и временами как будто слышал ту самую музыку, из лобби. Я был очень рад, потому что был уверен, что начисто забыл мотив – а выходило, что он просто прятался где-то глубоко и теперь вот выплыл на поверхность.

Павел Александрович сидел где-то впереди.

А после форума нас ждала новость – Павел Александрович сдал свой билет и остается кого-то поводить. И домой мы ехали вдвоем с закадыкой. Мы обрадовались, набрали пива, но выпить его не смогли – поезд еще отчалить не успел, а мы уже сопели на своих верхних полках. Внизу ехали какие-то мужики и всю дорогу играли в карты. Они говорили в голос, но спать это не мешало.

Новый год в центре праздновали скромно – слишком бурной выдалась сессия. Павел Александрович зарывался в бумаги кафедры, совсем исхудал, осунулся.

Распили всей толпой две бутылки шампанского, сожгли десяток бенгальских огней. Павел Александрович сказал торжественную речь, посидел с дежурной улыбкой и уехал. Все стали разбредаться. Мы с закадыкой отправились в бильярдную и гудели там до утра.

Зато в конце января произошло нечто грандиозное.

Первую пару в тот день отменили, но я и ко второй – семинар по трудовому – успеть не смог. К тому времени, как я влетел на факультет – красный, запыхавшийся, на ходу стягивая куртку – семинар шел уже минут пятнадцать.

Та зима была какая-то бутафорская – снег если и выпадал, то жиденский, хилый. Он жался к бордюрам, быстро превращался в серую кашу и испарялся. Казалось, что это не зима, и не весна, и не осень даже – и уж тем паче не лето – а что-то безвременное, мистическое.

Я вручил куртку негодующей гардеробщице и понесся по коридору – аудитория соседствовала с закутком, в котором прятался наш центр. Уже у самой двери, подняв кулак для извиняющегося стука, я вдруг изогнулся и заглянул за угол. Мне открылась странная картина.

Перед дверью, согнувшись, стояла Наташка. Ухо она прижимала к замочной скважине, лицо было сосредоточенное.

Я опустил кулак.

– Эй, – позвал я. – Ты чего?

Наташка вздрогнула. Она мгновенно выпрямилась, поправила волосы и посмотрела на меня с прищуром.

– Что там? – повторил я.

Наташка продолжала смотреть с прищуром.

– Там твоя реабилитация, – сказала она наконец.

Я не понял.

– Старик твой прибыл!

Я даже закашлялся. Я уже и сам временами сомневался – не пригрезилась ли мне та встреча на почве обильных возлияний?

Я тихо подошел.

– Можно посмотреть?

Наташка фыркнула. Я наклонился к скважине.

В центре и вправду был мой старик. Он восседал в кресле Павла Александровича и что-то вещал, вдохновенно жестикулируя. Павел Александрович сидел за столом, за которым обычно сидят клиенты, и внимательно слушал. Старик был одет в песочного цвета пиджак, шея под самую бородку была повязана толстым цветастым шарфом.

– И так уже полчаса, – сказала Наташка.

Я выпрямился.

– Про что говорят?

– Про фантастику в основном, слышно плохо.

Я почувствовал, как у меня сами собой расправляются плечи, а подбородок ползет вверх. Какой я высокий на самом-то деле, какой статный. Я посмотрел на Наташку торжествующе.

– Ой, ладно-ладно, – замахала руками она. – Будешь теперь...

Я благосклонно кивнул. И услышал свою фамилию – не прозвучала она не из замочной скважины, а из-за Наташкиной спины. В закутке появилась Марина Викторовна.

– Ты совсем обнаглел?

Я мгновенно сжался и перестал быть высоким и статным.

– Живо в аудиторию!

Я сжался еще сильнее, рискуя сломать спину, и просеменил мимо нее.

При виде меня группа восторженно сопела, закадыка защелкал пальцами.

– Старик приехал, – буркнул я ему сходу, не обращая внимания на смешки.

– Присаживайтесь, пожалуйста, – склонил голову он.

Я выложил на стол тетрадь и ручку.

– Ой остряк, – сказал я. – Порежусь сейчас.

Он благодарно кивнул.

– Старик, – повторил я. – Тот самый.

По лицу закадыки, как рябь по водной глади, побежали эмоции – сразу несколько, и все разные. Мне даже страшно за него стало, вдруг перегорит.

– Гонишь!

– Пойди проверь. В центре заседает.

Закадыка тут же вскинул руку.

– Марина Викторовна, – воскликнул он, – можно выйти?

Марина Викторовна даже не посмотрела на него.

– Нет.

Закадыка приуныл.

– Врешь же.

Я вложил в свой взгляд все презрение, на которое был способен.

А спустя минуту мы увидели, как мимо окон аудитории идет медленно по серой дорожке Павел Александрович, а рядом с ним, в песочном пиджаке и цветастом шарфе, со стаканчиком кофе, размахивая свободной рукой, не переставая улыбаться...

Старик все говорил и говорил, а Павел Александрович слушал и изредка кивал.

Я думал, закадыку удар хватит, приготовился на помощь звать.

Они прошли в одну сторону, потом в другую. Постояли у лавки – теперь говорил Павел Александрович – сделали круг, дошли до самой дороги, постояли спиной к факультету, развернулись и двинулись обратно. Вскоре мы услышали шаги за дверью аудитории.

До конца семинара мы сидели, как на иголках. Дважды меня поднимали, задавали какие-то вопросы – но я к тому времени собаку съел на трудовых спорах в центре и держался молодцом. Марина Викторовна даже сменила гнев на милость.

– Вот есть же что-то в голове, – сказала она горестно. – Был бы посерьезней...

Я согласился.

Как только прозвенел звонок, мы с закадыкой понеслись к центру, сшибая все на своем пути. У двери по-прежнему топталась Наташка.

– Что там? – спросил я.

– Все то же.

Я высоко поднял голову, подошел к двери, присел на корточки, чтобы не гнуть идеально прямую спину, и заглянул в скважину.

Теперь Павел Александрович сидел в своем кресле, а старик ходил перед ним туда-сюда, скрестив руки на груди, и что-то говорил. За ними белело окно, и в него было видно серое уснувшее поле, над которым висело такое же серое небо.

Я выпрямился. К центру стекались наши – тут уже были и зубрила, и несколько новичков.

– Поняли? – сказал я важно и, не дожидаясь ответа, прошествовал мимо них. Еще можно было успеть в буфет.

Я взял кофе и давился им, обжигая губы – боялся снова опоздать. Я стоял у буфета, навалившись на высокий столик, – из тех, что органично смотрятся в рюмочных. Факультет галдел, студенты носились туда-сюда, с лестницы на лестницу, осаждали буфетчицу, толклись у гардероба, нарезали круги по холлу, хохотали, кричали, ругались, хлопали друг друга по плечам.

Я закрыл глаза, и стал представлять, что стою в терминале аэропорта. Еще чуть-чуть – и взвоят где-то двигатели, засвистят турбины. Гул усилится, станет оглушительным, а потом вдруг поплывет куда-то, расплываясь и исчезая.

За высоким окном бледнели лавки, подобие сквера, широкая дорога и обступившие ее новостройки. Зимой работы останавливались, и те дома, что не успели вырасти до нужной высоты, молчаливо смотрели на факультет черными прямоугольниками окон. Можно было подумать, что дома – это стоглазые великаны, дальние родственники тех, что я видел из поезда.

Все было бледно-серое, даже студенты – те из них, кто вываливался из стеклянных дверей и, ежась, семеня по дороге – тоже бледнели и вращались в пейзаж.

Я допил кофе и меня передернуло – ко дну стакана липла густая коричневая жижа – и побежал к аудитории.

– Может, отпросимся, – предложил заика.

Я фыркнул.

Когда зазвенел звонок, мы уже сидели на местах – ни дать ни взять отличники.

А посреди семинара – я даже во вкус вошел и во все горло пел про основания заключения срочных трудовых договоров – дверь в аудиторию отворилась, и Павел Александрович попросил Марину Викторовну отпустить меня на пару минут.

– Разбаловали вы их, – сказала Марина Викторовна.

Я вышел. В коридоре стояли Павел Александрович и старик. Увидев меня, старик расплылся в ликующей улыбке.

– Здравствуйте! – закричал он так громко, что слышно было, наверное, на том конце поля.

Я поздоровался.

Старик повернулся к Павлу Александровичу.

– Прелестный молодой человек, – сказал он, – настоящий интеллигент. Вы бы видели, с каким серьезным видом он читал вашу книгу.

Я вспомнил, в каком состоянии я читал «Город джаза», и мне даже стыдно стало. Старик посмотрел на меня.

– Я привез книгу. Мы с Павлом Александровичем презанятно побеседовали относительно ее содержания.

Я кивнул.

– Вы ведь не обижаетесь на меня?

– За что?

– За то, что я самым беспардонным образом увез книгу с собой.

Я помотал головой.

– И все же, позвольте еще раз извиниться, – он затряс мою руку. – Но у меня просто не было выбора!

– На вашем месте я бы поступил точно так же, – сказал я серьезно, зная, что никогда бы так не поступил.

Старик рассмеялся.

– Что ж, – сказал он наконец, перестав смеяться, – а теперь позвольте мне откланяться. В вашем чудесном городе я проездом, и мне, к великому сожалению, надо спешить.

Только сейчас я заметил, что на нем длинное, песочного цвета пальто.

– Я вас провожу, – сказал Павел Александрович.

Старик снова затряс мою руку, а я стоял и улыбался как дурак.

– Всего доброго, – сказал он мне.

– До свидания.

Он отпустил руку, отвесил мне небольшой поклон – я ответил тем же – и они с Павлом Александровичем пошли по коридору в сторону холла.

Я постоял, глядя им в след, а потом высунулся в закуток. Дверь в центр была открыта, за столом сидела Наташка и что-то писала. За ее спиной на поле сыпался мелкий редкий снежок.

– Наташка! – позвал я.

Она подняла голову.

Я показал ей язык.

После визита моего старика Павел Александрович какое-то время вел себя странно – он стал рассеянным, задумчивым, постоянно что-то забывал и терял, и даже на лекциях вдруг замолкал и молча смотрел в окно – по нескольку минут.

В центре в течение дня он появлялся редко, но если появлялся, то с таким ожесточением стучал по клавиатуре, что вставали со своих мест и выходили в коридор все – даже самые нечуткие новички, которые вообще непонятно как попали в центр и все только сновали туда-сюда с ошалелыми глазами, шушукаясь между собой про иски, пеню, сервитуты и прочее.

Зато вечера Павел Александрович просиживал в центре безвылазно. Мы с закадыкой возобновили катания по полю – теперь на «тойоте» закадыкиного отца – и всякий раз свет в окне горел допоздна.

Поползли слухи, что Павел Александрович пишет роман. Кто эти слухи распускал, мне неизвестно до сих пор, деталей не было никаких – роман, и все. Спросить мы, разумеется, робели.

– Интересно, о чем они говорили? – задумчиво спрашивал закадыка.

– Кто?

– Шеф. Со стариком твоим.

Я делал важное лицо и поднимал вверх указательный палец.

– Про судьбу жанра.

– А ты почему знаешь?

Я устало вздыхал и качал головой.

Однажды мы подкараулили Павла Александровича на крыльце факультета. Было около одиннадцати, темень стояла страшная, дорога тонула во мгле, там ни один фонарь не горел, а у крыльца горели целых два – и застилали крыльцо белым светом. Мы с закадыкой нарочно сидели в машине и ждали.

Снега не было. Не зима, а не пойми что.

Открылась стеклянная дверь, Павел Александрович вышел на крыльцо, остановился и с минуты просто стоял, глядя на дорогу. Потом сунул руки в карманы и шагнул вперед.

Я открыл дверь, высунулся и крикнул:

– Павел Александрович!

Он остановился, прищурился, помахал.

– Вас подвезти?

Он посмотрел на дорогу, пожал плечами и подошел к нам. Я пересел назад.

Павел Александрович жил – и все это знали – в общежитии за главным корпусом, в новом крыле. Ехать было несколько минут.

– Вы чего здесь делаете? – спросил Павел Александрович.

Мы, сбиваясь, объяснили.

Было так темно, словно мы ехали в тоннеле – пока не добрались до перекрестка, с которого стал виден главный корпус, я так и ждал, что с обочины на машину кто-нибудь выпрыгнет.

В зеркало было видно сияющее крыльцо факультета.

– А я вот права выбросил, – сказал Павел Александрович. – Не мое.

Мы обогнули главный корпус и остановились перед общежитием. Павел Александрович поблагодарил нас и вышел.

У общежития толклись студенты, громко смеялись. Один стащил с себя шапку и зачем-то забросил на козырек крыльца. Мы с закадыкой заглушили мотор и стали наблюдать за тем, как студенты подсаживают друг друга, карабкаясь на козырек.

Когда шапка была спасена, мы моргнули умникам дальним светом и уехали.

Через пару недель Павел Александрович стал приходить в норму, рассеянность, вызванная таинственными речами старика, исчезала, и по всему было видно, что его, что называется, «отпускает».

Старик сыграл очень важную роль в наших с Павлом Александровичем отношениях, он стал как будто доверительнее ко мне относиться, и теперь, если мы оставались в центре вдвоем, мы уже не молчали, а вполне себе о чем-то говорили. Вернее, говорил он, а я слушал.

Из этих бесед я узнал много презанятных фактов. Например, я не без удивления обнаружил, что «творит» в свободное от преподавания время почти весь педагогический состав факультета.

Марина Викторовна, например, лепила из глины. А старичок-криминалист писал пьесы для студенческого театра.

– Что-то тут есть, – говорил Павел Александрович, – какая-то закономерность.

Я кивал. Кивал и прикидывал, чем мог скрашивать досуг наш тиран, до встречи с которым оставалось около полугода.

– Но это все другое, – говорил Павел Александрович спустя минуту, и было непонятно, что он имеет в виду.

А переспрашивать я не решился – боялся выглядеть дураком.

«Город джаза» я дочитал. Последний рассказ меня очень впечатлил. В нем говорилось о доме, стоящем на вершине горы. В доме живет семья – возделывает огород, читает, обсуждает последние новости, пьет по выходным вино, семья как семья. Но только вот гора оказывается не просто горой, а частью какого-то механизма, и огород за домом – механический, плоды из почвы выпрыгивают как на пружине, и кролики, осаждающие огород, – тоже механические. Семья живет в достатке и довольствии, но никто не понимает, что происходит, как все работает и зачем все это нужно. Живет себе и живет.

И есть в доме подвал – даже, так получается, подвал подвала, люк в полу, ведущий в самое нутро горы, а оттуда – звон, гул, скрип неведомых механизмов. Ну и понятно, в этот люк никто не суется, потому как незачем – никто, кроме любознательного паренька, младшего сына, которому, видишь ли, мало просто жить-поживать, а надо еще и докопаться до сути, так сказать, вещей.

Рассказ был коротенький – страницы в четыре. Я прочел и его, захлопнул книгу и воскликнул, обращаясь к Павлу Александровичу, который сидел в своем кресле и, кажется, был готов задремать:

– Есть!

Он вздрогнул. Кроме нас в центре был новичок с ошалелыми глазами, он посмотрел на меня с ужасом.

Он как раз готовил документы в юстицию, а это может отразиться на психическом равновесии.

Я встал, подошел к Павлу Александровичу и вручил ему «Город джаза».

– Большое спасибо, – сказал я.

– Не прошло и двух лет, – пошутил он.

Он последнее время, после того как его «отпустило», был какой-то слишком уж веселый.

Задерживаться он стал реже, лекции вел с прежним воодушевлением. И все меня мучал вопрос – о чем конкретно они говорили тогда, в январе? О «будущем жанра», о призвании – это понятно. Но вот конкретно – о чем?

А в самый разгар весны – такой же невзрачной, надо сказать, как и зима – центр ждали перемены – мы переезжали с первого этажа на второй. И не в укромный закуток, как мы привыкли, а на самый «солнцепек» – от деканата нас теперь отделяла только площадка с диванами и расписанием.

Для Павла Александровича это было трагедией. Он ходил как в воду опущенный, ругал новый кабинет почему зря, по сто раз перетаскивал столы и стеллажи с места на место и с ненавистью смотрел на каждого клиента, который заходил и восклицал:

– Ой, а здесь даже уютнее!

И только бабульки, стекавшиеся к нам за претензиями в адрес управляющих компаний и исками против соседей по даче, выражали недовольство тем, что теперь приходится подниматься по «этой ужасной лестнице». Павел Александрович воспылал любовью к бабушкам и каждую встречал с королевскими почестями.

Вдобавок ко всему при переезде упал и раскололся песочный пейзаж. На пол медленно потекла зеленая маслянистая жижа вперемешку с катышками песка. Ужасная была картина.

И у меня была своя, личная, потеря – я вдруг понял, что отныне в центр смогу попасть только через дверь, и для меня это сразу отсекло львиную долю бывлой романтики. Я даже не удержался

– спустя неделю после переезда попросил на вахте ключи, пробрался в родной закуток и открыл дверь, на которой теперь висело несуразное, наспех напечатанное объявление:

«Центр правовой п-щи переехал в каб. № 211».

Если бы не трагичность ситуации, мы с закадыкой долго бы смеялись над правовой «п-шой».

Я открыл дверь, шагнул в голую тесную комнату с бледными стенами, потоптался немного, а потом распахнул окно, выглянул в него, удостовераясь, что меня никто не видит, и вылез наружу.

Поле было притихшее, тоскливое, трава – невысокая и тусклая, пахло сыростью. Небо напоминало туго натянутое серое сукно, издалека смотрела равнодушно высотка. Справа от нее росла еще одна, слева закладывали фундамент третьей.

Я сунул руки в карманы, постоял немного, достал из кармана ключ и нацарапал на стене, под окном, розу ветров. Роза ветров вышла так себе, не чета своей сестрице из аудитории, но какой бы она ни была, я сразу понял, что здесь – ее законное место.

Но обратно в окно я уже не полез. Я обошел факультет, протиснулся по коридору, рискуя быть затоптанным – перемена – шагнул в пустую комнату, закрыл окно, вышел и дважды провернул красивый бронзового цвета ключ. Дернул ручку, поправил объявление. Потом вернулся в холл и отдал ключ вахтеру.

Больше я ту дверь не открывал – и в комнату не заходил. За лето в нее перевезли архив, и она превратилась в... не знаю во что. Во что-то незнакомое.

Зато к новому кабинету я привык на удивление быстро. Поле из его окна начиналось не с серой полосы асфальта перед факультетом, а сразу с травы – и в этом была своя прелесть. Портит пейзаж столб, стоящий ровно напротив окна и деливший поле на две равные части. Столб был светло-серый – в тон весне – и прямоугольный, с щербатыми краями. Павел Александрович столб возненавидел с первой встречи и придумывал ему обидные прозвища, а мне он даже нравился – не знаю, почему. Я предложил повесить на него часы, но на меня посмотрели как на сумасшедшего.

Хотя Павел Александрович потом говорил, что идея была классная – да только он не мог ее тогда оценить по достоинству, слишком уж негодовал из-за переезда.

Думаю, и на творчестве перемены сказались – теперь Павел Александрович стучал по клавишам не так агрессивно, а все больше сидел, уставившись в экран, часто вздыхал, вставал и шел к чайнику; или поворачивался к окну, но там его встречал столб.

Но это, конечно, было явлением временным. Перед самым летом – и, к счастью, лето обещало быть таким, каким положено – когда нас с закадыкой волновала только сессия, в тени которой мы копошились, я вдруг не без радости заметил, что Павел Александрович терзает клавиатуру с прежним задором и, повернувшись к окну, не отскакивает в ужасе, а сидит как ни в чем не бывало и подолгу смотрит на поле. Я все хотел спросить, как там его роман – и был ли вообще роман, а если не был, то будет ли – но как-то не складывалось. Сессия выдалась жуткая – вершиной обелиск терялся в облаках, его поверхность мелко дрожала, казалось, что сейчас по ней побегут с треском искры. Ох и натерпелись мы с закадыкой страху, я имя свое чуть не забыл – не то что историю с романом.

А летом, в июле, я разродился рассказом.

До этого я писал только в школе – стихи. Но в нашей – про другие не знаю – школе было сложнее встретить того, кто стихов не писал, так что это, разумеется, не в счет.

А тут вдруг...

Гостил у бабушки. Наелся до отвала, пошатался, держась за бока, по двору, заглянул в сарай. Отыскал игрушку, с которой в детстве не расставался – пошмыгал носом. Пытался влезть на яблоню – сноровка не та. А тут и дождь начал накрапывать – пришлось вернуться в дом.

Отбилась от уговоров поесть еще, пошел бродить по комнатам. За стеклянными дверцами – книги, книги, фужеры, керамика, книги, книги, фотографии в рамках.

На одной из полок, в самом углу, я обнаружил ракушку – здоровенную, с зубцами, завернутую рогом. Песочного цвета – в полоску. Нутро – нежно-розовое, блестящее.

Эту ракушку я помню с детства – все слушал, как море в ней играет.

За окном потемнело, наполнили со всех сторон тучи, дождь забарабанил по подоконнику. Я устроился поудобнее в старом продавленном кресле и приложил ракушку к уху.

Шумит. Никуда не делось. За окном дождь, сирень сутулится, клен руками машет, а у меня тут – море.

И меня как будто и впрямь волной накрыло – как окатило: пиши рассказ! Я поерзал в кресле, отнекиваясь. А из ракушки шумит:

– Пи-ши.

А чего это мне, думаю, отнекиваться? Можно и мне написать чего-нибудь, чем я хуже других? Пошарил по письменному столу, раздобыл тетрадь, ручку, зажег торшер, нырнул обратно в кресло и – творить.

Пришла бабушка, принесла чаю с плюшками.

Творил я вдохновенно, вскакивая с кресла и расхаживая по комнате. Ерошил волосы, хлопал в ладоши и подмигивал отражению в зеркале. Колпачок у ручки изгрыз.

Гроза, стихия бушует, молнии сверкают, а я – творю. Ваяю.

Наваял... О, что я наваял! Даже сейчас с уважением смотрю на то, что я наваял. А уж тогда...

За окном гремело, сирень в испуге жалась к забору, клен стоял, как сторожевая башня, а у меня под ручкой громоздились друг на друга приключения, повороты, чудеса – и далее, далее, далее.

Закончил я, когда за окном было совсем темно, бабушка дремала в соседней комнате, а дождь устал барабанить и просился на покой. Рассказ вышел небольшим, но мне казалось, что это не рассказ, а роман-эпопея в четырех частях с эпилогом.

Конечно же, мне ужасно хотелось показать текст Павлу Александровичу.

Я только с названием запнулся – никак не мог выбрать подходящее, маялся, проговаривал вслух варианты и остановился на самом простом – «Море».

Дома я первым делом перепечатал «Море», торжественно вытащил из принтера стопку теплых листов и спрятал от посторонних глаз в тумбочку.

С Павлом Александровичем удалось встретиться только в августе.

Я знал, что он заходит на факультет летом – и караулил его, приезжая чуть ли не через день и надоедая вахтеру расспросами – приходил? а когда? а надолго?

Наконец я его поймал. Поймал у двери центра, когда он звенел ключами, закрывая дверь.

– О, – удивился он, – ты чего здесь?

– Павел Александрович! – крикнул снизу, из холла, вахтер. – Это тот самый! Я вам говорил!

Я кивнул.

– Павел Александрович, – сбиваясь, начал я. – Тут такое дело...

Заикаясь и краснея, я объяснил ему, что написал рассказ, в некотором роде – шедевр, в некотором роде – открытие, и теперь жажду услышать его экспертное мнение.

– Отлично, – сказал он, забирая из моих рук листы. – Обязательно прочту.

Я просиял.

Он посмотрел на часы.

– А прямо сейчас и прочту.

Я потерял дар речи. А Павел Александрович снова позвонил ключами и распахнул дверь. Я увидел окно, а за ним столб, рассекающий густо-зеленое поле пополам.

– Идешь? – спросил Павел Александрович.

Я замотал головой.

– Нет-нет, я тут подожду.

Не хотел мешать.

Павел Александрович пожал плечами и скрылся за дверью.

Я выдохнул. Постоял, рассматривая дверь, прошелся по коридору туда-обратно, заглянул в окна потоковой аудитории – пустые ряды уходили вниз с такой решимостью, словно были готовы протискиваться под преподавательский стол и бурить грунт. В окна било солнце, на улице стояла жара. Я развалился на диванчике под расписанием, прикинул, удобно ли на нем спать, спустился на первый этаж, прошел мимо вахтера – он посмотрел недовольно – на улицу, стал на крыльце.

Дорога утекала вперед, с обеих сторон на нее наседали высотки. Перед факультетом стояли в ряд несколько клумб в бетонных лукошках, точно факультет пытался ими отгородиться. Вдалеке дорога встала в перекресток, и там сновали, сверкая боками, автомобили.

Было жарко, но совсем не душно, как-то пронзительно жарко. По небу скользил пух облаков.

Дверь за моей спиной открылась, и я услышал:

– Прочел.

Я обернулся.

– Что скажете?

– Очень даже неплохо.

Он вернул мне рассказ.

– Правда?

– Правда.

Повисла тишина. Я ждал подробностей, но их не было.

– Ну, – спросил я, – то есть ничего?

– Да, вполне достойно.

Я аж вспотел.

Снова повисла тишина.

– Кое-что я, конечно, изменил бы, – сказал Павел Александрович. – Но в целом – да, неплохо.

Говоришь, это дебют?

Я замялся.

– Стишки же не в счет?

– Все в счет.

Я нашелся:

– В фантастике – дебют.

Он одобрительно кивнул.

– Тогда – вдвойне неплохо.

Он посмотрел на часы и кивнул на дорогу.

– Идешь?

– Да-да, конечно.

И мы направились к перекрестку.

Пока шли, Павел Александрович несколько расшифровал свое «неплохо» и озвучил пару «проблемных мест».

– Но говорю же, – повторял он как заведенный, – для дебюта – это совсем даже неплохо.

Конечно, не такой реакции я ждал. Я думал, что он меня тут же заключит в объятия, наречет своим братом-писателем и позовет пить пиво, а он все твердил про свое «неплохо» и про «дебют». Поэтому я слушал вполуха. Мне пекло макушку, листья липли к ладоням, а еще ехать через весь город.

Но у самого перекрестка ко мне вернулось благостное расположение – мы ступили в прохладную зеленую тень, и Павел Александрович сказал:

– В этом деле очень важен опыт. Напиши еще рассказ.

Он помолчал и добавил:

– И лучше – не один.

Я кивнул.

– И как напишешь – сразу носи ко мне.

Я кивнул.

– Все, что напишешь – неси. С радостью прочту и поделюсь мнением.

Он отчего-то так повеселел, точно я все же стал его братом-писателем, но только сообщать об этом было рано.

– И могу порекомендовать тебе несколько книг.

Он озвучил целый список.

Подул ветер, зеленая тень, в которой мы стояли, задрожала. Ветер подхватил список странных названий и унес – я не запомнил ни одного из них.

– Вот, – подытожил он.

– Спасибо.

– Ну, до сентября, – улыбнулся он. – Сколько у нас до сентября?

– Две недели.

– Прекрасно. Роман можно написать.

Мы попрощались, и он зашагал в сторону главного корпуса. Я остался стоять в зеленой тени с рассказом в руках. По листам скользили, догоняя друг друга, темные и светлые пятна. Сладко пахло – кажется, липой.

Но никакого романа я не написал. И повести не написал, и рассказа. Несколько раз садился с умным видом за стол, грыз ручку, выводил на бумаге вензеля – но написать ничего не смог. Я даже к бабушке нагрязнул – за вдохновеньем. Померял комнату шагами, посидел в кресле, послушал ракушку, поглазел на сирень за окном – и пошел оправдывать пироги.

Возможно, всему виной была жара – лето, оправдываясь за зиму и весну, явно перестаралось. Солнце пекло ужасно, даже трава пожухла; на улицах было пустынно, зато озера осаждались толпами измученных горожан. Мы с закадыкой как с утра залезали в воду, так до вечера в ней и сидели. Загорели как негры, какая там Турция.

По озеру, кроме бесчисленных матрасов, сновали лодчонки и даже один плот – из-под досок торпорились ряды связанных вместе пластиковых бутылок. На плоту восседали с важным видом мальчишки – бронзовые, с белыми от солнца волосами. Они дразнили всех подряд и один раз обозвали закадыку поплавром. Он оторопел, но ничего не ответил.

– Мы такими не были, – сказал он мне, выбравшись на берег.

– Не были, – подтвердил я.

Потом наступил сентябрь, а жара все не уходила – вода в буфете заканчивалась к полудню, факультет стонал и охал. Все окна были распахнуты настежь, и во время лекций мы смотрели, как над выцветшим полем плывут, извиваясь, волны раскаленного воздуха.

На том краю белели уже четыре новостройки. Дома росли не по дням, а по часам, и казалось, что придеешь завтра – а поля и нет уже, и вместо него микрорайон какой-нибудь.

Центр правовой помощи открылся в конце сентября – и жара тут же спала, точно только нас и ждала. Лето раскланялось – «будьте, мол, любезны» – и удалилось. Наступала осень.

Все вздохнули – учебный процесс понемногу стал набирать обороты.

Со дня на день ждали из командировки тирана. Он куда-то там летал набираться опыта, и пока его не было, его даже никто не заменял – в расписании зияли окна. Но вот он уже летел обратно – и сквозь теплое бабье лето ползла от студента к студенту ледяная струйка февральского мороза. Эта струйка не давала нам спокойно жить, и мы с ужасом думали о том, что вот, со следующей недели, нас ждет то самое, о чем мы четыре года слушали от заикающихся выпускников.

Один закадыка храбрился.

– Мне, – говорил он, – ваш тиран – так, пшик. Я, – говорил он, – уже не мальчик, себе цену знаю.

Я старался про тирана не думать. Будет и будет. Будет же когда-нибудь старость – не думать же теперь о ней ежечасно. Но временами и за мой воротник заползала ледяная струйка – и я на-

чинал, как когда-то, жалеть, что не пошел на истфак или на иняз, или еще куда-нибудь, главное – подальше от тирана. Это при том-то, что у меня учеба пошла-таки в гору – и хвалила меня теперь уже не одна только Марина Викторовна.

А тут еще и писательские амбиции вернулись. Я вспомнил ракушку, вспомнил, как она шумит, вспомнил слова Павла Александровича про «будем обсуждать» – первые две недели ему было явно не до меня, он носился по факультету с кипами бумаг, исследуя новое расписание и какие-то новые порядки на кафедре – вспомнил и то, что я теперь почти что «брат-писатель», а значит, мне хочешь не хочешь, а надо ваять. И в один прекрасный вторник, во время дежурства в центре, с легким сердцем отказавшись от похода в столовую – закадыка даже обиделся и смотрел подозрительно – я набрал в грудь побольше воздуха, задержал дыхание, зажмурился – и сидел так, пока не заныло в солнечном сплетении. Тогда я открыл глаза, шумно выдохнул, поднял ладони над клавиатурой на манер пианиста и обрушился на нее в лучших традициях Павла Александровича.

Окно было открыто, и сквозь него в центр тек теплый осенний ветер. Он шевелил бумаги, рассыпанные на подоконнике, и качал из стороны в сторону одинокий цветок, принесенный в центр Наташкой.

Наташка уже выпустилась и работала в арбитраже, но с завидной регулярностью заезжала – то чаю попить, то новости обсудить.

На исходе второй страницы я, однако же, растерял весь пыл, и теперь по клавишам стучал не град, а редкий, готовый вот-вот замолчать, дождик. На середине третьей он и впрямь замолчал – и молчал долго. Потом он снова закапал – совсем робко, спотыкаясь и сомневаясь, а на третьей строке четвертой страницы я убрал руки от клавиатуры, перечитал написанное и закрыл документ в твердой уверенности, что писательская стезя – не для меня.

Меня охватила тоска. Над полем плыли караваны белоснежных облаков. Но это была какая-то прозрачная тоска, игрушечная – я чувствовал, что она скоро уйдет и что зацепила она меня как-то не всерьез, по касательной. Но все равно чувствовал себя скверно.

Я дотянулся до тумбочки, стянул с нее «Город джаза», открыл на случайной странице и стал читать.

Скрипнула дверь. Я даже голову не поднял. Сейчас скажет:

– Зря ты не пошел, борщег сегодня – что надо.

А я ему скажу:

– Вот и целуйся со своим борщегом.

Но это был не закадыка. Это была Ирина Васильевна из деканата. Я узнал ее по голосу.

Она сказала:

– Сильно занят?

Я вскочил и накрыл «Город джаза» жалобой в антимонопольную службу.

– Нет.

И тут же поправился:

– Да.

А потом еще поправился:

– Ну, так.

Она пристально посмотрела на меня.

– Работать хочешь?

Я промолчал, не зная, что нужно отвечать в таких случаях – прежде подобных вопросов я не слышал.

– Если хочешь, иди. Там в деканат звонят, юриста просят.

Так я был спасен от игрушечной тоски, от тирана и почти тысячи лекций. Я что-то побасил в трубку, меня пригласили на собеседование, я показал себя молодцом, и уже через неделю, накануне возвращения тирана, я щеголял волшебным статусом «свободное посещение» и трудовой книжкой, в которой красивым круглым почерком было написано: «юрисконсульт».

Понятно, что совмещать работу в центре и работу на, собственно, работе – так себе занятие.

Исключение своей фамилии из графика дежурств я воспринял на удивление спокойно. Я, во всяком случае, оставался здесь своим и мог в любое время наведываться в гости – Наташка вон наведывается, а я чем хуже?

Павел Александрович поздравил меня с выходом на «качественно новый уровень», закадыка похудел от зависти (он был уверен, что трубка в деканате ждала его, а не меня, и злился на ни в чем не повинный борщ), новички шарахались и смотрели почтительно.

А для меня началось что-то совсем новое. Какая-то другая жизнь захлестнула меня и увлекла за собой. Работа оказалась куда интересней учебы – и должен отдельно отметить, что мне всерьез повезло и с коллективом, и с условиями. Меня взяли в небольшую частную компанию в то время, когда она переживала лучшие свои времена и дерзала расширяться. Я оказался частью этого расширения – пристройкой с гордым именем «юридический отдел», который состоял из меня одного. Я был в известной степени свободен в своих действиях, ни с кем не воевал, не соперничал, не конкурировал, никто надо мной профессионально не довлел – я сидел в своем юридическом углу, обложившись документами, и решал одну задачку за другой – без авралов и цейтнотов. С монитора на меня с улыбкой смотрел милый толстяк с сотней подбородков, и я уже признавал в нем доброго старого знакомого – и даже сам себе удивлялся: за что я его когда-то так ненавидел?

Юриспруденция ожила, из сухой теории превратилась в полнокровную, осязаемую практику – я и сам не заметил, как влюбился вдруг во все это крючкотворство, во всю эту нормативность, во всю эту солидность и запутанность. Я стал обрывать опытом – смешным с профессиональной точки зрения, но все же опытом – и спустя какое-то время уже таскал на себе целую башню, из которой во все стороны выглядывали стекла телескопов.

Факультет как-то незаметно отошел на второй план, новая жизнь его заслонила. Он не исчез совсем и даже более того – если я выходил из офиса и ехал на лифте до двенадцатого этажа, а потом, минуя два ряда дверей, коридором пробирался к лестнице, то в маленькое квадратное окошко я видел и поле, и белый бок факультета. Отсюда он, загороженный новостройками, казался игрушечной коробочкой, и трудно было поверить, что в этой коробочке прямо сейчас ходят по коридорам Павел Александрович и закадыка, тиран и Марина Викторовна – и еще пятьсот человек – что там кипит жизнь, так не похожая на мою, что там пишется какой-то фантастический роман и что туда приезжал хитрый турецкий старик, утащивший мою книгу.

Когда у меня голова начинала болеть от непрерывного сидения перед монитором, я тащился на двенадцатый этаж и стоял у окна, глядя на факультет, на поле и на крыши ближайших домов. У горизонта город исчезал, уступая место широкой темной полосе леса, вставшей прямо в небо.

Первое время я приезжал в центр чуть ли не трижды в неделю – в обеденный перерыв. Сидел, водрузив солидный черный портфель прямо на стол, пил кофе и слушал закадыку. Если дежурили не знакомые мне новички, я просто сидел с важным видом и смотрел на поле. Поле не менялось. Оно с опаской поглядывало на подступавшие дома, но от этого только казалось еще уютней.

Павел Александрович был сильно загружен, разрывался между двумя телефонами и деканатом – а тут еще очереди из клиентов – и в итоге только два или три раза мы с ним могли нормально, обстоятельно поговорить.

Поначалу он спрашивал – не написал ли я рассказ, или, быть может, повесть, но мне думается, что спрашивал он это из вежливости, чтобы поддержать разговор. Я разводил руками, мычал что-то, ссылаясь на плотный график – и расспросы закончились. На тумбочке появился еще один журнал – с новым рассказом – который я выпросил и прочел у окна на двенадцатом этаже, в конце рабочего дня, когда солнце катилось к западу и застилало крыши оранжевым. Единственное окно факультета, которое я мог видеть отсюда, горело в оранжевых лучах, и казалось, что на краю поля сияет звездочка.

Рассказ меня, однако, не впечатлил. Он оставил какое-то тягостное, душное впечатление – и это впечатление слишком остро расходилось с теплым вечером и оранжевой звездочкой. Когда я возвращал журнал, Павел Александрович спросил меня о впечатлениях.

– Очень, – соврал я.

– Сейчас с публикациями беда, – сказал он. – Тиражи мизерные, как бы совсем не закрылись.

– Как ваш роман? – спросил я.

Он сделал удивленное лицо.

– Роман?

И развел руками.

– Есть кое-что, но очень сыро. Не знаю, что и думать.

Я пожелал ему всяческих успехов и выразил уверенность в том, что роман – каким бы сырым он ни был сейчас – ждет блестящая будущность.

Именно в этот момент я впервые заметил, что говорю с Павлом Александровичем как бы на равных – как будто мы с ним теперь находились в одной плоскости и могли стоять лицом к лицу. Мне стало не по себе.

Спустя еще несколько визитов я понял, что центр правовой помощи уплыл куда-то далеко от меня, что он живет по своим законам, в своем измерении, а для меня это измерение – закрыто. Все чаще мне было неловко – и остальным в моем присутствии, наверное, тоже было неловко. А если неловкости я не чувствовал, то казалось, что я сплю и вижу происходящее сквозь тусклое стекло.

Я стал приходить реже, а потом и вовсе прекратил – и заглядывал в центр только если бывал на факультете по учебе – так или иначе, а сессию приходилось сдавать.

Закадыка отлипнуть не мог от зубрилы и стал совсем невыносимым. Кроме того, из-за тирана у него возникли какие-то проблемы с успеваемостью, и ему стало совсем не до меня.

Новый год в центре праздновали в тот же день, что и в офисе. Офис гудел, корпоративили с размахом. Я уже окончательно влился в коллектив и чувствовал себя как рыба в воде. Я довольно быстро захмелел, мне торжественно вручили медальку «За правовую греблю», я станцевал какой-то дикий танец с прыжками и улюлюканьем и отправился бродить по коридорам – приходить в чувство.

Исходил вдоль и поперек наш этаж – за каждой дверью гремела музыка – я поехал на двенадцатый. Тут было тихо, только в самом начале коридора тянулось из-за стены глухое нестройное пение в несколько голосов. Я добрался до своего окна и распахнул его.

В меня тараном ударил поток ледяного воздуха – я даже зашатался. Стоял поздний вечер, почти ночь, сверху сплошной стеной сыпались хлопья снега. Повсюду горели огни, мигали гирлянды, все искрилось и тонуло в снежной круговерти – и если поле еще можно было различить, то стена факультета растворилась и исчезла. Сколько я ни щурился, я не мог ее разглядеть – и даже испугался.

Тарасился в окно, пока совсем не замерз.

Когда разъезжались, я попросил таксиста завернуть к факультету и долго стучался в стеклянную дверь, рискуя ее разнести. Таксист кричал что-то, опустив окно, но я от него отмахивался.

Наконец из темного мутного нутра выплыл, точно диковинная рыба, сторож. Он подплыл к самому стеклу, внимательно посмотрел на меня и показал мне кулак.

Я сделал умоляющее лицо. Он посмотрел еще внимательней, а потом защелкал замком и приоткрыл дверь.

– Ты сдурел? – спросил он. – Сейчас охрану вызову.

Я решительно потребовал, чтобы меня пустили в центр правовой помощи праздновать Новый год. И даже попытался протиснуться внутрь.

– Охрану вызову! – прикрикнул сторож. – Нет тут никого! Разошлись давно!

Я не поверил и снова попытался протиснуться внутрь. И тогда сторож поступил подло. Он посмотрел за мое плечо и сказал:

– Вон они, только ушли.

Я дернулся, развернулся всем телом и был уже готов кричать:

– Павел Александрович!

Дверь за моей спиной закрылась, замок щелкнул – дважды. Я ахнул. Я медленно повернулся, но сторожа за стеклом уже не было. Я различал темные очертания коридора, расходящегося в стороны, лестницу и гардероб, но сторожа не было.

Я на всякий случай несколько раз дернул ручку, а потом ко мне подошел таксист и сказал, что если я сейчас не сяду в такси, он уедет – и чихать он хотел на меня и на то, что я не заплатил, но в черный список он меня обязательно воткнет, и ни один таксист со мной больше знаться не захочет. В завершение он сверкнул глазами – и пошел к машине.

Я вздохнул и, повесив голову, побрел следом.

Начало года выдалось каким-то совсем уж юридическим – я не вылезал из арбитражного суда и при этом стал своим в кадастровой палате, архитектуре, налоговой, у нотариуса, и даже в юстиции смог примелькаться. Из центра правовой помощи ко мне продолжали захаживать мои старые клиенты – и, помимо прочих, та тетка, для которой я считал когда-то проценты по долгу. У нее была теперь небольшая фирма, и она каждую неделю прилетала ко мне с кипой документов.

Как-то раз она мне сказала, размешивая ложечкой кофе – мы встречались в крохотном кафе на первом этаже:

– Ну а что же ваш начальник? Пишет?

Я пересчитывал листы в очередном заявлении, слушал невнимательно и сперва решил, что она про моего нынешнего начальника.

– Да, конечно.

Она вздохнула мечтательно и стала смотреть в окно.

За окном мело – снега высыпало по колено, на припаркованных автомобилях росли сугробы.

– Все, – сказал я, складывая бумаги в папку, – все верно.

Я тоже посмотрел за окно.

– Но сегодня, боюсь, не успею. Если в понедельник?

– Да, конечно.

Она продолжала смотреть на снегопад, а мне надо было торопиться наверх.

– Здорово, когда у человека есть какая-то отдушина, – сказала она, наконец.

– Да.

– Я раньше... Как сказать... Живописью увлекалась, даже мольберт купила. Но как-то не вышло.

Я промолчал.

– А так хочется какую-то отдушину иметь.

Она посмотрела на меня.

– Может, мне тоже попробовать писать?

Я пожал плечами.

– У Павла Александровича, – сказал я, – это не отдушина.

– А что же?

Я задумался.

– Не знаю... Нечто большее.

Она поджала губы.

– Это он вам сказал?

Я снова задумался.

– Нет. Кажется, он такого не говорил. Но это же и так видно.

Она повернулась к окну, и минуту мы сидели молча, а потом я извинился и ушел.

В марте директор отправил меня в столицу – на тот самый форум, на который мы однажды

ехали втроем. Форум был ежегодный. И на этот раз я уже не клевал носом – быть может, потому, что всю дорогу спал, – и исправно конспектировал то, о чем говорили на сцене. Я искал глазами Павла Александровича или кого-то из центра, но никого не увидел. Впрочем, зал был большой, и всех разглядеть я, конечно, не мог.

Когда я в очередной раз оказался в центре, то увидел за окном кормушку для птиц. Она была аккуратно закреплена проволокой прямо на столбе – на уровне окна. Простенькая и очень милая. Дело было весной, и в ней белели семечки.

– Однажды прилетела сорока, – сказал закадыка.

Он осунулся и казался встревоженным.

– Когда пиво пойдем пить? – спросил я.

Он замахал руками.

– Какое пиво? Ни на что времени нет.

А ведь я только позавчера видел, как они с зубрилой под ручку по парку гуляют. Видел, но не подошел, разумеется.

Павел Александрович, напротив, выглядел бодрее, чем обычно. Его наградили какой-то грамотой за заслуги перед отечественной юриспруденцией и в сотый раз переиздали трактат об авторском праве.

– Пишете что-нибудь? – спросил я у него.

– Пишу, конечно, – бодро ответил он.

– Поделитесь?

Он хитро улыбнулся и подмигнул.

– В свое время – обязательно.

Ближе к выпускным экзаменам на меня обрушилось столько работы, что я взвыл. Теперь у меня времени не осталось ни на что – сидел, не разгибаясь, с утра до вечера, клепап договоры и зубрил доставшиеся от Наташки лекции. У Наташки почерк был немногим лучше, чем у турецкого старика, и я временами только что волосы на голове не рвал.

Но сами экзамены прошли на удивление безболезненно. Самым жутким, конечно, был тиран, но мне каким-то чудом достался единственный билет, который я знал назубок. У тирана то ли голова болела, то ли он не выспался – я отвечал одним из последних, и было видно, что он сам устал и хочет поскорее все свернуть.

Он посмотрел на меня своим леденящим студенческую душу взглядом и спросил:

– Четверка устроит или спрашивать?

Я закусил губу, чтобы не зарыдать от радости, и выпорхнул из аудитории.

А вот с дипломом вышел казус. Все нормальные темы разобрали в первые дни, и мне досталась такая дикая заумь, что и сказать нельзя. И Павла Александровича в руководители я за-получить не успел. Моим руководителем оказался какой-то дядька из Москвы, который к нам приезжал не чаще раза в месяц, не понятно, зачем вообще числился в штате, и с которым мы переписывались по электронной почте. Я нутром чувствовал, что мой диплом для него – такая же мука, как и для меня, и мы мучали друг друга по переписке месяца, наверное, три, пока не настал день защиты и я не проплыл сквозь заводь зауми, руководимый строгой, но способной на опереживание комиссией. Тут меня тоже ждала четверка, но совсем шаткая, перекосившаяся, на подпорках, и из аудитории я не выпорхнул, а вывалился, истекая потом.

Весь этот период прошел как в чаду – работа и учеба слились воедино, у меня голова звенела как колокол, и даже глаз начал дергаться. Закадыка метался в ужасе, тиран его за что-то невзлюбил и всячески третировал, а Павел Александрович пытался заступиться и хоть чем-то помочь. Центр, как только начались экзамены, закрылся для посетителей и вновь переквалифицировался в кабинет психологической поддержки – но мне это уже было непонятно, и я старался избегать «исповедей». В основном в центре сидел, выпучив глаза, закадыка, а зубрила его утешала и успокаивала.

Даже она возненавидела тирана.

– Это непрофессионально! – вспыхивала она.

А закадыка только качался на стуле и кивал.

Когда я выпорхнул с четверкой, он на меня чуть с кулаками не набросился, – он отвечал трижды и едва-едва избежал направления на пересдачу, удовлетворившись тройкой. У меня язык чесался над ним подшутить, сказать, что, мол, везет лучшим, но я решил, что это будет слишком жестоко.

Так, изгибаясь и громыхая, экзамены проплыли мимо нас, как причудливый сон. Впереди было торжественное вручение дипломов и выпускной.

Дипломы вручали со всей торжественностью – в актовом зале главного корпуса, под аплодисментами родителей – у моих глаза горели так, словно я нобелевскую премию брал, даже бабушка пришла и все полтора часа не отнимала платка от глаз. Гремели фанфары. Декан каждому – даже девчонкам – жал до хруста руку, говорил о том, что наше время – переломное, что сегодня как никогда нужны честные, молодые, горящие энтузиазмом юристы, для которых «идеал» – не пустой звук, а ориентир и камертон.

У выпускников был такой вид, словно их сейчас, сразу после торжественной части, погрузят в вагон и отправят куда-нибудь на север, в тайгу – это подступала к нашим умам Великая Неопределенность взрослой жизни.

Чтобы получить диплом, надо было постоять в очереди – прямо на сцене. Я, пока стоял, искал в зале знакомые лица. Вот родители. Бабушка утирает слезы. Вот Марина Викторовна, вот старик-криминалист. А вот и тиран – даже отсюда видно презрение в глазах.

Задрожал беззвучно карман – уже третий раз звонили с работы, очередное срочное поручение. Нашупал телефон и сбросил.

Назвали мою фамилию, я выступил из очереди, пересек сцену, услышал, как хрустят в моей руке декана мои пальцы, принял синюю книжечку, в которую втиснулись, скрипя, пять лет учебы, расплылся в улыбке и посмотрел в зал. Во втором ряду сидел Павел Александрович.

Потом сновали между кресел, обнимались, фотографировались. Какой-то смельчак полез с благодарностями к тирану, тот решил, что над ним вздумали смеяться. Забирались на сцену, спускались с нее, хлопали друг друга по плечам, перекидывались междометиями. Потом вывалились на улицу, нас всех шелкнули одним кадром, на память, мы еще раз хором вздохнули, и вдруг сотню человек словно ветром сдуло – у каждого были свои планы на два с половиной часа, которые отделили торжественную часть от ресторана.

Мы с закадыкой, например, побежали пить пиво.

Так и сидели, в костюмах, галстуках в том самом кабаке – с окнами на факультет – и пили посреди дня. Телефон разрывался.

– Может, тебя уже уволили? – спросил закадыка.

– Тогда бы не звонили.

Я взял трубку. Бухгалтер не могла найти на моем столе договор подряда. Я вежливо объяснил, что договоры подряда живут не на столе, а в соответствующей папке в шкафу, удостоверился в том, что пропажа найдена, и сообщил, что готов ответить на все вопросы, кроме одного: почему я сегодня взял день за свой счет?

Закадыка, между тем, зарился на второй бокал. Видно было, что он нервничает.

– А мы тут... – начал он, но осекся.

– Что?

– А Павла Александровича снова в журнал взяли.

– Здорово.

Стоял жаркий, ясный день. На наш столик падала целая скатерть солнечного света, закадыка задумчиво двигал бокал из стороны в сторону – и на его лице плясали солнечные зайчики.

– Как работа? – спросил он.

Я пожал плечами.

Он вздохнул.

– А я вот ничего подыскать не могу.

Я попытался его ободрить. Он выслушал и выдавил, краснея:

– А у вас там как? Нет еще местечка?

Настала моя очередь возить бокалом по столу. Разговоры о расширении шли, но как-то неуверенно.

– Пока нет, – сказал я.

– Ну, ладно.

Я допил первый бокал, закадыка – второй.

– Пойдем, – сказал я. – Хороший ты темп взял, нам еще на банкете сидеть.

Закадыка вдруг заерзал.

– погоди, – сказал он, – я же все сказать хотел.

Он набрал побольше воздуха, сделал важное лицо и медленно произнес:

– Мы решили пожениться.

Он это сказал с такой торжественностью, что я даже растерялся.

– Поздравляю, – сказал я.

Потом опомнился и схватил его руку:

– Поздравляю!

Потом встал, вытащил его из-за стола и обнял:

– Поздравляю!

Закадыка расчувствовался и шумно дышал. Я испугался, что он сейчас заплачет.

– Молодцы! – воскликнул я.

Хотя если бы мне светила перспектива стать мужем зубрилы, я бы, наверное, попросил политического убежища где-нибудь за границей.

– Еще по одной? – спросил он, усаживаясь.

Я ответил категоричным отказом. Мы немного посидели, обсуждая предстоящее событие – решить-то они решили, но подробностей пока не было – расплатились и стали собираться.

Когда мы прибыли, в ресторане уже было не протолкнуться, шум стоял невообразимый, две трети горящих энтузиазмом юристов, для которых «идеал» – не пустое слово, были уже порядком навеселе, среди них метался худенький прилизанный ведущий, поздравлял, жал руки и все норовил ухватить бокал-другой шампанского.

Юристки наши пришли точно на бал, шуршали платьями, цокали каблуками, и у каждой на голове вместо волос красовалось по башне. Зубрила сияла всеми цветами радуги, даже из башни выглядывали украшения, словно их там кто-то забыл. Она держала закадыку под локоть, во всеулышание называла «дорогим» и следила за тем, чтобы его тарелка не пустела.

– Как работа? – спросила она меня.

Я пожал плечами. Не думаю, что ей и впрямь была интересна моя работа.

– А меня берут в арбитражный суд, – сказала она. – Секретарем заседания.

– Поздравляю.

Только я хотел прибавить, что лучше самому доплатить, но не соваться в арбитражный суд, как раздался истошный вопль – это ведущий призывал всех к тишине.

И началось.

Ведущий пытался искрометно шутить, вызывал преподавателей – говорить тосты, выпускников – делиться впечатлениями, анонсировал танцевальные паузы и даже что-то пел. К тому моменту, как принесли жаркое, меня уже потряхивало от его голоса.

Между мной и закадыкой стояла бутылка коньяка, но зубрила как-то по-особому держала его под локоть, и он почти не пил – а мне приходилось отдуваться за двоих. Потом закадыка дважды куда-то выходил и во второй раз вернулся с диким взглядом, кренясь набок. Зубрила насыпала ему в тарелку лимонных долек, он звонко поцеловал ее и стал грызть дольки одну за другой – кривясь и краснея.

Кто-то из преподавателей взмолился на сцену и спел. Еще кто-то отобрал у ведущего микрофон и, чуть не плача, признавался, что такого замечательного курса у него никогда не было.

– И если бы только не одно «но»! – восклицал он.

Но что это за «но» и чем сулило отсутствие этого «но» – он не говорил.

Потом началось вообще что-то невообразимое. Ведущий стал по одному зазывать самых ре- тивых выпускников за сцену и наряжать их. Кончилось тем, что из-за сцены выкатился некто в костюме медведя, споткнулся и растянулся на паркете. Ему помогли подняться, все стали гадать, кто прячется под маской, а медведь пустился в пляс, перебирая лапами прямо по столам с едой, чтобы не рухнуть снова.

Я очень долго чувствовал себя совершенно трезвым, а потом вдруг понял, что сижу в кресле на первом этаже, а закадыка кричит мне в ухо:

– Вот по чему я действительно буду скучать, так это по центру! Не по тебе, слышишь! Не по тебе! Ты меня бросил, ты мне не друг! Ты нас всех бросил!

Мне стало очень обидно, я молча смотрел на него, а потом сказал что-то, встал с кресла и, качаясь, вышел на улицу.

Вечер был теплый и душистый. Напротив крыльца раскидывалась аллея, уставленная жел- тыми фонарями. Было уже совсем темно, по аллее бродили наши – прогуливались, сидели на скамейках. Из окон второго этажа доносилась музыка и крики ведущего.

На одной из скамеек сидел Павел Александрович.

– Можно? – спросил я.

Он подвинулся. Какое-то время сидели молча.

– Вас опубликовали, – сказал я, стараясь четко выговаривать слова. – Поздравляю.

– Спасибо.

Снова помолчали, а потом он сказал с внезапной горечью:

– Хотя какой в этом смысл?

По голосу я понял, что и он не совсем трезв.

Я возмущился.

– Как это какой? Огромный смысл!

Он махнул рукой.

– Огромный смысл! – повторил я. – Это же... Это же...

И я раскинул руки в стороны, словно что-то обхватывал.

– Тот старик, хитрый турецкий старик, он говорил, что вы... что вы – о-о-о!

Он снова махнул рукой. Потер ладонями лицо.

– Я пишу... очень давно. Лет двадцать. И что?

Я задохнулся:

– Как что?

Он скривился.

– Несколько публикаций, напечатанный студентами сборник... Это несерьезно.

Я даже расстроился.

– Вы что? – сказал я, – Вы зачем? Ну уж нет. Ни у кого не получается, а у вас ведь получается!

Мысли путались, я хотел что-то сказать, но никак не мог понять, что именно.

– Тот рассказ, – сказал я, наконец. – Про мальчика. На школьном дворе.

Он кивнул.

– Ведь это – о-о-о, – я снова раскинул руки.

Он засмеялся и хлопнул меня по плечу.

– Как работа? – спросил он.

Я повеселел.

– Хорошо.

– Вот и славно.

Кто-то высунулся в окно второго этажа и на всю аллею закричал:

– Юрфа-ак!

– Пойдем, – сказал Павел Александрович. – Поздно уже, скоро сворачиваться будут.

Мы встали и двинулись к крыльцу. Я шел мимо фонарей, мимо скамеек, и меня охватывало какое-то жуткое, томительное чувство – как будто я сейчас расстанусь с чем-то важным, дорогим, с чем никогда не собирался расставаться. Строго говоря, студенческая жизнь для меня закончилась с выходом на работу, но теперь она не просто заканчивалась, а как будто исчезала, растворялась. И мне стало так тоскливо, что даже ком к горлу подкатил.

– Хорошо вам, – сказал я Павлу Александровичу. – Мы вот уходим, а вы остаетесь.

Он хмыкнул.

На крыльце стоял, прислонившись к колонне, закадыка. Увидев нас, он закричал и бросился вперед.

Павел Александрович даже отпрыгнул в сторону.

– Прости меня, прости! – завыл закадыка, заключая меня в объятия. – Ты мой друг, друг!

А я скотина, скотина!

И все слова он повторял по два раза.

– Уйди, – прохрипел я. – Задушишь.

А он продолжал голосить:

– Это я тебя бросил, а не ты меня! Я! Друг ты мне, друг!

Вокруг собиралась толпа.

– Оттащите его кто-нибудь, – задохнулся я.

Но закадыка вдруг сам разжал руки и отступил на шаг.

– Да, – сказал он, глядя мне в глаза, – я поступил недостойно.

Все молчали.

– Но! – продолжал он. – Это все потому, – он повысил голос, – потому что я пьян!

Последние слова он выкрикнул так, что слышно было, наверное, даже на факультете.

Из-за его спины вынырнула зубрила. Она ухватила его за локоть и, причитая, потащила в ресторан. Закадыка не сопротивлялся – только запел что-то вполголоса.

А потом запускали воздушные фонари. Уж не знаю, что они символизировали – то ли наше студенчество, то ли нашу юность, то ли и то, и другое – но выглядело все очень трогательно. Четыре сияющих фонаря медленно поползли вверх, к ночному небу, бросая на столпившихся выпускников теплые отсветы. Пятый скривился в руках ведущего и чуть не загорелся, его облили минеральной водой, свернули и спрятали в пакет.

Я стоял рядом с трезвеющим закадыкой – у него были мокрые волосы и серо-зеленое лицо, зубрила подпирала его плечом – и смотрел вверх. На небе белели точки звезд, из-за облака выглядал шерватый месяц, а четыре фонаря плыли себе над кронами, все уменьшаясь и уменьшаясь.

– Поздравляю! – крикнул тоненько ведущий.

Ему никто не ответил, все смотрели на фонари. Несколько человек захлопали и осеклись.

С той ночи прошло около полутора лет.

Я врос в профессию если не по плечи, то по грудь уж точно. По узкую впалую грудь человека, не вылезающего из-за письменного стола.

Юриспруденция оказалась небоскребом с паутиной коридоров, по которой хоть сто лет ходи – всех закоулков не переглядишь. За одной дверью открывалась другая, за ней третья, за ней чет-

вертая – и так далее. Коридоры скрещивались, давали петлю, оканчивались тупиком. Я то стонал, хватаясь за голову, то с восторгом шептал себе под нос:

– Я – юрист.

Настоящий юрист, всамделишный, заправский (насколько можно стать заправским в такой смешной срок) – и мне уже казалось, что я только для того и был рожден на свет, чтобы закопать-ся во все эти ГК, ГПК, ЖК, ТК, СК и иже с ними.

В коридорах юриспруденции мне все чаще встречались знакомые лица – мои однокурсники бродили тут так же, как и я, – кто-то пугливо, на цыпочках, кто-то – громыхая и трубя перед собой. Прежняя жизнь, в которой почему-то не было этих коридоров, казалась маленькой, странной и полупрозрачной, а иногда казалось, что ее и не было вовсе.

Всякий раз, как попадал в арбитраж, заглядывал к зубриле – она вытянулась, похудела и теперь носила очки. Закадыке не везло – перебивался разовыми делами в какой-то консультации. Он, наоборот, растолстел и, кажется, стал ниже, чем раньше. Мы старались поддерживать дружеские отношения изо всех сил, но они все таяли, таяли против нашей воли – и как-то вдруг растворились, разом, и никто уже ни на кого не обижался. Он придумал себе досуг – при первой возможности собирал удочки и ехал рыбачить. Звал меня, я даже раз или два соглашался – но не проникся и потом всякий раз искал повод для отказа. Встречаясь, мы говорили только про факультет, вспоминали учебу, центр – а новых тем не появлялось. Я смотрел на него и думал, что у нас была очень хорошая дружба и, вероятно, когда-нибудь мне будет очень жаль, что она закончилась.

На факультет я первое время после выпуска зачастил – выпускной всколыхнул воспоминания, переживания. Сидел в центре, пил кофе, общался с Павлом Александровичем – но все время чувствовал какую-то тяжесть; и с ним мы тоже в основном вспоминали – а если заводили речь о профессии, то вдруг как будто превращались в двух совсем других людей – и уже они говорили между собой, а я только смотрел, слушал и молчал, как будто из-за стекла. Разговоры о творчестве свелись к дежурному:

– Как пишется?

– Ничего.

– Когда ждать роман?

– Завтра. Или послезавтра. Или через год. А может, никогда.

И на этих словах Павел Александрович выдавливал из себя усмешку.

Да и многие в то время гостили на факультете – всякий раз я встречал сразу нескольких однокурсников. Но я еще перед выпускным заметил, что Наташка сперва стала бывать куда реже, а теперь и вовсе не появляется – и был готов к тому, что и меня рано или поздно постигнет та же участь.

И со временем – постигла. Я проезжал мимо факультета по два раза на дню, но заходил крайне редко, или даже не заходил, а топтался минуту-другую на крыльце, сидел на скамейке – и ехал дальше.

Вдобавок ко всему мы сменили офис, я не мог уже в любой момент рвануть на двенадцатый этаж, к окну – и вместе с этим, кажется, оборвалась последняя тоненькая нить, органически связывавшая меня с alma mater.

Но спустя полтора года после выпускного, зимой, когда я и думать забыл о факультете, – появился вдруг повод бросить все и нестись в центр правовой помощи с гиканьем и свистом.

Поводом стал альманах современной фантастической прозы, обосновавшийся на одном из стеллажей нашего книжного. Смешно сказать – я совершенно не помню, зачем вообще зашел туда; все мое чтение вмещалось в рассылку справочной системы. Однако же я оказался в книжном, и между этажами меня встретил, сияя своей улыбкой, хитрый турецкий старик. Ну, как встретил? Его фотография встретила. Его фотография как-то ловко крепилась к стенду, была закована в пластиковую рамку – чтобы не унесли, не иначе – старик сидел за столом и улыбался. В руках он держал книгу, которую демонстрировал объективу; из-за одного его плеча вы-

глядывало чучело совы, из-за другого – окно с видом на море. Прямо поверх старика, бежали кислотного цвета буквы:

«Альманах современной фантастической прозы».

И ниже:

«Составитель – такой-то».

Такой-то – так, вероятно, звали моего знакомого.

Тут же, на стеллаже, стояли в ряд несколько солидных альманахов. Я взял один в руки.

Обложка представляла собой что-то несусветное – друг на друга громоздились звезды, планеты, космические корабли. Все это накрывала вуалью прозрачная карта какого-то материка, во все стороны неслись буквы и символы, у меня с непривычки в глазах зареяло. На обороте было то же самое, но добавлялась фотография старика, два восхищенных отзыва и сплюснутый абзац аннотации.

Из аннотации становилось ясно, что старик является составителем альманаха и что у него есть какие-то там заслуги перед отечественной фантастикой, раз его мнению настолько доверяют.

Фотография на обложке была та же, что и на стенде, и если бы старик держал книгу на ней обратной стороной, получилась бы презабавная старикинская бесконечность.

Еще до того, как я полез в содержание, я знал, что Павел Александрович – там. Но у меня все равно дыхание перехватывало – до того я разволновался. Сначала мне стало жарко, потом холодно, а потом мне показалось, что стеллажи вибрируют.

Я неуклюже тер пальцами уголки страниц в поисках содержания.

Вот и оно.

А вот и Павел Александрович.

У меня сердце чуть не выпгнуло из груди, было такое чувство, словно это мой рассказ напечатали в книге и теперь продают, вот так, на одной полке с... ого-го с кем.

Этого рассказа я прежде не видел. Он был приличным по объему и начинался с чьей-то короткой реплики:

– Ты совершенно права.

Я закрыл книгу. Вцепился в нее обеими руками. На нетвердых ногах спустился по лестнице, подошел к кассе. Расплатился. Направился к двери.

За дверью меня ждал тихий зимний вечер. Было совсем светло: горели фонари, горели в домах окна, горели фары проползающих мимо автомобилей, горели белизной сугробы вдоль тротуара. В небе горели звезды, и луна выглядывала из-за крыши, тоже похожая на сугроб – сияющий. Щеки защищало от мороза, я выдохнул облачко белого пара и прижал попку к груди.

В одном месте на тротуаре была протерта черная ледяная полоса – и вокруг нее сновали дети: разбегались, скользили, падали с хохотом.

Мне страсть как захотелось прокатиться, но дверь за спиной отворилась и в меня врезалась пышная дама с огромной сумкой. Я чуть с крыльца не упал.

– Просите, – сказал я, улыбаясь, как дурак.

– Прощаю, – сказала она и пошла по тротуару.

Я передумал кататься и пошел к машине – улыбаясь.

Дома я прочел почти половину альманаха – но рассказ Павла Александровича почему-то не трогал. А утром, показавшись на работе и проверив почту, я набрал себе поручений в городе и помчался на факультет.

День был какой-то бело-серый. Толстым слоем лежал на всем мягкий рассыпающийся в руках снег, а небо было затянуто облаками – и от этого все вокруг казалось тихим и спокойным.

Неспокойным, кажется, был только я – я даже напевал что-то себе под нос. У меня было прекрасное настроение, такого воодушевления я не испытывал, наверное, никогда.

Факультет лежал под снегом, как под одеялом, и казалось, что он лежит на боку, что вот растает снег, и он распрямится, вытянется вверх. Он выглядел совсем игрушечным среди высоток, стоящих вдоль дороги. Я подумал, что когда-нибудь настанет день, который предсказывала тетка

с процентами, – из-за макушки факультета покажется каркас новой стройки, а потом над ним нависнет гигантский дом, и не факультетом уже будет заканчиваться дорога, а домом – и всем будет казаться, что эта смешная хибарка с широкими окнами здесь возникла как-то случайно, некстати, и что ей, конечно, здесь совсем не место.

Но даже это не могло омрачить моих мыслей – все виделось чем-то очень далеким, чем-то, чего я уж точно застать не смогу.

По дороге в обе стороны брели редкие фигурки студентов. Я ехал мимо, и не мог понять, что же в них есть эдакое, что сразу отличает их от меня, Наташки, закадыки и прочих, *взрослых* людей.

Припарковался перед клумбой, на которой рос горбом сугроб. Взял книгу. Проскрипел по снегу до крыльца, толкнул стеклянную дверь. Справа, в окошке, показалось лицо вахтера – он сразу меня узнал, прищурился через очки, потом кивнул и отвернулся.

За стойкой гардероба, в лесу из курток, сидела гардеробщица – та же самая. По лестнице шел старик-криминалист – тот же. Шел медленно, перебирая какие-то документы. Светился особенным, зеленоватым светом холл, уплывал в стороны, темнея, коридор.

И тут...

И тут – зазвенел звонок.

Я аж подпрыгнул. Наверное, это был какой-то новый звонок – куда громче старого.

По факультету пронесся гул, точно земля вдруг затряслась. Гул нарастал, разворачивался – и разом, как по команде, со всех сторон, изо всех углов хлынул на меня поток галдящих, кричащих, смеющихся студентов. Тысяча голосов сплелась в один огромный клубок, и он все рос, рос – пока не заполнил холл до самого потолка. Казалось, стекла вот-вот начнут трескаться.

На какую-то секунду я решил, что оглох.

А вокруг меня бурлил настоящий поток. Распахнулись двери, и, чтобы меня не вынесло на улицу, я должен был юркнуть к гардеробу. Поток менял свое течение, рассыпался на волны и вихоры и пребывал в непрестанном движении. Тут наверняка были свои гольфстримы и лабродоры, свои марианские впадины и мели. Одну мель я знал – и ринулся к буфету. Меня отбросило, я чуть не повалился навзничь, но не на того напали – ринулся снова, кому-то наступил на ногу, кого-то толкнул плечом, у кого-то выбил из рук конспекты, чуть не уронил книгу, но оказался таки у деревянной стойки, за которой прятались сосиски в тесте, пирожки с капустой, шоколадки и прочая студенческая снедь. Меня тут же повлекло в сторону новой волной, повсюду мелькали шечи, шевелюры, носы, воротнички, портфели, гам стоял невообразимый. Меня повлекло – но я вцепился в стойку, как в борт лодки, а потом, прижимаясь к ней грудью, перехватывая руками, зажав альманах под мышкой, дополз до высокого столика, самого дальнего, укромного, у окна, и навалился на него, как на спасательный круг.

У столика стояла девчушка с чашкой чая и кругами вокруг серых глаз. Она посмотрела на меня с испугом.

– Привет, – прохрипел я.

– Привет, – ответила она и упорхнула.

Я обогнул столик и положил на него руки – так, чтобы никто уже не мог напроситься мне в компаньоны. Я был – в думом пуховике, и руки мои казались огромными, а я ими еще и книгу держал. Я как-то изогнулся и расстегнул пуховик, ослабил шарф.

И только тогда выдохнул.

Меня толкали, задевали, оттоптали все туфли, но я держался и уже не боялся утонуть. Даже получалось вычленять из грохота волн отдельные реплики.

– Гражданское!

– Диплом!

– Конференция!

– Семинар!

Казалось, что это чайки носятся над бушующим морем и что-то кричат.

За окном было то же самое – студенты сновали туда-сюда с дикой скоростью, как муравьи, мельтешили, путались, двоились, исчезали и пропадали.

И ни одного знакомого лица. Как будто меня не было тут лет двадцать.

Я стал скользить взглядом вокруг себя – никого. Вот кто-то похожий, но нет, не он. Вот... нет.

А потом я поднял глаза и увидел, что на втором этаже, облокотившись на перила, стоит старик-криминалист и устало смотрит в окно над моей головой. Он стоял в самом сердце бури, над гремющей бездной, студенты осаждали перила, хватались за них, опирались, свешивались, крича друг на друга, а криминалист стоял себе и смотрел задумчиво в окно. Его взгляд казался канатом, натянутым между утесами, за него можно было ухватиться и перебраться с одного на другой.

А потом по лестнице спокойно спустилась Ирина Васильевна из деканата.

Не сбегала, озираясь, боясь быть унесенной, а просто спустилась.

А потом на той стороне, по коридору, прошла, разговаривая, как ни в чем не бывало, с лаборантом, Марина Викторовна.

И эти странные люди, пресловутый «педагогический состав», вдруг стали похожи на колонны, стоящие посреди моря. Море сыпет волнами, кипит, вращается, а они стоят и только на солнце сверкают. А если идет снег, то их так присыпает немножко, серебрит.

А потом мне представилось, что и я – часть этого моря, что я сам – соленая вода, бьющаяся то о берег, то о колонны. Что меня тянет за собой луна, и от этого я перекатываюсь из волны в волну, рассыпаю пену.

А им вот луна нипочем.

Снова зазвенел – совсем тихо – звонок. Море содрогнулось, замолчало, но тут же взревело с новой силой – и студенты, сталкиваясь, понеслись во все стороны, подхватывая на бегу тетради и опрокидывая залом дымящиеся пластиковые стаканы.

Через минуту воцарилась тишина.

Я еще немного постоял, глядя по сторонам. В ушах звенело, я с трудом мог поверить, что когда-то спокойно чувствовал себя в этом хаосе.

В следующий миг я с трудом мог поверить, что этот хаос вообще был – до того вдруг стало тихо.

Я сжал книгу в ладонях, сполз со столешницы и медленно пошел к лестнице. Каждый мой шаг отдавался глухим эхом. Пролет, квадратная площадка, стенд «Жизнь студенческого актива», еще пролет.

Вот я и наверху.

Диванчики, пышные фикусы, расписание. Смешная доска «Их ищет деканат». Под расписанием, на плитке, лежит одиноко синяя шариковая ручка – кто-то выронил в спешке. В обе стороны расправляет рукава коридор с вечно горящими бледными лампами. Ряды закрытых дверей. И кажется, что за дверьми – ничего нет. Стена или поле, или такой же коридор, и так до бесконечности.

Даже деканат закрыт.

Я обернулся, положил ладонь на теплое дерево перил – лакированное, и от этого кажущееся липким. Поймал на себе взгляд гардеробщицы, улыбнулся.

За широкими окнами – серая дорога, стиснутая с обеих сторон, клумбы с сугробами, ползет сверху редкий снежок, машину мою уже припорошило, припудрило, надо будет помахать щеткой.

– Прогульщик? – спросила гардеробщица.

Смешно спросила. Не «прогуливаешь?», а «прогульщик?». Как будто это такой чин, звание, можно и не прогуливать, но оставаться прогульщиком.

Я пожал плечами, повернулся и пошел к центру.

Постучал.

Тоненький голос ответил:

– Войдите.

Я потянул ручку.

В центре ничего не изменилось – вообще ничего. Как будто я здесь был вчера, все на своих местах, с закрытыми глазами что угодно найду.

Вот триумфальная тумбочка. Альманаха не видно. Вот столы, стулья, казенные чашки, которые лень мыть. Белое поле, белое небо, падает снежок – и кажется, что одно перетекает в другое. На той стороне – щетина деревьев и прямоугольники домов.

И бледный щербатый столб перед самым окном.

Павла Александровича в центре не было. За моим компьютером, сидела, съездившись, девушка с чаем, та самая, которую я спугнул за столиком. Серые глаза, темные круги. Она смотрела на меня едва ли не с ужасом.

– Здравствуйте, – сказал я.

– Здравствуйте.

Первый курс, не старше.

Я крикнул, прошел мимо нее, обогнул стол Павла Александровича и уселся в кресло.

Теперь я не сомневался – она смотрит с ужасом.

– Я тут это, – сказал я, – подожду.

Она кивнула.

Компьютер был выключен, я наклонился, нащупал кнопку. Раздалось знакомое гудение.

Девчушка защелкала мышкой, несколько раз стукнула по клавиатуре, потом снова уставилась на меня. Я молчал и смотрел в монитор. Она отвернулась.

На столе стоял новый артефакт – изумрудного цвета яйцо на изящной трехногой подставочке. Я осторожно взял – тяжелое. Вернул на место.

Я обернулся – вот и Наташкин цветок, сидит себе в горшке, смотрит на поле. Поле гладкое, ровное, точно белое озеро, и снежок совсем редкий, еще чуть-чуть – совсем перестанет, и тогда будет казаться, что время остановилось, что все застыло, уснуло.

– Простите, – подала голос девушка.

Я повернулся.

– Марины Викторовны сегодня не будет.

Я пожал плечами.

Девчушка замолчала, взяла со стола ручку, повертела ее, положила обратно. Посмотрела в монитор и снова повернулась ко мне.

– Простите.

– Да?

– Я могу вам чем-то помочь?

– Вряд ли.

Пауза.

– А кого вы ждете? Сегодня уже никого не будет.

Эта новость меня расстроила. Я уже сочинил для Павла Александровича торжественное поздравление.

– И Павла Александровича? – спросил я.

Девчушка нахмурилась.

– Павла Александровича?

– Да.

Она встряхнула волосами.

– Так он же это, – она кивнула на дверь, – уехал.

Настала моя очередь хмуриться.

– Уехал?

– Да.

– Уволился?

– Нет.

– Отпуск?

– Академический.

Я откинулся в кресле и уставился на часы.

В соответствии с действующим законодательством работники сферы образования имеют право на такую штуку – академ. Уходят в отпуск на год, а место за ними сохраняется. Оплачивается или нет – зависит от того, что написано в коллективном договоре.

За дверью раздались шаги, послышались голоса – они приближались, приближались, потом стали удаляться.

Я смущенно кашлянул и встал.

– А куда он уехал, вы не знаете?

– Не знаю.

– Не в Европу?

Она покачала головой.

– А у меня тут его книга... – грустно сказал я зачем-то и показал на альманах.

Девчушка сделала удивленное лицо.

– Вы читали его рассказы? – спросил я.

Она кивнула.

– И как вам?

– Очень хорошо.

Я открыл книгу, нашел оглавление и повернул к ней.

– А этот читали?

Она прищурилась.

– Нет.

– И я нет.

Я закрыл книгу и подошел к двери.

– Извините, – сказал я.

– Ничего.

И она улыбнулась – очень мило, надо сказать.

– Ну, до свидания, в таком случае.

– Всего доброго.

Я опять кашлянул, толкнул дверь и вышел.

В коридоре было тихо. Я развернулся, приоткрыл дверь и заглянул внутрь:

– Простите, – сказал я.

Девчушка выглянула из-за монитора.

– Выключите компьютер, пожалуйста, – я показал на компьютер Павла Александровича.

Она кивнула.

Я сделал шаг назад и медленно закрыл дверь.

Медленно прошел я до лестницы, медленно спустился в холл, медленно пересек его, попросился с вахтером, с гардеробщицей – она покачала головой – и вышел.

Слева, у лавок, топтались несколько студентов, вдалеке, на том конце дороги, мелькали автомобили, с неба спускались последние, едва заметные снежинки.

Я постоял на крыльце, переминаясь с ноги на ногу, обернулся, посмотрел сквозь стеклянную дверь на часы в холле, потом на книгу – и зашагал в сторону, вдоль окон.

Я прогарцевал мимо поточной аудитории, ловя на себе завистливые взгляды, мимо лаборантской, мимо библиотечки, в которую никто из студентов не заходил, и свернул за угол.

Вот и тот самый белый бок, который я наблюдал с двенадцатого этажа. Узкое окошко под крышей – оранжевая звездочка – сугробы, норвящие привалиться к стене. В одном месте из сугроба торчит пластиковый стакан – и в нем тоже снег.

Было тихо, я слышал каждый свой шаг. С крыши свисали тонкие прозрачные сосульки. Вот и поле.

Пока я шел, последние снежинки приземлились, и все застыло. Поле лежало передо мной ровное, белоснежное, задумчивое.

Я двинулся мимо окон – спокойно, глядя перед собой.

В аудиториях было светло, теплился желтый свет ламп, а по эту сторону царила какая-то фантастическая белизна. Здесь снег почти не чистили – и я тут же загреб полные туфли.

Чем дальше я шел, тем глубже был снег – дважды я порывался вернуться, но было неловко перед студентами, перед которыми я только что так важничал. Перед заветным окном – нынешнего архива – снегу было чуть ли не по колено, я старался шагать как можно шире, поднимал ноги, как цапля, и размахивал руками, чтоб не упасть.

Со стороны могло показаться, что я пытаюсь взлететь.

Тишина стояла – невероятная. Если бы не скрип снега под ногами, я бы решил, что оглох.

В архиве было темно. К самому окну прижимались стеллажи, забитые пухлыми папками.

Я привстал на цыпочки, оперся о подоконник и ткнулся носом в стекло, всматриваясь. Папки громоздились друг на друга, трещали по швам, из них выглядывали неряшливо белые уголки. Стеллажи шли один за другим двумя тесными рядами, между ними оставался небольшой узенький проходик, и в этот проходик – у меня даже глаза заболели от напряжения – можно было разглядеть дверь, а в двери кружок глазка.

На меня нахлынула такая тоска, что я отпрянул. Кому нужен теперь этот глазок? Кто в него смотрит?

Я обернулся. Все молчало – поле, небо; ни звука, ни ветерка. Даже стройки на той стороне затихли. У меня перехватило дыхание. Я открыл книгу, нашел рассказ Павла Александровича, и читал его в полной тишине, а когда прочел, почувствовал, что ужасно замерз – ноги закоченели.

Я закрыл книгу и уже собрался уходить – но вдруг вспомнил про розу ветров.

Заглянул под скат подоконника – вот она, родимая. Неровная, будто испуганная, усыпанная какими-то бледными царапинами – ключ соскальзывал – даже немного заваленная вбок. Не чета той, наверху.

И все же – так радостно было смотреть на нее; если бы не холод – сел бы и смотрел. Я оглянулся по сторонам – никого? – а потом наклонился и неловко поцеловал ее. Губы обожгло ледяным шершавым камнем. Я тут же выпрямился и завертел головой – точно ли никого?

Никого не было. Вокруг меня клубилась густая беззвучная белизна, уплывающая вдаль и выгибающаяся шатром. Хотелось коснуться этой белизны, втянуться в нее, полететь сквозь нее.

Я с минуту еще стоял, раздумывая: в какую сторону пойти, чтобы вернуться?

Наконец решился – и пошел.

Физическое учение о росе

В том октябре, мама,
здоровье твое
стало угрожающим образом ухудшаться.
Медленно, но непрерывно,
жизнь покидала тебя.
Но именно потому,
что ты не оставляла надежды поправиться –
ты ведь так не хотела расстраивать нас, –
предстоящую смерть я оплакивал больше,
чем саму смерть.

Болезнь
не решались называть по имени.

Ее можно было бы называть, в принципе,
«лист крушины»... Или – «цветок безвременника»...

В подобных случаях врачи прописывают терпение.

Не в силах подавить слёзы,
я ринулся очертя голову в осень,
презирая то,
что более для тебя не существовало.

Прохожие шарахались в стороны, недоумевая.
Как подкошенный, сраженный отчаянием,
я чуть не бежал.
Я и сам не помнил, кто я.
Возвратившийся из царства мертвых пьяница?
Славный испытатель естества, отдавший инстинкту
невидимой Мнемозины – бабочки, не знающей,

Юрий Гудумак родился в 1964 году в селе Яблони Глодянского района Молдавии. Окончил геолого-географический факультет Одесского университета, работал в Институте экологии и географии Академии наук Молдавии. Автор восьми поэтических книг. Стихи переводились на английский и румынский языки. Публикации в литературных изданиях «Волга», «Новая Юность», «Литература», «TextOnly», «Воздух», «"Цирк Олимп" + TV», «L5», «Полутон», «Новый Берег», «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки» и др.

к какому цветку прильнуть?
Просто обуреваемый ветрами?

Последние теплые дни
потом взаправду сменились ненастьем
с холодом, слякотью и ветрами.

А зимою тебя не стало.

Воздух запредельных зимних пространств
наступает на нас треугольным клином
самородного нашатыря.
Но и сейчас, два года спустя,
очнуться на мгновение от дурноты –
недостаточно для того, чтобы привести себя в состояние
употребить на что-то еще весну.

По распознанным мною
сухим экземплярам растений
я еще помню,
как в зеленый синят из желтого.
Физическое учение о росе,
о котором талдычит вечер,
в грубых,
сподручных моим понятиям формах объясняет,
сколько нужно иметь флегмы,
чтобы покрыться ею.

В руках я держу
старый потрепанный паспорт
деда Боровского, твоего отца,
выданный ему уже в далеком от нас
79-м, лишь незадолго до смерти,
очевидно –
чтобы куда-нибудь да приткнуть
этого неугомонного странника,
и потому – более чем понятно –
после смерти
не востребованный обратно.

На одной из страниц,
помеченных серией VIII-БМ № 567322,
я сумел разобрать твой почерк:

*23 октября 2009 года
...Анальгин, димедрол
4. Таблетки 1х2 раза
промедол (тримеперидин)
(утром и вечером)*

Зерна пылицы

Если и вправду
мы мыслим время как однородную величину
в силу смешения конкретной длительности
с пространством – действительно однородной величиной,
то однородной как совокупность мест
нашего в нем отсутствия.
Собственно, этим пространство
только и может еще вызывать интерес
у (меня как) географа.
А наше сельское кладбище –
по нынешним меркам, впрочем, весьма просторное –
как для фешенебельных смертных –
оказывается к тому же
и самым гостеприимным.

Конечно,
дело не в недостатках памяти.

С годами
воспоминания о тебе
искажаются этой бессущностью,
как ее ни кромсай на календари, однородной длительностью,
отделяющей те события от момента их изложения здесь,
как лицо – гримасою скорби.

И речь даже не о звездообразных пучках
кожных складок – «гусиных лапках» – у края глаз
или выцветании радужной оболочки глаза
и прибавлении седины,
а о самом по себе колоссальном –
вертикально-клинообразном –
вытягивании лицевого скелета
вследствие чрезвычайного развития
такого рода мимической мускулатуры.
Плюс нижняя челюсть
гигантской белки посягающего сухарями
могла бы порадовать (меня как) зоолога.

Вот по крайней мере то,
что требовалось доказать.
Хотя бы уже потому, что лицо растет
в течение более продолжительного периода, чем череп,
и может подвергаться различным влияниям
позднее, чем последний.

Тем более –
если отсчитывать от того рахитичного деревца,
каким я рос в детстве.

Поначалу,
чего тут скрывать,
у меня не получался даже крик радости или ужаса,
с которым появляются на свет дети.
И первый признак жизни ребенка,
я знаю это с твоих слов,
походил на беззвучный плач.
Теперь я уже не удивляюсь тому,
что рано начавшая развиваться
физиогномическая особенность
стоит значительно ближе к ископаемым видам
на старых фамильных фотографиях дедушкиных времен, –
но первая, столь затрудненная попытка дыхания
должна была, естественным образом,
иметь единственный,
тот же, смысл.
Понятное на всех языках «ма-ма»
не требует перевода. Как не требует перевода
«шют-шют» зяблика,
«пиик» зимородка.

До сих пор
я хочу тебе что-то сказать.
И тем самым – искупить
прежнее то молчание.
Даже распустившийся после зимы первоцвет,
даже несколько зерен пыльцы
существуют не для того, чтобы утишить боль,
но вытрясти из меня неведомые признания.
Как озноб или лихорадка.

Трактат о свете

К тому,
чего я коснулся сейчас,
я должен был перейти
лет через тридцать.
Из них последние пять
я оставил бы за собой для того,
чтобы подготовить свой ум к невозможному.
Потом, как минимум, столько же
употребил на осознание того,
как с этим жить.
Но и тогда бы
мысль о твоей преждевременной смерти
должна была изогнуть себя
в странной судороге.

Изнуренный долгою зимы,
я мог бы вполне допустить,
что так старик подает еще признаки жизни,
покамест температура мышц,
влияя на скорость их сокращения,
не достигнет значений, достаточных для того,
чтобы удерживать в мерзлых пальцах перо.

Солнце,
как испорченное вино,
плохо разжижает кровь.
И к написанию этого трактата о свете
меня подвигает скорее убежденность в необходимости
(для кого? для чего?), чем ощущение способности
выполнить такой непосильный труд.

Холод действует
на недостаточно согретого и накормленного
совершенно так же, как голод,
и уже теперь
превращает меня в старика.

При том что все прочие чувства,
слух, обоняние, вкус
и даже общая чувствительность
в старости притупляются,
не ведая дат,
я все же еще различаю дни:
не иначе чем
зрительный нерв ощущает не боль,
а ослепительный свет.

Резкое уменьшение
потребности в пище и обмене веществ –
так клали умершему в рот сырое зерно –
физиологически можно было бы объяснить
низкой облачностью и мрачной погодой,
пребыванием в темноте без огня
долгими зимними вечерами,
или, соображаясь с данностью, –
интенсивными умственными отвлечениями и картинами –
вроде того как наиболее эволюционно продвинутый цветок
отмеряет фотопериоды.

Еще того проще –
но надо ли? –
его можно было бы объяснить болезнью,
о которой предосторожность воспрещает мне
говорить.

Без тебя,
мама,
я чувствую себя лишенным всего,
ни в чем более не нуждаясь.

Осознания этого
более чем достаточно для того,
чтобы дать себе труд усвоить,
что подобные умственные отвлечения
заодно с темнотой и тогда,
когда после долгого зимнего заточения
я выхожу, как старик, погреться
в бодрящих лучах весеннего солнца,
приводящих меня в фантастическую связь
с чем-то вроде
...листьев люпина,
цветов подсолнуха.

Pharmacon

I

Томное,
прилежанием умаянное,
летание бабочки-многоцветницы
предвещает дождь.
Тончайшие крылья ее,
испещренные сетью жилок,
эти непомерно увеличенные, по мнению многих анатомов,
расширения кожи вокруг дыхательных отверстий,
с трудом рассекают тяжелый,
насыщенный дрожащими испарениями,
перламутровый воздух
...и вот-вот превратятся в жабры.
Зобатый голубь
выдает определительный признак свой
за плавательный пузырь.
Крыло стрижа – если еще не плавник, то уже не парус.
Об осеннем нашествии килегрудых
можно не говорить.

Стремительный,
почти до кессонной болезни, барический перепад –
и черепная коробка не более чем подобие анероида:
зрачок расширяется,
и обрамляющая его радужная оболочка
из голубой становится серебристою –

как у рыбы.
Послушать анатомов,
так нет ничего проще и понятнее:
водянистая влага глаза
совершенно, говорят, бесструктурна.
Но и она наворачивается на глаза
растущей водорослью слезы.

2

Лишь много позже
я действительно понял:
сначала воздухом дышат,
а потом его пьют.

Тогда ты уже не поднималась с постели.
И не ела ничего, кроме двух-трех ложечек
какой-нибудь кашицы ...дольки мандарина
...нескольких гранатовых зернышек.
Время от времени
ты еще проглатывала немного воды.
А потом, погрузившись в беспамятство, ты спала.
В последующие дни мы лишь прислушивались
к твоему дыханию.
Но перед тем...
Перед тем, как сделать
последний вдох, ты открыла глаза.
Тогда-то я и увидел, как умирают люди:
как если бы захлебнувшись небом.

«...Почувствуй!» –
слышу я до сих пор твой голос.
Нет – пью! как целительное изречение,
растворив его снова в воздухе.
Драгоценное снадобье,
без которого весь этот платоновский *pharmacon*,
обрекающий на застывшую угрюмость хорошей погоды,
оставался бы просто пойлом,
аспидно-лазурным зельем.

«...Почувствуй!» –
вновь окликаешь ты, показывая куда-то
в головокружительную высь.

3

Это был один из не омраченных
печалью дней, безмятежных,

освещенных лучистообразными листьями
редкого для меня в те годы
каникулярного солнца.

Отозвавшись,
я вышел во двор.

Небо с юго-запада,
почти до зенита, охваченное стихией
внезапно налетевшего гигантского вихря,
затягивалось удивительной
иссера-розовой пеленой.

Не то чтобы
феерическая воздушная картина
надвигающейся грозы, не то чтобы она, вспоминая я,
была написана слишком жидкими,
слишком текучими красками...
Это была почти другая субстанция.

Но не воздух.

Для нас, если угодно, –
обратная сторона воздуха.

Густой ароматный настой которого,
казалось, вмещал в себя
растительную экзотическую фармакопею
всех вместе взятых островов Средиземноморья:
буквицу Эскулапа, вербену кентавра Хирона,
шалфейно-тимьянные запахи, приправленные
камедью длинноиглистых пиний...
чтобы – еще мгновение? – и пролиться –
как знать? – сседившейся каплей цикадового,
настоянного на полынных травах, вина?..
вязкого меда с пыльцой?..

...Сбивая с толку
органы чувств, сместив все пороги
чувствительности...

Ибо я бессознательно ощутил,
как то, что должно якобы составлять
принадлежность обоняния,
...хлынуло прямо внутрь.

ПАЛЬТО

Рассказ

Фонарь на железнодорожной станции был очень стар. Его почернелое бетонное тело покрывали глубокие трещины, из которых выступала арматура, будто кости. И чтобы усталая плоть фонаря окончательно не распалась, его сверху донизу стянули железными скобами.

Они уже успели заржаветь.

На одной из них, на высоте поднятой руки, висело пальто.

А с утра и весь день густо сыпал дождь, и висевшее пальто, наверно, было самым вымокшим пальто во вселенной.

Рукава его набухли влагой и отвисли. И карманы отвисли и распухли, будто набитые комками газетной бумаги.

Но вместо бумаги там была вода.

Вода просачивалась сквозь темные ткани пальто и веером капель стекала с рукавов и подола на асфальт.

Вечером дождь перестал и задул ледяной ветер. Подбирались ночные заморозки.

Кристаллы льды покрыли асфальт. И фонарь тоже заблестел льдом. И пальто стало не сразу, но ровно замерзать, коробиться и деревенеть в своих складках и отвисших формах, а потом рухнуло вниз. Это наконец лопнула петелька, круглый день жертвенно и бессмысленно удерживавшая пальто на болте, стягивающем фонарную скобу.

Под жидким лучом фонарного света пальто привалилось к столбу будто пьяный прохожий, не справившийся с дорогой и припавший на колени, и опустивший голову, и почти уснувший.

Собственно, и все.

– Да нет же, не все! Афоня, вставай, пьяный дурак, замерзнешь!

Кто это сказал? Привалившийся к столбу бомж Афоня вздрагивает, пытается встать, на коленках отползает от фонаря, наконец привстает – и в зубовном стуже и костном хрусте, в утробном рыке и мычании вразвалку бежит от холода в спасительный, но еще такой далекий люк тепло-трассы на пустыре за многоэтажками.

Еще три квартала! Два! Теперь поворот! Д-д-д! Это зубы стучат. Вот он наконец, этот люк, вниз, брык, в теплую вонючую темноту, там Люська дрыхнет на дырявом матрасе. Другой матрас заслоняет трубы. Это важно. Во сне, если привалиться к трубе теплоцентрали, можно получить глубокий ожог.

Афоня, все еще дрожа, приваливается к храпящей Люське и замирает. Пальто и грязное тело в нем медленно наполняются теплом. Пальто! Афоня до сих пор не может поверить в великую удачу. Он нашел это пальто неделю назад, колом застывшее, у фонарного столба на станции. Бомж

Игорь Силантьев родился в 1960 г., живет в Новосибирске. Доктор филологических наук, профессор, главный редактор журналов «Критика и семиотика» и «Сибирский филологический журнал». Стихи и проза публиковались в журналах «Звезда», «Крещатик», *Prosōdia*, «Футурум Арт», «Дети Ра», «Двоемечие», «Квадрига Аполлона», «Сибирские Огни» и в различных сборниках и альманахах. Автор четырех книг стихотворений и короткой прозы. Предыдущая публикация в «Волге» – подборка стихотворений «Поеду ли я в Питер...» (2018, № 11-12).

так и утащил его, обхватив, будто человека, в свое убежище, а потом долго сушил на трубах, а потом примерял это широкое, впору, теплое пальто с высоким воротником, не дырявое, не гнилое, молью не поеденное, откуда оно взялось там ночью, на улице?

Афоня лежит на спине, согрелся, принял немножко из припрятанной бутылочки и глядит куда-то в темноту. Хорошо и весело ему стало, и поет Афоня в теплую темноту песенку без слов и мелодии, мычит просто. Ммм. Мумм. Умумм. Мумм. Словно кот на батарее центрального отопления.

Тут Люська проснулась было, приподнялась, что-то буркнула и на другой бок завалилась. Хррр.

Люська маленько с приветом, именует себя Люси и утверждает, что когда-то ее так прозвали битлы, потому что она летала в облаках и вся в бриллиантах. Ох-ох. Люська и Афоня не трахаются. Во-первых, у Афони не встает, а во-вторых, Люське и самой этого не нужно. У них есть общие дела поинтереснее – выпить, потрындеть, задремать в пьяной отключке. Да и на пару шариться по помойкам веселее как-то. Люська и Афоня жизненные друзья.

Афоня дремлет, и в закрытые глаза его и ноздри, в рот и уши легким туманом заползают тонкие сны, не поймешь, о ком они и о чем.

Вот этот сон, наверное, из детства.

Чей это голос? Мама, твой? Маленький Афоня с мамой едут к дедушке куда-то в Сибирь, в деревню какую-то, а по пути сходят в большом городе, потому что обязательно нужно навестить сестру мамы тетю Сороку, и муженька ее дядю Мизгирия, и еще кого-то четвероюродного, и еще разведенную жену кого-то сводного, от которого у нее твой неродной брат Дождевик. Черт, как это, неродной брат?

Есть семьи, в которых царит культ родственников. Мама Афони была из такой семьи и порядок этот старалась распространить и на свою собственную и Афонину жизнь. Куда бы они ни приезжали, когда он был маленький, она всегда находила близких или дальних, ну хоть каких-либо, но родственников, и направлялась к ним в гости и мальчика тащила с собой. Афоня ненавидел эти пустые встречи, наполненные пустыми разговорами.

И полдня добирались они от вокзала до городских окраин, искали в бесконечном частном секторе и наконец нашли домишко этих, которые Сорока и Мизгирь, и Дождевик к ним притопал, и вот теперь сидит маленький Афоня за круглым столом, покрытым вытертой клеенкой, и пьет несладкий чай с двумя высохшими карамельками, а неродной его брат Дождевик ковыряет в носу. А мама и тетя Сорока рассматривают огромный, пахнущий нафталином семейный альбом с пожелтевшими ломкими фотографиями, края которых вставлены в прорези на листах. А дядя Мизгирь сидит рядом, наливает в граненый стакан портвейна, и выпивает залпом, и хлопает Афоню по плечу, и хохочет, и дышит в него вековечным перегаром.

Нет, это Люська снова повернулась к Афоне, это ее перегар обволакивает красное грушевидное лицо Афони.

– Афоне приснилось детство! Ого! А я слышал, что у бомжей не бывает детства!

– Не бывает, да. Бомжи, они самообразуются на мусорных полигонах. Понимаешь ли, мусор там скапливается, спрессовывается, вырастает разными причудливыми кучами. Потом от такой кучи отслаивается приличный кусок такой, с корявыми ногами, нелепым туловищем, неровными руками и дурацкой головой, и шевелится живой. Вот и готов еще один бомж. Сознание в него не сразу приходит, сначала день и ночь по мусорке шарахается, как зомби, ворон пугает, а потом, глядишь, пошел-пошел – и человеком стал. Афоня придумал про детство. У бомжей в голове какой мусор был изначально, такие и воспоминания. А если газета или обломок телевизора попадет, то все, туши свет! Умертвит потом рассказами о своем прошлом в шоу-бизнесе и политике.

Опять эти голоса! Афоня слышит их с тех пор, как нашел пальто. Собственно, откуда-то из пальто они и исходят. Не из Афони. Афоня даже пробовал беседовать с ними. Сначала замолкали, а теперь уже отзываются. Сколько их, Афоня пока не разобрал, но немало.

Может, Афоня сошел с ума?

- Афоня, ты не сошел с ума. Сумасшедшие не разговаривают с голосами из пальто.
- Что ли я произошел из мусора?
- Да кто ж тебя знает!
- Но только что кто-то сказал!
- А мы сами, Афоня, не знаем, кто это сказал. Так, пролетела и вылетела душа чья-то. Не нашла себе места у нас.
- А вы кто?
- Мы потерянные души, Афоня.
- Мы живем в твоём пальто, Афоня.
- Афоня, ты нашел пальто, в котором обитают потерянные души.
- Это дом наш временный, Афоня.
- И ты среди нас один в теле.
- Бедное твоё тело, Афоня.
- Немытое у него тело, ага.
- А нам нет разницы, мытый Афоня или невымытый, вонючий или не очень.
- Мы души, нам все равно.
- И Афоне все равно.
- Потому он уже почти с нами.
- Потому он и слышит нас.
- Нет, Афоня нас слышит, потому что нашел пальто.
- Тсс. Афоня заснул.

Афоня спит и снова вдыхает тонкий сон и видит в нём бабушку, как они вместе кормят травой кроликов в сарае, а потом бабушка ловит одного, самого ушастого, и ловко так сворачивает ему шею. И тушка кролика обвисает у неё на руках, а мальчик Афоня отворачивается и съеживается. А вечером с бабушкой и пришедшей с работы мамой радостно кушает жаркое с крольчатиной.

- Шурудей, ты Афоне приснился!
- Афоня меня съел, когда маленький был, когда в детстве был. Но я не в обиде. Нельзя обижаться на Афону.
- Афоня не был в детстве! Бомжи из детей не получаются!
- Да, мы это знаем. Зимними вечерами падает хлопьями снег на землю и мочалится под ногами прохожих, смешивается с грязью и наледью, сбивается в ком и застывает, а потом, глядишь, зашевелилось в нём что-то, заворочалось, вот как Афоня на матрасе заелозил, а потом откуда-то ножки высунулись и ручки, и вот привстал бомжик и покачнулся, и пошел-пошел и человеком стал. А детство придумал Афоня.

Афоня ещё спит и в то же время слышит голоса из пальто. Ему жалко становится Шурудея и стыдно, что он, маленький Афоня, принял участие в поедании кролика.

- Не горюй, Афоня! Шурудей тебя простил.
- А ты кто?
- А я мышка Шебурша, которая жила у тебя в клетке, ты кормил меня просом, и водичкой поил, и убирал за мной. А мне много не нужно, тыкалась носиком туда и сюда, хрумкала зернышки и все время спала.
- А потом?
- А потом ты, глупый Афоня, засунул меня в портфель и понес в школу, девчонок хотел погугать, а по дороге с пацанами разодрался, и портфелем размахался, и по голове одного хлопнул, и задавил мышку. Задавил Шебуршу.

Афоня просыпается и долго, по крупицам, вспоминает свои сны про кролика и мышку. Ему перестает быть стыдно и перестает быть жалко их. Все это было давно-предавно, а может, вообще этого не было. Ведь сказали же голоса из пальто, что бомжи образуются из мусора, и грязи, и льда, а детства у них нет вообще.

- Из грязи и льда. Поэтому никогда и согреться не могут.

- А ты согрелся, Афоня?
- Я согреюсь, когда выпью, Шебурша.
- Не Шебурша я, а тетка твоя Сорока. Шебурша на тебя не обижается. Она понимает, что Афоня мальчишка был глупый.
- Афоня нечаянно задавил ее, что поделаешь. А потом вытащил мертвенькую из портфеля и за хвостик в девчонок и бросил!
- Ну бросил Афоня, ну что же теперь. Шебурше все равно. А душа ее крохотная в пальто. Вместе с душой Шурудя. Это хорошо.
- И Афоня нашел нас.
- Афоня хороший.
- Дядя Мизгирь, дай Афоне поспать. Не то он проснется, и вспомнит свой сон, и поймет, что придумал себе детство. Бомжи ведь, они сразу на свет появляются, из пыльных тяжелых теней под мостами.
- Как это, брат неродной Дождевик?
- А так, что нет в городе тяжелее пыли, чем под мостами. По ними же все время машины ездят, и люди их топчут, и ветер задувает, еще голуби насиживают и летучие мыши. И вот наступает момент, когда пыльная тень отрывается от земли, прислоняется к опоре моста и долго еще соображает, что к чему и зачем, а потом уже отслаивается и бомжом так пошла-пошла и человеком стала. Афоня просыпается от вздохов, из пальто исходящих.
- Люська, – пихает Афоня подругу, – послушай, со мной пальто говорит.
- Не буди ее, Афоня. На небесах она бриллианты собирает уже.
- Афоне становится все равно, и он отворачивается от Люськи и слушает долгий глухой гул – это через железнодорожную станцию, что невдалеке, проходит товарный поезд. И снова незаметно засыпает.
- Афоне все равно, что он мышку придавил.
- А потом и Дождевика тоже, братца, приколотил.
- Сорока, да не так оно все было. Афоня хороший. Выпивали они в домике нашем, да и мы поучаствовали, а потом старики ушли от них на боковую, а эти двое на кухне бухали до утра.
- Так и было, Мизгирь, а потом наш Афоня Дождевика оглушил, что ли?
- Да нечаянно получилось. Пьяный его толкнул, а тот на газовую печку упал.
- И что?
- И ничего, она выключенная была. А после Афоня во двор побежал. Может, по-маленькому или поблевать.
- А тут этот газ и рванул. Дождевик печку опрокинул, когда падал, и подводку нарушил, а потом, когда очухался, папироску закурил, ну и вот.
- И не стало Дождевика. И нас не стало тоже.
- А Афоня наш спасся на улице, только память немного потерял. Он детства не помнит. Поэтому Люське говорит, что у него не было детства, а получился он из мусора, из грязи и льда, а еще из дорожной пыли, что под мостами слонится.
- А на самом деле?
- Ты бы, Дождевик, у мамы его и спросил, она тоже ведь здесь, душа ее, и бабушкина тоже, в пальто.
- Афоня это слышит и смеется беззвучно. Он достал из заначки бутылёчек, пока Люська бриллианты собирает, и принял, ну и весело ему.
- А еще ему весело, что в пальто его живут такие разные души, и мамы и бабушки, и тети Сороки и дяди Мизгирия, и братца неродного Дождевика, только почему он, в конце-то концов, Дождевик, гриб, что ли? А еще кролика Шурудя с мышкой Шебуршой такие крохотные души и смешные. И смеется Афоня.
- Мама, бабушка, бросил я вас, забыл я про вас, даже где вы живете забыл, все забыл, и пьяницей стал я и бомжиком. А вы потом умерли из-за меня.

- Мы от старости умерли, Афоня. А ты хороший, но пьяница стал. Вот и бабушка плачет.
- Я не плачу, я улыбаюсь.
- Мы улыбаемся, Афоня.
- Не грусти ты, Афоня, а выпей еще.
- Тут Дождевик все про детство спрашивал, а что оно, детство? Не было у Афони детства.

Бабушка поливала горшок с геранью, и вода протекла с подоконника на пол, а стала бабушка вытирать, тряпкой по подоконнику елозить и уронила на пол горшок, цветок с корнями в одну сторону, а земелька в другую комками. Один комочек и откатился в уголок, лежал там незаметный лет пятьдесят, не меньше, а потом зашевелилось в нем что-то, заворочалось, и откуда-то ножки повысунулись и ручки, и привстал уже бомжик, покачулся, и пошел-пошел и человеком стал. А мы с бабушкой умерли.

- Афоня хороший.

Вот и Люська так говорит, думает Афоня. Он силится и не может вспомнить лица мамы и бабушки.

- А были ли они? – думает Афоня.

Но голоса он помнит. Значит, были. И души, которые в пальто у Афони, говорят их голосами. Были, значит.

– Дядя Мизгирь, тетя Сорока, мама и бабушка, и брат неродной Дождевик, а еще мышка Шебурша, что жила у Афони в клетке, и кролик Шурудей, которого Афоня съел, вы не сердитесь на бомжика, погрейте его лучше в своем пальто, убаюкайте тихими голосами, пусть заснет Афоня, до утра еще далеко.

А тут Люська проснулась, пошарила руками, наткнулась на Афонию и протянула ему что-то пригоршней:

- Держи.

Афоня не ухватил, и на пальто просыпались с хрустальным звоном какие-то, что-то...

- Мизгирь, погляди, бриллианты!

Это тетя Сорока, это голос ее из пальто воскликнул.

- Сорока, да где?

– Мы никогда не видели бриллиантов! – оживились Шурудей и Шебурша.

– Эти стеклышки, что ли? – спросил неродной брат Дождевик.

– Мама, бабушка, это Люська бриллианты принесла, на небесах собиравала.

А в темноте ничего и не видно. Что-то хрусткое. Афоня попробовал на зуб – вроде бы стекло. Так с бриллиантами и заснул до утра.

- А утром?

А утром проснулись Афоня и Люська, и нет бриллиантов, стеклышки бутылочные битые валяются вокруг. И солнышко сквозь крышку люка пробивается и в стеклышках играет. Красиво. Разницы никакой.

– Слышь, Люська, красивые твои бриллианты! – говорит ей Афоня, и жизненные друзья отправляются в привычный обход по помойкам, по мусоркам и по магазинам, а еще на автовокзал нужно заглянуть и у церкви потолкаться, авось сердобольные прихожане дадут три копеечки.

И сидит бомж Афоня у паперти в пальто. А пальто-то приличное, хоть и замызганное уже и воончее стало, но все равно держит статью.

И мы, мы тоже, потерянные души, сидим мы тихонько в пальто, как воробы в кусту, и глядим по сторонам.

А тут Афоне один мужик дает тысячу рублей, просто так. С усиками и в очках, а глазенки безумные.

– А-а, командир, благодарствую! – вне себя от изумления восклицает Афоня, а мужика уже и нет, испарился, исчез он. Только что рядом стоял, а как Афоня глаза-то отнял от тысячерублевки, то мужика-то и нет нигде. И души потерянные тоже ничего не поняли. Где мужик-то? С усиками и в очках?

А тысячерублевка осталась!

Кликнул Афоня подругу свою жизненную Люську, и прикупили на радости великой они водки бутылочку, и сладкого винца, и пивка полторашечку, и все это за гаражами сразу выжрали, а потом веселенькие к теплотрассе побрели через железнодорожную станцию.

Афоня хохочет и, путаясь, рассказывает Люське про голоса, которые в пальто его живут, и Люська хохочет, потому что не верит. А потом уже верит. А потом снова не верит и снова хохочет.

Вот и станция. И лезут веселые и пьяные прямо на пути с высокого перрона, и валятся на шпалы. Голоса живут в пальто, ха-ха-ха!

И луч высокий ударяет им – нет, не в глаза и не в лицо, а прямо в замусоленные их души, откуда-то будто бы с неба. И крики: «Эй, вы, вылезайте, эй, вы, побыстрее!»

Так и задавил Афоню пьяного поезд. Они с Люськой полезли на пути перед проходящим грузовым. Афоня успел вытолкать жизненную подругу, а сам, значит, того.

Афоня хороший.

Афоня мертвый.

Страшно туда, на пути смотреть. Железнодорожники называют такое шаурмой. А потом Афоня встает, и озирается, и слышит:

– Вот ты, Афоня, и пришел к нам, к потерянным душам.

– Потерянным? Кто вас потерял?

– Ты потерял, Афоня. А теперь вот нашел. И твоя душа теперь вместе с нами в пальто.

Какие-то специальные работники убрали все с путей, а пальто окровавленное, растерзанное на перрон бросили. А душа Афонина в пальто!

И черной птицей с красными от крови, порванными рукавами-крыльями взмывает пальто над землей, отряхивает мусор, и грязь, и лед, и пыль дорожную, что под мостами слоится, и светлеет, и в птицу превращается, и улетает.

– Люси, представь, что ты в поезде едешь, а он остановился на станции, вот здесь. Это значит, что ты едешь и не едешь одновременно, и стоишь тут на месте, а потом выбегаешь на перрон и засматриваешься на улетающую птицу, а ночь сменяется днем, и девочка Люси с разноцветными глазами бежит за птицей, а голова ее в облаках.

И Люська пьянущая лежит на перроне под старым, под старым фонарем, да-да, по тем самым почернелым фонарем, стянутым железными скобами, и смеется пьянущая Люська небесам, а голова ее в облаках, и сыплется на нее бриллианты. Или дождь это густо посыпал, и капли искрятся в свете фонарном, не разобрать.

Серафима САПРЫКИНА

ЛИХО ДОРОГОЕ

Умыла твердь водица талая
Для зренья выбор невелик –
Березка умственно отсталая
Немыслящий увь тростник
Глаз отмечает без усилия –
Пейзаж разбит параличом
На небе звездочки пульсируют
Невиноватые ни в чем
Господь, твои обильны пажити
Не по плечу твоим рабам
И на юру архангел ряженный
Поднес свисток к сырым губам

Так не поется в колыбельных
Так заполняются пустоты
Лежит снежок обильно белый
Токует лес низкочастотный
Мне страшно, а тебе не страшно
Мы ходим по нему бок о бок
Сонамбулические сажни
Невнятный обоюдный морок
Ты говоришь со мной, мой сокол
Заученным канцеляритом
Осколки леденцовых стекол
Смех у разбитого корыта
Я слышу то, что ты не слышишь
Поднадоевший колокольчик
Чернеет лес скоропостижный
С собою, как умел, покончив.

Серафима Сапрыкина родилась в 1988 году. Окончила философское отделение Кубанского государственного университета, магистратуру СПбГУ, направление «религиозная философия». Публиковалась в журналах «Знамя», «Зинзивер», «Сибирские огни», «Кольцо А», «Наш современник», сборнике «Новые писатели» и др. Лауреат премии журнала «Зинзивер». Член Союза писателей Москвы. Живёт в Санкт-Петербурге.

Будет хлеще раз от раза
Во сто крат позорней
Скачет лихо одноглазо
Обло и озорно

Раздает всем по коврижкам
По серьгам, сараям
Выдает себя за ближних
Дальних отбирает

Вот и пусть. Пусть без возврата
От меня их гонит
Я люблю тебя как брата
Лихо дорогое

Головоломка та еще
Хрусткий ледок опасный
Снег, добровольно тающий
Изморозь – лейкопластырь

Тяжкой водой омытые
На берегу распластаны
Пасынки речи, мытари
Косноязычные пастыри

Ангельских слов паронимы
Упоминавшие всуе
Что мы тогда затронули
С чем мы соприкоснулись

Что теперь делать с истиной
С колким ее хрусталиком
В этой зиме неистовой
В топкой геенне маленькой

за ниточку, на ощупь
сквозь воздух крепдешиновый
невидимый закройщик
со швейною машинкою
идет косыми строчками
стежками да неровными

с кем встретится воочию
тому не поздоровится
тому слова раскраивать
и славить точки – выточки
...и ходим неприкаянно
по ниточке, по ниточке

сочленения и жилы
вьются по спирали
расскажи мне как мы жили
как не умирали
вопреки законам места
ртуть со знаком минус
царь-царевич, тили-тесто
косинус на синус
слово, выйди на порожек
запечатай уши
что мне делать, святой боже
что еще разрушить
пребывай со мною, равви
образком настенным
в оголтелой этой яви
в смерти постепенной

Ржавь скрепила замки чердачные
Дремлет сторож немолодой
И прощальные лица дачников
Наливаются желтой водой
Летаргия широт покидаемых
Долговязые щупальца ив
Продираются сквозь прогалины
Меж собою пейзаж поделив
Я смотрю на раздолье чаячье
Округляющимся глазком
И явления не различаются
А сбиваются в крепкий ком
Из какой-то шершавой извести
Из блокадной сырой муки
Что еще мне отсюда вынести
Если мне не поднять руки
Покрываются дали войлоком
Расстеленным от сих до сих
И не больно тянуться волоком
По расплавленной шаткой оси

Забвенья ушлые красоты
Елейных лап объяття, в коих
Покрытый сжиженным азотом
Лежишь, оставленный в покое

Щебечешь – если бы да кабы
На нулевом гемоглобине
И по оси, кренящей набок
Вращаешь глазом голубиным

Как так – вот смерть, вот воскресенье
Но то, что будет между ними –
Сырой мороз ранневесенний
Хрустящий паводок равнинный

И не кисельны, не молочны
А только висельны, пологи
Те берега, в которых точка
Последняя в конце дороги

ТАМ, ГДЕ ГРЕЧАНКИ ЛЮБИЛИ ГРЕКОВ

Рассказ

На третьем курсе Московского энергетического института Леонид Засыпкин влюбился в однокурсницу Нелли Передельскую. Что может быть прекраснее любви? Они по воскресеньям стали вместе ездить в Сокольники, в платную школу бального танца. Школа стоила дорого. Но Леониду и Нелли нравилось осваивать самбы, румбы, квикстепы и сиртаки. Преподаватель командовал:

– Батман... Плие...

А ещё он говорил:

– Два года у меня, потом можете поступать к Моисееву.

К сожалению, такая головокружительная карьера не состоялась. Но это ничего. Главное, что в отношениях Лёни и Нелли была нежная трогательная интонация, весёлая, с лёгкой грустью. А там и настало то почти неизбежное, что в подобных случаях происходит между юношей и девушкой. Одним словом, Леонид стал мужчиной, а Нелли – женщиной. Затем чувство Засыпкина начало остывать. Обыкновенная история, как говорил писатель. Учёба, общественные нагрузки, стройотряд, производственная практика на заводе. Леонид закрутился, тут подошла пора писать диплом – тем более было не до Нельки. И вот наш молодой специалист – уже инженер одного из отделов того самого завода, где был практикантом. Там были рады, что Засыпкин вернулся, потому что парень он был толковый и не сачок. В отделе был ещё один молодой инженер – Игнат Кусаков, женившийся два года назад. Он провёл детство и отрочество в солнечном Баку и впитал не только тамошнее небо и воздух, но и говор. Абсолютно русский парень говорил с азербайджанским акцентом, что смешило сослуживцев. Начальник отдела послал Леонида и Игната на месяц в командировку.

В городе, куда они прибыли, в гостинице не было мест в номерах, и они ночевали в коридоре на раскладушках. Стоял жаркий южный август. В шесть утра администратор их будила, они складывали койки, а на работу им надо было к девяти. Приятели шли на базар. Там они покупали арбуз, буханку чёрного хлеба и завтракали в сквере, как горьковские босыки. Им было по двадцать два года, и они не чувствовали особой неустроенности жизни, даже была в этом какая-то романтика. Они устанавливали и налаживали в войсковой части электронное устройство. Устройство,

Павел Чхартишвили родился в 1948 году в Москве. Окончил Московский техникум автоматики и телемеханики и исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работал механиком-прибористом, техником-конструктором, статистиком, учителем истории. 40 лет работал в Государственном архиве РФ, почётный работник этого архива. Печатался в журналах «Вопросы истории», «Преподавание истории в школе», «День и ночь», «Север», «Урал», «Подъем», «Южная звезда», «Сура», «Байкал»; в «Независимой газете». Предыдущая публикация в «Волге» – рассказ «Дневник Клишина» (2018, № 9-10). Живет в Москве.

доставленное в часть с их завода, было изготовлено на совесть, трудностей при подключении и наладке не возникало. Проблема была другая. Посреди части была большая, выкопанная когда-то и забытая яма, куда порой соскальзывали моряки. Однажды туда свалился контр-адмирал Юровицкий и сломал ногу, после чего яму обнесли заборчиком. Засыпкин и Кусаков после работы любовались бухтой: огоньки, гудки. Посмотрели в летнем кинотеатре «Парус» обалденный новый фильм «Ещё раз про любовь» с Танечкой Дорониной. В некоторые вечера матросов с кораблей отпускали на берег, и тогда Таврический бульвар белел от бескозырок. Леонид и вырвавшийся на волю Игнат слонялись, глаза на встречающих девушек. Девушки на них внимания не обращали. То ли дело – на моряков. Игнат сказал:

– Чефе¹ обслуживается внэ очереди.

Гуляя по Таврическому бульвару, они купили в ларьке бутылку крымского крепленого. Продащица была молодая. Леонид сказал ей серьёзно:

– Дайте сдачи побольше.

Подумал и добавил:

– Шутка.

– Шутка удалась, – улыбнулась женщина.

Ехали катером на танцы, в небе качались бакены, в бухте плескалась луна. И казалось так не от вина, крепкого только по названию, а от силы, бьющей через край, от молодости, оттого, что почти вся их жизнь ещё была впереди, и сладко было сознавать это.

Через неделю в гостинице подошла их очередь, и приятелей наконец поселили в трёхместном номере. Третьим был сорокалетний лектор общества «Знание» Шницер, который спросил:

– Вы, ребята, женаты?

– Леонид холостой, – ответил Кусаков.

– Женим.

– Я вообще-то позагорать приехал, – заметил Засыпкин.

Загорать Леониду и Игнату скоро надоело. Как-то, получив два отгула, приятели днём во вторник валялись на кроватях. Игнат сказал:

– Шницель! Ты любил когда-нибудь?

– В молодости. Потом были воспоминания. Потом забылись и воспоминания.

– Что ж, у тебя и бабы нет?

– Почему? Есть. Но мы же говорим о любви.

В дверь постучала администратор:

– Засыпкин! К телефону.

Кто это мог быть? В незнакомом городе. Он прошёл к телефону, взял трубку.

– Лёня, это я, Нелли.

– Привет. Ты где?

– Я узнала, что тебя послали сюда, и приехала, сняла комнату. Я в отпуске.

– Как ты меня здесь нашла?

– Через справочное бюро.

Да здравствует институт прописки, подумал Засыпкин.

– Ты по мне скучал?

Он молчал. Он забыл про неё. Вспомнилось. Всколыхнулись остатки бывшего чувства.

– Лёнь! Тут на окраине раскопки греческого города пятого века до нашей эры.

– Я знаю.

– Ты там был?

– Нет ещё.

¹ ЧФ – Черноморский флот.

- Давай съездим? Ты завтра можешь?
- Да.

Сходить бы с ней в ресторан. На какие шиши? А может, Нелька сама за себя заплатит? Ну ты наглец.

- Ты когда-нибудь купалась в море ночью?
- Вообще-то нет.
- Хотелось бы?
- Можно.

– Тогда встречаемся сегодня в двадцать три часа на Потёмкинской пристани. Оттуда ходит троллейбус в чудное место. Полчаса езды – и мы на берегу. И вокруг не будет ни одной морды. У тебя есть надувной матрас?

- Есть.
- Возьми. И я возьму.

Положил трубку. Администратор буркнула:

- Молодой человек! Я больше не буду бегать подзывать.
- Извините, – сказал он.

Вечер принёс облегчение от жары. Лёня и Нелли сели в пустой троллейбус, доехали до конечной. Чёрное море, чёрная южная ночь. Огромная тяжёлая серебряная луна висела над головой и не падала. Целовались под доверчивый шёпот прибоя. Ничего не существовало, всё на свете забылось, была только любовь, как две с половиной тысячи лет назад, когда здесь целовались гречанки с греками. Какое наслаждение купаться голыми в тепловатой воде. Одевались, и Лёня заметил пустоту в заднем кармане брюк. Паспорта и допуска не было. Его бросило в холодный пот. Завтра найдём, успокоил он себя, улёгся и вскоре заснул. А Нелли ещё долго не спала и думала, как же теперь влетит Лёне.

Рассвело. Быстро исчезала прохлада. Долго, тщательно обходили и осматривали берег. Ни черта. Зачем он потащил с собой документы? Надо сказать Игнату, чтобы он доложил командиру части. С военными лучше не шутить. Двинулись к остановке. Шли молча. Затем Нелли включила транзисторный приёмник. Пела женщина. Мелодия щемила душу и поднимала её над землёй, над всеми стремлениями и страданиями человеческими. Леонид не знал польского, но понял, о чём песня: парень, не вешай нос, потеря документов – не самая страшная беда, ты найдёшь выход, всё образуется, а главное – рядом девушка, она бросила всё и приехала провести отпуск с тобой, пойми и оцени это. Нелли не слушала приёмник, она снова думала о неприятностях, ожидающих Лёню.

Мягко бежал троллейбус. Город просыпался. Грустно разгоралось утро, обещая сухой и знойный день. Было уже не до поездки на раскопки. Нелли дала Лёне записку со своим местным телефоном.

- Я позвоню, – пообещал Засыпкин.

Доехали до Потёмкинской пристани. Лёня подержал ладонь Нелли в своей руке и вышел из троллейбуса. Она поехала домой. Начинало припекать.

В гостинице Кусаков выслушал приятеля и сказал:

– Неплохо ночевать, когда дивчина под боком. Но сам видишь, Лёня: женщины до добра не доведут.

- Причём здесь женщины? Я мог бы потерять и будучи один.
- Один бы ты не поехал в полночь купаться.
- Почему? Взял бы и поехал.

Лёня вспомнил, что в понедельник мичман Филиппенко просил его объяснить, как работает электронное устройство. Что ж, Кусаков всё знает, расскажет моряку. Он-то расскажет. А что Лёня расскажет в Москве на заводе? Ему голову оторвут за потерянный допуск.

Прошло часа два. В дверь постучали. Это была женщина средних лет:

– Здравствуйте. Кто из вас Засыпкин?

– Я.

Она протянула Лёне его паспорт и допуск.

– Спасибо огромное. Где вы нашли?

– У моря.

– Да мы же там всё обыскали! Как же я вам благодарен.

– Больше не теряйте.

Он постеснялся дать женщине денег. Вышел с ней из гостиницы, купил и вручил ей самый дорогой торт, потом вернулся. Кусаков размышлял, как получше убить свободный день. Засыпкин вспомнил, что Нелли хочет на раскопки, и предложил Кусакову поехать с ними:

– Я вас познакомлю. Она славная девчонка.

Но Игнат, во-первых, видел в гробу тащиться в жару чёрт знает куда, чтобы посмотреть на древние руины и черепки (лучше сходить окунуться), а во-вторых, не хотел мешать приятелю своим присутствием – и отказался ехать. До Засыпкина окончательно дошло, что с документами порядок. Отлегло от сердца. Он вздохнул и вспомнил польскую песню. Представил, как скажет Нелли, что всё обошлось. Нелька обрадуется. Она к нему хорошо относится. Она хороший человек. Правда, очень хороший. Надо пойти к администратору, попросить разрешения позвонить, хотя противно унижаться перед ворчливой бабой.

Они с Кусаковым выпили и закусили в столовой. Ушли к морю. По пути встретился телефон-автомат. Засыпкин не позвонил. На другом конце раскалённого города ждала Нелли. Она так и не узнала, что у Лёни всё нормально, зато поняла, что не нужна.

2015–2018

Александр МАРКОВ

ПСЕВДОПЕРЕВОДЫ

С немецкого

Треск измученных речей,
В них ты не силен,
Разве пламенем свечей
Ночью истомлен.

А приглашенная речь,
Тоже не твоя,
Мнишь ли словом ты привлечь,
Замысел тая?

Но речей бывает вид
Для тебя, родной:
Как воздушный шар летит
В выси над землей.

С английского

Как вишня помнит влагу труб,
Как лавр зимой бывает груб,
Так памятью окостенелой
Заполнишься ты до предела.

Как гул непройденной дороги,
Расположение литер строгих,
Но вот – свисток сюжета скор,
И ожил образов напор.

И ткется ткань, и рвется нить,
И кубок надо защитить,
Страниц двойчатки разогнутся,
Как позвоночник, оживут.

С испанского

Квадраты белого прощанья
На шахматной доске желанья,
Отвес безмолвный утр
В передвижении фигур.

Терпенье темных губ
Засечками секунд
Терзает серебро ходов
И страсть угроз.

С итальянского

Ныряет рыба разговора
В смальте чешуи
Прочь от колонн дождя.

Достаточно синевы следующего дня
Для ступеней истертых
И ступней уставших.

Вчера смола ассоциаций
Прожгла пятно
На шкуре пережитого.

Медленный кислый дым
Уставшее движение
Наполнит окончанием глагола.

Удивление будет
Как затылок запинки,
Как занесенные капли.

С иврита

Рассказ сеется ветром
А бормотание дышит вещами.

Комната прибранная как сердце,
Паутина в безветрии драгоценная,
Дитя, дотянувшееся до первой вещи.

Окно очищено в рассказе,
Когда зной бездыханный;
Лак стал видим,
Пинцет ничего не дотянулся.

Башня моего здоровья,
Солнце моего детства,

Умытое сумасбродством сердца,
Скрытом воспоминаниями,
Длинными как летнее время.

Так и живу,
На быстром дыхании рассказа,
На поверхности бормотания.

С французского

Она любила подсолнух за забором.

Она также любила ряды книг, с корешками цветными, так отличающимися от досок забора.

Когда поезд скрежетал, досчитавшись всех шпал, она думала только о той наборной кассе, из которой достают сны и размышления, и так задумывалась, что забывала перевернуть страницу книги.

Коленкор неба проносился в окне, а мысль уже была не колючая, но приятная на ощупь, как вечерние сумерки.

Она вышла тогда за две станции до моря.

С португальского

Сплетая из роз венки,
Не счистишь все шипы.

Над морем житейских бед
Томительный звездопад.

Кровью покроется шип,
Звезда оставляет след.

Жёсткий венок побед,
Твой напряжен взгляд.

Со шведского, а может, с польского.

Чет и нечет стволов
Проплывающих мимо
Словно г/труппа шутов
В окружении мима.
День проходит в саду
Единицею бойкой,

Отразившись в пруду
Лебединою двойкой.

Счет умноженных дней
В вычитании скорби
С каждым днем все верней,
С каждым знаком удобней.
Но слезами деля
Даль заполненных клеток,
Начинаешь с нуля
Извлечение заметок.

С арабского

Сдвиг (уже здесь).

Именно тогда ты приходишь ко мне
В столкновении битвы и юности.

Колени твои окутаны дымкой,
А кудри твои в пламени шумном.

Ты раскрытая книга щедрым,
Ты трость золотая смелым,

Убогих мечтанье на море,
Разумных утешенье на суше.

Проходят мимо танцоры,
Твой поворот не видя.

Твой блеск
Закрылся.

Жемчужина
И берег.

С китайского

Историю, рассказанную тенями,
Не подхватишь даже осторожной речью,
Разве если тоска разольется как свет,
А память перестанет осторожничать,
А пока ты во вчерашнем дне как упаковке,
Забыл как качал тебя самолет словно люлька,
Забыл и сходство рассвета и заката,
И что в любой книге есть последняя фраза.
Чем море для реки полезно?

Чем песок оправдывает свою распространенность?
Только ли сложением и вычитанием, что в день прибытия
Думаем и о дне отъезда?

С финского

Я сплю и гляжу
Из дома, похожего на башню,
Из кирпича, похожего на зрачок,
Из волос, свернувшихся тряпкой,
Но на самом деле — ежиком среди травы весенней.
Сон — слишком облачная тропа
Чтобы выдержать закатный ветер,
Чтобы вынести розовые ногти,
Чтобы выбрать глубокие следы.
Каждый день перед своим фатумом
Как самая живая тень перед закатом.

С латыни

Ты дурак, что ль, совсем? Иди работать!
А вздыхать — куда ты вздохи засунешь?
Был ты румяным как в глянце красневшим,
Скакал за девицей в кадре, за кадром,
Она в душе твоей всегда звездила,
Анекдоты травив, бутыль тянула,
И до горла с тобой, алкашом, играла,
Был ты румяным как в глянце блестевшим,
А сейчас ее ждет своя гримерка,
Не стой на лестнице прошлого, парень,
Здесь железные надо иметь яйца,
Скажи ей «чао», что вот его яйца,
Хапать поцелуи ртом он не будет;
К тебе в шалмане никто не сядет.
Вот, собака, ты у меня поплачешь,
Волю выдавшие тебя покинут,
Никто не подбросит даже до дома,
А уж чтобы случилось что покрепче.
Так что, парень, марш скорее работать.

С новогреческого

Кто сжал звезду в кулаке,
Кого Эрот удержал на ладони,
Тот всегда опаляем воздухом,
Тот всегда храним даже одним крылом.

Январь-апрель 2019

РАССКАЗЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИИ СМИРНОВСКИХ

Бон аппетит!

На день рождения Антон приглашает Беату в невероятно дорогой манхэтенский ресторан. Он надеется, что его щедрость покажет ей, наконец, что все, что разделяет их, в первую очередь – возраст, не может быть помехой счастью.

Он надевает черный костюм и белоснежную рубашку. Она – в черном платье с открытыми плечами, прекраснее которых он не видел в своей жизни ничего. Почти ничего. Хотелось бы развить эту тему, но если коротко, то все аналогично прекрасное – из виденного им – тоже имеет отношение к Беате.

Их встречает мерцание свечей, блики света на бокалах и столовом серебре, искрение бриллиантов, огромные букеты невиданных цветов. От волнения Антона бьет озноб.

Метрдотель провожает их к столу у окна, подает меню и винную карту. Конечно же, он видит, насколько Антон и его подруга случайны в этом месте. Когда официант наполняет их бокалы водой, метрдотель возвращается и с деловым видом сообщает, что в ресторан прибыла без предупреждения одна звезда эстрады и кино. Отказать ей совершенно невозможно – представьте себе уже этот скандал! Короче говоря, их просят уступить ей свой стол и перейти к стойке бара, где они могут заказать все то же самое и в качестве компенсации за неудобство получить от ресторана по бокалу креман д'Эльзаса.

– Креман д'Эльзаса?!

Антон еще пребывает в немом шоке, когда Беата устремляется к выходу. Поднимаясь, чтобы последовать за ней, он видит, что лицо метрдотеля сохраняет спокойное, деловое выражение, невзирая на произошедшую катастрофу. Его безразличие – ужасно. Ужасней насмешливой улыбки. Ужасней сообщения о начале извержения гигантского вулкана, расположенного под национальным парком Йеллоустоун. Ужасней мысли о холоде постели, в которой Антон проснется на завтра один.

На улице Беата достает сигарету и закуривает. Пальцы ее подрагивают.

– Ты понял, кому они отдали наш стол? – она кивает головой и выпускает длинную струю дыма в направлении лимузина, из которого выносят звезду. Улыбаясь, та шлет воздушные поцелуи притормозившим в изумлении пешеходам.

Вадим Ярмолинец родился в 1958 году в Одессе. Окончил факультет романо-германской филологии Одесского университета, работал в газетах «Моряк» и «Комсомольская искра». В 1989 году эмигрировал в США, работал в газете «Новое русское слово». Публикации в журналах «Октябрь», «Новая юность», «Новый журнал», «Вопросы литературы», «Новый мир» и др. Автор трех книг прозы. Постоянный автор журнала «Волга».

– Голос народного достоинства! – повторяет расхожую характеристику звезды Беата и добавляет еще одно слово, не менее точно, по ее мнению, характеризующее артистку.

Антон поднимает с тротуара обломок кирпича.

– Ну, это уже, пожалуйста, без меня, – говорит Беата, и сердитые каблуки от Маноло Бланика уносят ее за угол.

Пешеходы восстанавливают первоначальное направление своего движения. Лимузин отчаливает от бровки и вливается в транспортный поток. Воздух теплый, умеренно влажный, пропитанный ароматом цветущей за чугунной оградой сквера вишни. Антон видит через белое стекло тени звезды и ее спутника за столом, который недавно принадлежал ему и Беате. Над ними стоит метрдотель и осторожно двигает в воздухе рукой.

Подбросив обломок кирпича на ладони, – вес кажется ему удовлетворительным, – Антон, как последний привет, оправляет его в сторону похищенного у него рая. Окно принимает камень неожиданно сдержанным звуком – клоц! Огромный паук, откуда ни возьмись, появляется на стекле, после чего верхние треугольники между черными нитями паутины проваливаются внутрь. Звон и женские крики оттесняют на второй план звуки машин и аромат цветущих деревьев.

Антон остается на месте. Он хочет, чтобы обидчики знали, что это не случайность, что его любовь нельзя так вот просто взять и бросить под чьи-бы то ни было ноги.

Когда полицейский стягивает наручниками его запястья, метрдотель с группой официантов торопливо ведут звезду к едва подоспевшему на ее спасение транспортному средству. Когда она ставит ногу в освещенный сиреневым неонм салон своего корабля, Антон выкрикивает ей:

– Бон аппетит, мадам!

Она оборачивается, но он не успевает увидеть, что выражает ее лицо. Возможно – ничего.

От адвоката он узнает, что упавшим стеклом спутнику звезды отрубило руку. Его не интересует – по плечо, по локоть или только кисть. И делались ли попытки пришить ее на место. Это несущественно. Иная мысль посещает его и навсегда прописывается в сознании: за любовь надо платить.

Летний сон

В один из дней своего одиночества Беата идет в лес и теряется в нем. Поплывав какое-то время, она выходит к озеру с водопадом. Вода в нем совершенно прозрачная. Вокруг – никого. Она снимает с себя все и идет купаться. Выплыв на середину озера, она испытывает полноту жизни, которая, что ты ни говори, еще далека даже от своей середины.

Она смеется, представив себе, что она не в озере, а в каком-то новом, упоительно освежающем пространстве, по которому она может свободно перемещаться, делая едва уловимые движения, как парящая в воздушных струях белая птица, чайка, например.

Беата выходит на берег, смахивает капли воды с кожи, выкручивает волосы, встряхивает ими, чтобы они рассыпались равномерно по ее прекрасным плечам, осматривается. Никого вокруг, все неподвижно, только шумит невдалеке водопад.

Она ложится на траву и закрывает глаза. Теплый ветерок ласково касается ее тела. Как все прекрасно, как покойно, думает она, погружаясь в сладкую дрему.

Ей снится сон, в котором она видит себя просыпающейся, но уже не на берегу озера, а в огромной белой постели, которая стоит посреди залитой солнцем комнаты. В высоких окнах видна красная башня.

«А ведь это башня Святого Марка, – думает она. – Как интересно, выходит я уже в Венеции! Но нужно ли мне вставать и искать того, кто объяснит мне, как я сюда попала и зачем?»

В это время двери открываются и в комнату входит группа улыбающихся девушек в белых одеждах. Они несут подносы с фруктами и вино. Устроившись вокруг нее на постели, они расчесывают и массируют ее, легко подкрашивают где надо, и по их намекам и многозначительному смеху она понимает, что ее ждет встреча с тем, кто, грубо говоря, оплатил все это удовольствие.

Наконец она решается прямо спросить, где же тот, кого они ждут. Девушки отвечают, не без удивления: неужели она не догадывается, неужели в самом деле она еще не поняла ничего?

– Нет, – растерянно пожимает она плечами, – а где же он?

– Он – здесь! Он был с нами все время!

– Да где же?

– Где? Под кроватью!

– Под кроватью?!

– Да! Под кроватью!

– Ну, так пусть же вылезает оттуда!

– Ну что ж, пожалуй, самое время! Пусть вылезает.

Девушки оставляют ее, кто-то устраивается на подоконнике, кто-то в креслах, взгляды всех прикованы к тому месту, откуда сейчас должно появиться новое действующее лицо этого сюжета. Одна девушка берет серебряную флейту и исполняет волнующе-нежную мелодию для названного инструмента из оперы Глюка «Орфей и Эвридика». Тихий, непонятно откуда взявшийся то ли свист, то ли шепоток вторит флейте.

Взволнованная музыкой Беата видит, как над белыми волнами шелка поднимается змеиная голова. Она поднимается все выше, и Беата с изумлением наблюдает, как переливается невиданными узорами чешуя змеи, точнее змея, как его тело движется в полном согласии с чарующей мелодией. Музыка льется, льется, наполняя собой все, что можно наполнить, и Беата обессиленно откидывается на подушки, предчувствуя неминуемое сближение с искусителем. Ах, вот он уже скользит по ее коже, обвивает ее так нежно и сильно, так хорошо, так бесконечно хорошо, что она лишается чувств.

Беата приходит в себя от прохлады и отдаленного шума. Она открывает глаза и видит, что лежит на берегу того же озера. Солнце скрылось, и длинные тени протянулись от деревьев к воде. Ей кажется, что теперь она не одна. Она оглядывается и видит присевшего на корточки бритоголового мужчину с искаленным носом. Несмотря на лето, на нем ватник и сапоги. Сильными зубами из нержавеющей стали он грызет стебелек травы.

– Кто вы? – испуганно спрашивает Беата, прикрывая грудь платьем. – Откуда вы здесь взялись?

– Я – водитель грузовика, – отвечает мужчина. – Парковка для отдыха дальнотойщиков вон за теми кустами. – И он указывает рукой туда, откуда пришел.

Милуоки

Разговору был положен конец, когда Антон сообщил матери, что в его возрасте он уже не может выбирать или ждать каких-то чудесных неожиданностей, что жизнь уходит, что осталось – всего ничего, и тогда мать, вздохнув, сказала: «Делай как знаешь». Свою горькую капитуляцию

она заключила сообщением, что уйдет жить к подруге, оставив в его распоряжение их скромную – в две комнаты – квартиру.

В тот же день он улетел в Милуоки.

В пустом баре аэропорта пожилая женщина за стойкой сообщила ему, что Беата заходит сюда со своим бойфрендом по пятницам. Заказав «Джек Дэниелс» безо льда, Антон еще узнал, что бойфренд Беаты – боксер-профессионал и что жизнь у нее с ним не заладилась. Барменша согласилась передать Беате записку и потом принесла Антону ответную, где говорилось, что та придет к нему в следующую среду, а если не сможет в следующую, тогда через одну – по средам она оставалась дома одна. Она также просила Антона, чтобы он ни в коем случае не брал билеты на самолет, потому что ее любовник мог их настигнуть в зале ожидания. Безопасней, написала она, будет покинуть город на автобусе.

В среду он просидел целый день у окна того же бара, заказывая чашку за чашкой безвкусный кофе, поглядывая то на вход, то на передвижение темных громад самолетов в накрывшем летное поле тумне.

Он вернулся к этому же окну через неделю, обнаружив, что за столом его поджидает коренастый мужчина с бритой головой и изуродованным носом. Поднявшись и не вынимая рук из карманов синего матросского бушлата, он кивком головы показал, чтобы Антон следовал за ним.

Машина бритоголового, проскрипев колесами по прибрежной гальке, остановилась недалеко от пирса, и они поднялись на него. Сгустившийся туман скрыл от них оба берега реки, даже воду, дававшую знать о себе мягкими шлепками о сваи. Новое пространство, казалось, уже не принадлежало ни к какому миру, а может быть, служило неким переходным от знакомого в новый.

Их недолгая прогулка по дощатому настилу кончилась, когда бритоголовый, по-прежнему не говоря ни слова, нанес Антону удар в живот такой силы, что тот согнулся, не в состоянии ни вдохнуть ни выдохнуть. И тогда бритоголовый легко подтолкнул его к краю пирса. Погружаясь в густую от ноябрьского холода воду, Антон подумал, что Беата должна была ждать его здесь уже не менее недели. Едва преодолевая сопротивление мокрой куртки, он обернулся – в надежде увидеть в ледяной мгле светлое пятно ее волос.

Нью-Йорк

Алексей БАКЛАН

ПРИЕМЛЕМЫЙ ПОКОЙ

Нас спасут, нас как-нибудь ухватят
и введут в приемлемый покой,
где на одинаковых кроватях
не найдём тревоги никакой,
никакой панической атаки –
надышишь, как раньше не умел.
Золотом прольётся Исаакий
на побелки аккуратный мел.
Под казённым с биркой одеялом
нам даруют вечный very good.
Помышляй о суетном, о малом:
может, повезёт – и не спасут.

когда ночные выключат огни
и блоковские окна догорят
когда мы вдруг окажемся одни
пиши про всё пиши про всё подряд
туманы самолёты города
про осени длиной в десятки зим
обледеневших птиц на проводах
про всё что встретишь в небе и под ним
про то что не случилось наяву
про то на что надежды никакой
как смотришь на замёрзшую неву
в бессмысленный и тягостный покой

Алексей Баклан родился в 1980-м в Ленинграде. Стихи публиковались в журнале «Стороны света», в сетевых изданиях (поэтический журнал DONUM, «45 Параллель», «Присутствие», «Квадрига Аполлона», «Полутона»).

календула калечит календарь
мосты по рёбрам пропускают ток
трамвайную потерянную гарь
храни нас Бог прости нас государь
пока волчок в толчок не уволок
пока толчёным волчьим языком
мы друг за друга что-то сочиним
пока трамвай к падению влеком
дворцовый мост разводится крюком
и бездна отражается над ним

С левого берега волны.
Как же давно отцвели
эти прозрачные клёны
бывшего края земли.
Стук проходящих плацкартов,
неба туманная гладь,
нервная оттепель марта –
помнить нельзя забывать.
Будем безмолвны и слепы,
не озарят наших лиц
ваши духовные скрепы,
целостность ваших границ.
Вас не забудет держава,
всё вам простит наперёд.
Ветер за берегом правым
тучи дождливые рвёт.

Зверь мой тихий, зверь мой лютый,
как же мне тебя унять?
Будет больно две минуты,
будет больно двадцать пять.
Расплывается по коже
чувство стали и ремня,
что же всё-таки дороже –
претерпеть или принять?

Если телу не томиться,
если дух не инвалид,
кто расправит наши лица,
наши жизни отболит?
Что ты, зверь, ворчишь упрямо,
что терзаешься в груди?
Это внутренняя яма,
если сможешь – выходи.

Изнутри и снаружи нас музыка ест,
заполняет пустоты пустот.
Подними свои руки – получится крест,
чёрный ствол над опавшей листвой.
Это длинная и непонятная даль –
ленинградский туманный скриншот.
Подними свои руки, взмахни и ударь.
Ни за что. Просто так. Хорошо.

Олег ЮРЬЕВ

НЕИЗДАННЫЕ СТИХИ 1981–1987 ГОДОВ

Публикация О.Б. Мартыновой и Д.О. Юрьева
Предисловие Валерия Шубинского

В ходе подготовки собрания стихотворений Олега Юрьева для Издательства Ивана Лимбаха предметом изучения стал оставшийся от него архив – рукописи и правленные машинописи. Огромную его часть составляют поэтические тексты, в том числе не вошедшие ни в типографски изданные сборники, ни в машинописные книжки советской эпохи (когда Юрьев, как и другие неофициальные поэты, был лишен возможности печататься). По большей части это ранние, юношеские стихи. Однако несколько десятков текстов относится к 1980-м годам, когда индивидуальность поэта уже сформировалась.

Некоторые из них, написанные в 1982–1987 годы, были известны близким поэту. То, что они не были включены в книги и вообще не увидели света – результат повышенной, иногда чрезмерной строгости поэта к себе (одно стихотворение так и называется – «Строгость»). Может быть, это связано и с тем, что какие-то намеченные в этих стихах пути казались поэту тупиковыми. Он стремительно шел к вершине, к расцвету дара – и торопился. Но сегодня мы видим, что и эти, отвергнутые, стихи очень хороши.

Несколько же стихотворений написано в начале 1981 года. В это время поэтика Юрьева переживала резкое изменение. От более традиционных, вписывавшихся в общую эстетику неподцензурной ленинградской поэзии стихов конца 1970-х, вошедших в машинописную книгу «Картавый звук» (она полностью опубликована в журнале «Звезда», 2019, №4), он переходил к своей подлинной, резко индивидуальной поэтике. По словам самого поэта, «это была очевидная – для меня и для окружающих меня людей – и довольно быстро и довольно мучительно произошедшая мутация». Многие стихи, написанные в процессе этой мутации, видимо, были отвергнуты: они отличались от прежних, но, видимо, отличались недостаточно решительно. Этот максимализм опять-таки заставил поэта отвергнуть очень сильные тексты.

Вячеслав Иванов говорил, что масштаб писателя определяется помимо прочего тем, что остается в столе неопубликованным после его смерти. Публикация литературного наследия Олега Юрьева лишь начинается, но значительность его уже несомненна.

зазову кота, назову – китс;
подойдет голубь, скажет – гёльдерлин;
заведу жену, – меж дощечек-лиц –
окон клан, ветра клен, света клин.

построю дом о четыре стены,
сам-четыре средь ночного лягу рвань...
взгляни из ночной мельтешни –
вот жена, вот кот, вот голубь, вот я.

1981

Мне хорошо в моей земле –
Все яства на ее столе:
Деревьев светлое вино,
(Из птичьих гнезд течет оно);
В квадратных блюдечках поля,
Ржаных тропинок кренделя,
И рыба смотрит на шмеля,
Крылом коротким шевеля.

Луны причесанный кочан
Сюда приносят по ночам.
Идет внимательный олень
Сквозь соты сонных деревень;
Холодный крот ведет ходы,
Блестят лимонные пруды,
И из духовки дальних звезд
Пирог ползет, горбатый мост...

Природа, голову склоня,
Растет как будто из меня.

1981

Открытка

Там по круглой воде ветер ходит в дожде
И кивают деревья грудями;
Из железного дна извлекает волна
Серебрёную ветвь с желудями.

Это ночью глухой над водою сухой
Гомонит пароходная тяга;
И, безродный пришлец, ты не осветлишь лес,
Вылетающий из оврага.

1982

Открытка с видом

Мне сладостны законы умноженья дней.
Год, в заговорах весь, – всё високосней...
О, возраст мой! – Ты юности стыдней
И старости безмысленей и косней.

Страна пуста. Орудия лесов
Маскированы в лоск и раззолоту,
И птичка двухголовая лицо в
Лицо по черному скользит болоту.

Я знаю: осень... Здравствуй, господин
Огромный дождь, литой, шарообразный;
В твоём нутри я медлен и один,
И скушно мне во влаге непролазной.

Страна пуста. Тут нету никого –
Ни русского, ни чурки, ни чухонца...
Дожди выросли... но сердце их мертво,
И высохли, по сути, волоконца.

Мне сладостны законы умноженья слов.
Стих, в заговорах весь, – все постоянной...
О голос мой! – Ты явственнее снов
И яви безобразней и обманней.

Я знаю: осень... Дни ещё теплы,
А ночи уже холодны, пожалуй...
Нева впадает. Ей глядит в узлы,
На парапёт облокотясь, жеманый...

Как медленно мы начинаем жить.
В стране пустой звучание так сложно. –
Ни отзвука. И осень разложить
На отзвуки почти что невозможно.

Слаб голос так, что эхо не сочтешь
За голос чей, пусть самый пустяковый...
Пожалуй что, завидовать начнешь
Какой-нибудь и птичке двухголовой.

Октябрь 1982

Строфы

I

Неужели же всё, что я должен был сделать –
Это строки неловкие да злые слова?..
Тут и осень как тут. – Пестро-лётная челядь
Разоренных деревьев от холода полужива.

II

Здравствуй, зима! Респектабельный ворон,
Я зрчками блестящими на пухлое небо гляжу;
Вот и сделалась жизнь. – Не спою я ни солом, ни хором,
Лишь потухшие перья в наземную соль положу.

III

Бедный клетот земной и застывшего сада
Поражает меня острою нерасчитанных черт...
Гаснет зренье мое... Ни жены и не друга – не надо...
Я об этом прокаркал напрасно всю жизнь, простосерд.

IV

Все леса и сады, всякий зверь, всяка птица
От единого корня сквозь непомерную толщу бегут,
Как и всякий из нас; ан наярился я торопиться,
Не желая недвижность сносить, – да и листья мои не пождут.

V

Листьев гон, птицев шум – превосходней
Налетающих праздников лет, месяцесловия зол;
О, корень единственный! Несгорающий шар преисподний –
Я уже позабыл, что тобою, как и все мы, взмошел.

VI

Здравствуй, зима! Слуга непотатливый – зренье –
Неподобно доносит стальные приметы твои,
Но известна мне ты, как и всякому, кто есть творенье. –
Всех коснутся зрачков стальные предметы твои.

VII

Не зная словам одинако любви и проклятья,
Ни вглубь и ни вдаль я не вижу холодным лицом...
Бедный вран пожилой, я закутался в черные платья,
Как последнее дерево, блистаю последним листом.

Октябрь 1982

Стансы

Я в темном зеркальце лицо себя узрил;
И голубь дышавший, воздутый Азраил
Ко мне в оконце рот свой костный сунул
И зеркальце призвакнущее клюнул.

Но нет! Лицо мое, спасенное богами,
Осталось в комнате, а темной амальгаме,
Протяжной лужицею в форточке сверкнув,
Пришлось втянуться в изогнутый клюв.

1982

For Home Use

Дым белый был, а стал зеленый
И тень от дерева сквозна,
А над Невой переполненной,
Вздыхает воздух наклоненный,
Стоит-сияет тишина.

Толпами рыбки заходили
Сияя из горбчатых тел,
И серый крейсер «Пикадилли»,
Как будто заново родили,
По-холостому заблестел.

Когда же из дому я вышел,
Смешно пыхча и весь в очках,
Какую ж песню я услышал,
Какую ж песню я услышал
На всех зеленых язычках?

1983-1984

Строгость

Сползаю в узкое жерло,
Что мною выпалить готово.
И если есть на свете слово,
То это слово – тяжело.
О Господи, Твоей рукой
Я слыше высшего одарен,
И коли я неблагодарен,
То оттого лишь, что такой...

Когда б я не забыл, что век
Еще раз купина не вспыхнет,
И жидкость жизни не утихнет,
Возжгется коли человек
Неприкасаемым огнем,
Единственным прикосновеньем,
Что раз назвавши вдохновеньем,
Всю жизнь мы строгостью зовем...

1983

Начало

Имперская тоска... Осколки по скатёрке...
Пропало пол-звезды, а пол пока висит,
Осипшей кожей всей, смещаемой к светёлке,
Где мглы округлой шов вздыхает и сопит.

И сё – углы пошли из мглы округлой рваться,
Царапать, зацветать в набухшем животе
И в голосе листвы, и в скрипе карбованца,
И в жолобе глухом на скомканном листе.

Но в жолобе глухом примеченных и смытых
Не запечатлено на стенках перстеньком
Огромное лицо, целующее свиток –
Утробных линий плод – коротким языком.

Огромных линий плоть – отлитая за то, что
Имперской темноты заказывает путь
Туда, где черепок, протяжный жук, застежка
Не смеет тяжело и нежило вздохнуть.

Март 1981

Тачавший сапоги – назад, к дратве,
Точивший желтяки – за должниками,
А я с тобой – к рассеяной траве,
Как платье холодевшей под руками.

Давай из города, где в вогнутом окне
Плетутся озолоченные тени,
Где вышний свет, что призрак в простыне,
Нисходит на морозные ступени.

Шажком по заметенной мостовой
Он катится-покатится украдкой
И матовой кудлатой головой
Трясет над развороченной подкладкой.

1981 (?)

Живу, как все. В долгу у всех,
Коснется кто, кто не коснется;
Ни светлый смех, ни смертный грех
Не увеличивают сче́тца.

Когда их разочтут со мною,
Безмолвно выйду из парадной,
В затылке – с рыбою ледяной,
Во рту – с горошиною холодной.

В тот светлый день из всех ворот
Машины выедут безмолвны,
И льда по ребрикам широт
Обколются сухие волны,

И дребезг жизни, смерти свист –
Всё остановится у скоса,
Когда обтаявшая рыба
Сгорит, как северная роза.

Декабрь 1982

...Не с Богом бился я в ночи...

В. Х.

Я наг, сновиденьем зажат
В огней неистомимых клинья.
Три птицы нежные жужжат
Над телом жаждущим аминя.

Я знал, как сделался таков:
Я кинул Божьи дарованья
Добычей праздничных оков
Покоя, жизни без страданья.

Я тельце мягкое сложил
К неразрешенным волей ласкам,
На три мотка железных жил
Я ртами костными растаскан.

Неужли, Боже, это я?
Костяк стеклянный у подножья
Засохшей чашки бытия,
Где тризну правит горечь Божья?

Три птицы снежные Твои
Мне были посланы недаром,
Когда в последние слои
Втекал я духом перестарым.

Скажи, Ты знал, кто я такой?
Скажи, Ты знал, что я такое?
Когда безвольною рукой
Приял я жажду о покое?

1986

Эпиграмма

Культура вычерпана ситечком до дна
Растлившимся печалью человеком.
Все музы померли. Царюет лишь она –
Десятая, неведомая грекам.

Она еще одышествовлет ночь
Вздыхающими крыльями сухими.
Она – не склеротички этой дочь,
Но дочь Присутствия, горящей Шехины.

Апрель 1987

Калле КАСПЕРАННИКА¹*Перевод с эстонского Гоар Маркосян-Каспер**Париж, 2003 год***Глава первая****ГОЛОС**

Анника проснулась, как всегда, от громохота мусороуборочной машины, и, как всегда, ее охватил бессильный гнев. Машина еще только приближалась к их дому, но шум уже был невыносим. Почему эту работу нельзя было делать немного тише или немного позднее? Создавалось впечатление, что мусорщики нарочно, в отместку тем, кому не приходилось вставать в темноте и рыться в отходах, с грохотом ворочали контейнеры и хлопали дверцами машин. Так это было в Милане, там даже хуже, поскольку Анника жила в районе гостиниц, где мусорные баки стояли сплошными рядами, но и тут, в Париже. Протест черной Африки против тунеядства белых – ибо мусорщиками трудились в основном негры. Только кто их сюда звал? Никто, миновала эпоха не только рабовладения, но и колониализма, нынче негры сами стремились в Европу и, ради того, чтобы до нее добраться, готовы были даже рисковать жизнью, а достигнув цели, страдали от непривычного климата, ходили по зимним улицам с отчаяньем в глазах, но возвращаться домой не хотели ни за что. С французами эту тему обсуждать не стоило, сразу слышались упреки в расизме, даже с Пьером надо было соблюдать осторожность, Анника хорошо помнила, как они впервые летели вместе из Милана в Париж, и по пути из аэропорта до дома Пьера, в электричке, вагон которой был битком набит неграми, она в шутку шепнула Пьеру на ухо (действительно только в шутку): «Послушай, а ты уверен, что мы в Париже, может, это Найроби?» Пьер промолчал, даже не усмехнулся, и Анника сразу поняла, что сказала что-то очень не то.

Мусоровоз доехал до их дома, послышался знакомый свисток, которым один мусорщик о чем-то оповещал другого – о чем именно, Анника не знала, десятки раз она обещала себе в следующий раз встать и выглянуть в окно, но в нужный миг не могла себя заставить – после свистка же сразу послышалось несколько громких ударов. Куда можно было спрятаться от этого шума? Другие выбрали бы под спальню комнату с окнами во двор, но она в том помещении распевалась. Да и наверняка и там нашлись бы свои источники грохота. В мире, казалось, уже не осталось уголка, где что-то бы не стучало, не гудело, не визжало, не дребезжало, не тархтело, когда все мотоциклы, сигнализации и динамики случайно замолкали, бухал, к примеру, фейерверк. Хочу

¹ Фрагмент из четвертого тома романа-эпопеи «Буриданы» (также публикации отрывков см.: Звезда, 2015, №7; 2016, №12; 2018, №2, №3).

Калле Каспер родился в 1952 году в Таллине в семье юристов. Окончил отделение русской филологии Тартуского университета и Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве (теоретический курс). Автор шести сборников поэзии, тринадцати книг прозы, целого ряда пьес и киносценариев. Публиковался в журналах «Звезда», «Нева», «Новый мир». Лауреат премии имени Таммсааре (после выхода шестого тома романа «Буриданы», 2013). Лауреат премии журнала «Звезда» (2005, 2017).

на Рухну, подумала Анника жалобно. Одиноким остров, где она в детстве и в юности проводила почти каждое лето и где, помимо прочего, потеряла невинность, остался в ее памяти местом, где тишину нарушали лишь птичье пение, блеяние овец и мычание коров и где можно было пойти на берег моря и слушать прибой без того, чтобы к этому примешивались другие звуки, разве что визг чаек. Увы, тоска по Рухну была чисто теоретической, и не только потому, что Анника привыкла к удобствам и не могла себе представить, как можно обходиться без душа и ходить во двор в нужник, просто родители уже продали дачу, после независимости стало невозможно ее содержать, и дорого, и хлопотно, к тому же раньше на Рухну летал кукурузник, а теперь вроде не стало даже вертолета, на который Анника все равно бы не села.

Мусоровоз отправился дальше, к следующему дому, и восстановилась относительная тишина, можно было еще немного подремать, но Анника знала, что если заснет, будет весь день сонной. С наибольшим удовольствием она бы сразу проверила голос, но Пьер еще крепко спал, муж от мусоровоза не просыпался. И почему бы ему не спать крепко и спокойно, разве у него были такие проблемы, как у Анники? Анника завидовала мужу, как она завидовала вообще всем людям с «нормальной» профессией, например младшей сестре Биргит, дизайнеру, или двоюродной сестре Кристель, районному, или, как теперь говорили, семейному врачу – да что про них говорить, она завидовала даже музыкантам, они-то могли после концерта сунуть свой инструмент в футляр, чтобы защитить его от ветра и дождя – а куда было ей прятать голос? Голос всегда был с ней, это была частица ее самой, ее тела, но одновременно и рабочий инструмент, который никогда не должен выйти из строя – поскольку как невозможно класть в стену кирпичи без мастерка или бурить дырку без дрели, так нельзя и петь без голоса. Другие считали ее везунчиком, которому природа сделала бесценный дар, и только сама Анника знала, что сопровождало этот широкий жест – бойтесь данайцев! – постоянный страх, что в некий жуткий день из горла не выйдет ни единого звука. Она сотни раз видела во сне один и тот же кошмар, как она стоит на сцене, должна спеть арию, оркестр уже берет первые ноты, она открывает рот – и голоса нет. Может, только у летчиков, подумывала она иногда, такая же или еще более нервная профессия, они ведь тоже находятся в зависимости от внешних обстоятельств – случится что-то с мотором, и что ты будешь делать? – но у них есть хотя бы автопилот...

Она повернулась на другой бок, и только сейчас... странно, что это не выскочило сразу, еще недели две назад она каждый раз, открыв глаза, чувствовала, как через голову словно проходит ток, и след за этим – ощущение счастья и волнения. Она – и Виолетта! На самом деле, Анника эту партию пела и раньше, даже несколько раз, но всегда в маленьких театрах, во французской или германской глуши, где зритель доволен уже тем, что для него вообще что-то исполняют, или в спектаклях на открытом воздухе, что было далеко от подлинного искусства и служило больше для того, чтобы пополнять семейный бюджет, а вот в Париже... Она вспомнила знаменательный день примерно год назад, когда вернулась из Таллина, или, вернее, из Тарту, и заметила уже в аэропорту, что у Пьера какой-то загадочный вид, до дома муж так и не продержался, едва вырулил машину на шоссе, как выплеснул: «У меня новость. Тебе предлагают роль в Шатле». Какую? – спросила Анника. В Шатле она уже пела, и не только там, но и в Опера, и совсем не маленькие партии, Микаэлу и Церлину, но на оперы Верди ее не приглашали, вердиевских партий, подхихивших ее голосу, в принципе было мало, Джильду она в молодости пела, но из армии исполнительниц этой роли выбыла «по возрасту», тут охотились за совсем молоденькими, оставались только Виолетта, Амалия Гримальди, возможно, в будущем Елизавета – но точно не Гризельда, не леди Макбет и, скорее всего, даже не Амелия из «Бал-маскарада». Но «Бокканегру» ставили редко, «Травиату», правда, часто, однако за партию Виолетты была жесткая конкуренция, самая популярная роль, легче всего (или труднее?) прославиться, да еще и написана так, что ее могли петь почти все сопрано, от лирического до драматического. Так что когда Пьер, выдержав небольшую паузу, с гордостью заявил: «Виолетту» (с гордостью, потому что чувствовал и свою заслугу), Анника сначала подумала, не сон ли она видит? Оказалось, что нет, все наяву, но ощущение сновидения не исчезло и теперь, за пару недель до премьеры. Ее преследовали приступы ужаса – а вдруг что-нибудь слу-

чится? Например, она простудится, потеряет голос? Премьеру, естественно, не отменят, это она знала хорошо, просто найдут замену, и ее мечта будет разбита...

Она снова изменила положение, на этот раз немного неосторожно, и Пьер сразу заворочался – шума муж не слышал, однако любое движение в кровати его будило. Некоторое время он еще лежал тихо, и Анника уже подумала, что он опять заснул, но вдруг он вскочил, так внезапно, что она даже испугалась, хотя и должна была уже привыкнуть к резким движениям мужа, все-таки двенадцать лет вместе – вскочил и направился, весьма уверенно обойдя в темноте кровать, в коридор и оттуда в ванную. Точно как отец, подумала Анника. Ребенком она много лет, пока родители не получили новую квартиру, спала в проходной комнате и слышала шаги отца, когда тот шел мимо нее в спальню или из нее, и когда она в первую проведенную у Пьера ночь проснулась на такие же шаги... Понемногу она поняла, что у двух этих мужчин немало общего, оба широкоплечие, с длинными крепкими руками, и неуклюжие, даже характеры схожи, несмотря на национально обусловленные различия в темпераменте, Пьер, правда, разговорчивее, тщеславнее и остроумнее, но ведь отец тоже не был лишен этих качеств, только у него они словно пребывали в спящем состоянии, просыпаясь изредка, в основном после нескольких рюмок коньяка. И что их объединяло больше всего, это, конечно, примирение с судьбой – отец теперь уже давно был на пенсии, но Анника хорошо помнила время, когда Вальдек Лоодер лелеял честолюбивые мысли стать завкафедрой, помнила и то, как эти грезы потихоньку развеялись. Пьер был моложе и еще сражался, но его упорство тоже из года в год ослабевало. Да и на какую славу может рассчитывать в современном мире музыковед? Написать монографию – это максимум, и этим Пьер и был занят почти все то время, что Анника его знала – но до завершения рукописи было еще далеко, каждая страница требовала недюжинной предварительной работы, надо было рыться в библиотеке, часами слушать пластинки, времени на это уходило много, и его еще следовало найти, оторвать от сна или отпуска, поскольку иные занятия, такие, за которые платили деньги, тоже нельзя было забросить, а все вместе было возможно только при постоянной самодисциплине, а вот этой последней у Пьера в последние годы стало не хватать – ибо, в самом деле, подумала Анника, ну, закончит он свою книгу, и что с того? Бестселлером она все равно не станет, Пьер же писал не о личной жизни певцов, а о вокальной технике, таким образом, наибольшее, на что муж мог рассчитывать, это признание коллег – а разве коллеги признают кого-либо другого, там каждый думал только о себе...

– Sa ei maga?

Это было одно из примерно двадцати предложений, которые Пьер выучил по-эстонски и которыми он пользовался каждый день, раньше, чтобы доставить Аннике удовольствие, а сейчас просто по привычке.

– Ei¹.

Только ответив, Анника испугалась – надо было воспользоваться отсутствием мужа и проверить голос, а она от рассеянности забыла, стала думать о всяких глупостях. Она это проделала сейчас, как только Пьер лег, прошла по одному регистру, по другому, третьему, и облегченно вздохнула.

– Kõik on korras?

– Korras nagu Norras.

Эти реплики тоже относились к ритуальным, хотя Аннике так и не удалось объяснить мужу, почему эстонцы приняли именно суровую холодную Норвегию за мерило порядка. Но это и неважно – важно, что муж это более-менее единственный человек, кто действительно понимал ее страх за голос.

– Siis on hästi².

Исчерпав таким образом одну седьмую часть своих запасов эстонского, Пьер повернулся ли-

¹ «Ты не спишь?» – «Нет» (эстонский).

² «Все в порядке?» – «Как в Норвегии». – «Ну и ладненько» (эстонский).

цом к Аннике и поднял край одеяла – ну, чего ты ждешь? И Анника без сожаления покинула согретую собственным телом часть кровати и перебралась в объятия мужа. Должно же у человека быть хоть одно место, где он чувствует себя в безопасности.

Глава вторая

...È STRANO

На парижских узких улицах даже сейчас, после окончания часа пик, было полно машин, так что они передвигались ненамного быстрее, чем пешеходы. В более теплый сезон Анника на репетицию предпочитала прогуляться, не до Опера, конечно, до той было все же слишком далеко, но до Шатле – да, однако зимой вдоль Сены часто дул ледяной ветер, и она не хотела рисковать. Метро она ненавидела, к тому же там всегда можно было подхватить заразу, так что, хотя сразу перед их домом находился вход во станцию, откуда можно было по прямой линии, без пересадки, доехать до Шатле, Анника им почти не пользовалась. После женитьбы они какое-то время снимали квартиру в тихом пригороде и перебрались в центр именно для того, чтобы избегать метро – оттуда Пьер никак не мог каждый день отвозить ее в театр и обратно. Новое обиталище было заметно дороже и поглощало большую часть Анникиных гонораров, но зато она теперь по-настоящему чувствовала, что живет в Париже, а не только ездит туда на работу. Когда не было репетиций, можно было после завтрака выйти на улицу и через пять минут оказаться в Люксембургском саду – почти как Жозефина, с которой Анника себя иногда сравнивала, ведь разве и она не возвысилась столь удивительно, правда, не до императрицы, а певицы, но для Анники это было даже драгоценнее, иногда она жалела, что не меццо-сопрано и не может петь «Золушку», ей было так близко то ощущение чуда, которая овладевает Анджелиной, когда принц просит ее руки. Был ли Пьер принцем? В тот раз, в Милане, когда он пригласил Аннику на обед и там, в одном маленьком неаполитанском ресторане сделал ей предложение, он действительно казался таким – хорошо одет, с великолепными манерами, рядом с ним эстонские мужчины выглядели изрядными хамами – и, несмотря на это, Анника весьма и весьма колебалась и сначала не ответила определенно, не только потому, что было страшно покинуть родину навсегда, в Милане она ведь только училась, но и потому, что никаких особых чувств к этому «принцу» она не испытывала. Но тогда, едва ли не на следующий же день, грянул путч в Москве, что сделало ситуацию еще драматичнее, выбор, перед которым она стояла, вдруг приобрел чуть ли не экзистенциальный характер – неужели вернуться в идиотскую страну, где даже оперы истолковываются в духе классовой борьбы? – и она сдалась под напором Пьера. Путч, правда, провалился, но, однажды решившись, она не стала ничего менять. Жалела ли она сегодня о своем выборе? Нет, это точно. Правда, ореол Пьера понемногу поблек, то есть сначала он возник, муж оказался не только галантным ухажером, но и темпераментным любовником – но чем выше в своей карьере певицы поднималась Анника, тем более бледнел ее спутник. Со временем она поняла и то, почему на нее вообще обратили внимание – Пьер, возможно, подсознательно, искал себе в жены молодую певицу, из которой можно создать диву, самонадеянные французенки для этой цели не годились, а вот скромная восточноевропейка из бывшего социалистического лагеря должна была стать достаточно мягким воском в руках очередного Пигмалиона. Но то, что Анника сегодня словно видела мужа насквозь, не уменьшало ее благодарности, ведь Пьер ввел ее в совершенно другой мир, не в экономическом смысле, никакой особенной роскошью он окружить Аннику не мог, но в музыкальном – у Пьера была замечательная коллекция старых пластинок, и несколько первых лет они проводили все вечера, слушая и анализируя, как пели Патти и Тетрацини, Канилья и Тебальди, до сих пор Анника, подобно многим, считала лучшей певицей Каллас, и только Пьер объяснил ей, насколько ошибочна эта внушенная миром денег оценка. Пьер повел ее и к лучшему парижскому педагогу вокала, в Италии Анника хоть и получила хорошую основу, но учеба оказалась короткой, провал

путча, как ни парадоксально, нанес Аннике вред, после развала Советского Союза не осталось никого, кто платил бы за ее уроки, из Таллина сразу сказали: «Что вы, у нас таких денег нет...» Жанин тоже работала не бесплатно, в этом новом мире, куда Анника попала, места альтруизму не было, или ты борешься за свое материальное благополучие, или перебираешься под мост через Сену, вот и Пьеру пришлось вначале вложить в ее уроки свои немногие сбережения, однажды даже брать кредит в банке, у родителей он просить не хотел, те хотя и были людьми обеспеченными, но предпочитали жить, ни в чем себя не ограничивая, сыну они дали хорошее образование и считали, что на сем их обязанности исчерпаны...

– Ваш любимый Нотр-Дам, мадам, – услышала она ироничную реплику Пьера и повернула голову направо. Пьер относился к парижским достопримечательностям весьма прохладно, Лувру он предпочитал поставленную в его дворе омерзительную стеклянную пирамиду, а над золотистым Гарнье смеялся публично, называя его эталоном дурного вкуса, зато Анника по сей день не могла не удивляться красоте своего нового родного города, вот и сейчас она почувствовала прямо-таки опьянение, разглядывая в течение тех двадцати секунд, которые потребовались, чтобы переехать мост Сен-Мишель (Пьер джентльменски снизил скорость), силуэт Нотр-Дама. Погода была облачная, и при мутном зимнем освещении собор казался серым, словно долго простоявший на воздухе белый пластилин, из которого Анника в детстве любила лепить всяких зверьков. Две тупые, словно недостроенные, по сравнению с таллинскими и тартусскими церквями, столь непривычные башни стояли героически, словно двое безголовых мужчин; Анника часто размышляла над тем, в чем состоит их очарование, и, наконец, решила, что, наверно, в том, что они как будто символизируют трагическое бессилие человека перед вселенной и временем. Нет смысла гоняться за невозможным, жизнь имеет очень конкретные очертания, и стремиться к максимуму надо в этих пределах.

Нотр-Дам промелькнул и пропал из виду, они переехали Сите, потом «мост валютчиков», как Анника в шутку окрестила мост Менял, и выкатились к Шатле.

– Kell kolm?¹ – спросил Пьер, остановив машину – числа по-эстонски муж знал.

Анника покачала головой.

– Kas sa ei mäleta, mul on kohtumine Kajaga².

Пьер глупо вытаращился на нее, Анника засмеялась и повторила последнее предложение по-французски.

– А, верно, – вспомнил Пьер.

– Я обещала сводить ее в Кафе де ля Пэ. Может, присоединишься к нам там, скажем, около пяти? – предложила Анника.

Как все мужчины, Пьер тоже был болезненно ревнив, потому Аннике приходилось внимательно следить за тем, чтобы не дать ему ни малейшего повода для подозрений – мало ли, что жена говорит, дескать, идет обедать вместе с кузиной, а на самом деле побежит после репетиции в гостиничную комнату тенора.

– Ты разве не помнишь, у меня запись, – сказал Пьер, в свою очередь с огромным удовольствием подчеркивая, что не он один невнимателен к делам супруги, но и наоборот.

– Ах да, верно, – притворилась Анника смущенной.

Эти телезаписи были для Пьера весьма важными с точки зрения самооценки, примерно раз в месяц ведущая музыкального канала собирала самых известных парижских музыковедов, чтобы проанализировать новейшие диски, фильмы и книги о музыке; беседа, правда, шла в духе легкой болтовни, но давала возможность блистать остроумием, и Пьер всегда был горд, если ему удавалось сказать что-то меткое.

Они договорились, что встретятся дома, Пьер добавил настойчиво, чтобы она не скупилась и взяла такси, поцеловал ее бегло в губы, и Анника вылезла из машины – при всей галантности

¹ «В три?» (эстонский).

² «Ты разве не помнишь, у меня встреча с Каей» (эстонский).

мужа было бы чересчур ожидать, чтобы он вышел и открыл для нее дверцу, современные европейцы так себя не вели.

Минутой позднее она уже шла по окрашенным в белый цвет коридорам театра, отвечая на приветствия оркестрантов, хористов и швей. Сегодня должна была состояться первая репетиция в костюмах, но обычного оживления это в Аннике не вызывало, постановщик и художник были из Германии, и что у немцев абсолютно отсутствовало, так это вкус – наоборот, казалось даже, что они получают какое-то особое удовольствие от уродования всего. Пьер полагал, что в этом выражается комплекс вины по поводу Второй мировой войны – немцы, вываливаясь в грязи, упивались своим унижением; может, муж и был прав, но что от этого Аннике? Костюм она уже видела на примерках, и никто не мог бы ей внушить, что он красив, вместо бального туалета девятнадцатого века ее Виолетте пришлось надеть простенькое платьице с пуговицами спереди, иными словами, почти халат. Правда, сидел «халат» на ней неплохо, французы умели даже самый жуткий костюм шить так, чтобы он изящно облегал тело, но это было небольшим утешением. С завистью Анника думала о временах, когда постановщики и художники старались имитировать особенности эпохи, это было, кстати, не так давно, судя по видеозаписям, всего лишь лет двадцать назад – теперь же исторические костюмы стали редкостью, которую позволяли себе только самые богатые театры, и то не всегда, остальные экономили как на тканях, так и на декорациях, перенося действие в наши дни.

В гардеробе, который своими выкрашенными в синий цвет шкафчиками и полочками напоминал Аннике ее «девичью» комнату в отцовском доме, все было уже готово, «халат» висел на вешалке, туфли, такие же простенькие, почти без каблука, ждали на полу. Надев платье, Анника на секунду остановилась перед зеркалом – действительно только на секунду, потому что никакого восторга зрелище не вызывало, и села за стол, чтобы поправить прическу и напудрить нос. Грим на эту репетицию еще не полагался, да и вряд ли тут вообще будет особый грим, постановщик добивался «жизненной правды» во всем, а в современной жизни ни одна уважающая себя европейка уже не красилась – кроме Анники, которая наперекор всем накладывала тени и подводила брови, не говоря о всевозможных кремах, и дневных, и ночных, от которых она не отказалась бы даже под угрозой смертной казни. «Неужели тебе нравилось бы, если твоя жена ходила по городу с блеклым морщинистым лицом, как все эти сумасшедшие феминистки?» – отвечала она на регулярные поддразнивания Пьера, мужа преследовали противоречивые чувства, с одной стороны, его тщеславию льстило, что его жена выглядит лучше, чем остальные, с другой же он стеснялся того, что Анника не желает придерживаться «передовых» воззрений. «Ты никогда не попадешь на сцену Опера, если пойдешь на прослушивание накрашенная!» – сказал он как-то ей с упреком. «Вот увидишь, попаду!» – ответила Анника и, как обычно, оказалась права.

Радиозузел заработал, ассистент сообщил, что участников первого акта вызывают на сцену, он старался говорить медленно и ясно, чтобы иностранцы тоже поняли, это выглядело искусственно, но симпатично, и Анника улыбнулась. В коридоре она встретила Карлоса, тенор, на голову ниже Анники, шел со стороны своего гардероба, в клетчатой рубашке, линялых джинсах, с главным компонентом современной мужской моды, недельной щетиной на лице. Несмотря на убогий костюм, в маленьких карих глазах Карлоса сверкало безмерное довольство как собой, так и всем миром – и почему ему и не быть довольным, подумала Анника, тенора ценились высоко, так это было всегда, но в последнее время особенно, этот голос стал редкостью, и их гонорары были намного выше, чем у других певцов.

Они поздоровались радостно, как принято в театре, и пошли вместе дальше к сцене.

– А что, ваш костюм еще не готов? – сказала Анника *mezza voce*, на всякий случай интонацией обозначая, что шутит – тенора не всегда понимали юмора.

– Как же не готов? А это что? – ответил Карлос, торжественно показывая на рубашку, и лукаво добавил: – Честно говоря, я собирался задать тот же вопрос вам.

Они обменялись многозначительными страдальческими взглядами – не было такого певца, который не приходил бы в отчаяние от осовременивания опер; когда разговор сворачивал на эту

тему, они ругали всласть диктатуру постановщиков, уничтожавших их жанр, и ностальгировали по времени, которого никто из них не видел, но о существовании которого они все прекрасно знали – о том времени, когда такой профессии, как постановщик, не существовало, были только дирижер, оркестранты и певцы.

Хор был уже на сцене, и, увидев, как они одеты, Анника чуть было не расхохоталась. Ну и зрелище! Карлосу хотя бы оставили рубашку, хористы же были вынуждены довольствоваться одними джинсами, при голых торсах. А хористки – бедные хористки! Все они, и молодые и не-молодые, и худые и полные (больше полные, чем худые, пение добавляло веса) были облачены в самые что ни есть простецкие, различавшиеся только по цвету майки, оставлявшие бедра голыми, ибо юбок не полагалось.

Словом, не салон Мари Дюплесси, а дешевый бордель.

Мизансцены они репетировали всю предыдущую неделю, сегодня собирались их повторить, Юрген – так звали режиссера – хотел посмотреть, как движение гармонирует с костюмами. Такие наполовину «технические» репетиции были самыми противными, работа шла медленно, со многими остановками, петь во весь голос не имело смысла, да этого обычно и не требовали, но всего лишь обозначивать мелодию тоже было нельзя.

Из зала на сцену поднялся Юрген, в элегантном белом костюме (сам-то он любил хорошо одеваться), поздоровался со всеми, сделал Аннике комплимент, мол, ей подходит костюм (Анника проглотила это с кислым видом), сказал художнику, что он «очень доволен», и бросил быстрый взгляд в сторону оркестровой ямы. Джованни еще не было, но вот подошел и он, со своим обычным рассеянным видом, взялся за дирижерскую палочку, и когда Юрген вернулся в зал, за свой пульт, репетиция началась.

Они прошли начало первого акта, в ходе которого злополучных хористок заставляли проделывать самые дикие вещи, болтать ногами, лежа на спине на диване, и даже имитировать половой акт, потом Бриндизи и дуэт. На последний ушла масса времени, поскольку Юргена все никак не удовлетворяла игра Карлоса, Анника толком и не поняла, чего именно постановщик от несчастного тенора добивается, тот, по ее мнению, был достаточно романтичен и влюблен – но кто знает, может, как раз это режиссеру и не нравилось.

После короткого перерыва довольно долго провозились со сценой, где гости расходятся, и Анника уже стала побаиваться, что до ее арии сегодня так и не дойдут, но Юрген внезапно остановил репетицию, отправил хор домой, и Анника осталась на сцене одна.

Как создать верный внутренний настрой для последующей сцены, она придумала давно – ее всегда забавляло, что начальные слова ее арии, «...è strano, è strano...», означают по-итальянски то же, что по-русски – странно. Анника не однажды пыталась выяснить, совпадение ли это, или русские, недолго думая, просто переняли это слово у итальянцев, но никто не знал. В любом случае, это выглядело немного комично – точно так же, как выглядело слегка комичным и внезапное признание в любви молодого дворянина ей, падшей женщине.

Вот это сходство она и использовала, дальше, когда правильное состояние было поймано, все шло уже просто, слова арии говорили сами за себя, не было нужды что-либо придумывать – сожаление по поводу неудавшейся жизни, мрачные, предугадывающие скорую смерть мысли, отчаянный, искренний порыв веселья, и беглый луч надежды, когда вдруг померещился голос Альфредо. Мизансцена, к счастью, была самая обыкновенная, она должна была сесть перед зеркалом, начать снимать – воображаемый – мейкап, а в начале кабалетты встать и посмотреть вдаль.

Но как только она спела первые ноты, Юрген вмешался.

– Секундочку, пожалуйста.

Оркестр прекратил играть.

– Мадам Буридан, у меня возникла одна идея... – начал Юрген в микрофон, но не продолжил, а неожиданно вскочил и пошел в сторону сцены.

Мадам Буридан – это была она, Анника. Когда они с Пьером начали свою совместную жизнь и работу, сразу возник вопрос, под каким именем Аннике во Франции выступать. Свою фамилию

Пьер отверг, она была весьма обыкновенной и не позволила бы создать вокруг Анники легкую таинственность, которую муж считал необходимой. Фамилия самой Анники, Лоодер, в эстонском написании выглядела бы глуповато, Пьер предложил поменять ее на французское *Lauder*, но это в свою очередь не понравилось Аннике, она не хотела, чтобы ее связывали с парфюмерной фирмой. Вот тут ей и вспомнилась девичья фамилия бабушки Виктории, которой дядя Пээтер уже пользовался в качестве псевдонима. Пьер эту идею одобрил, и она стала Буридан.

Поднявшись на сцену, Юрген подошел вплотную к Аннике и сказал приглушенно:

– Мадам Буридан, по-моему, эта мизансцена слишком обыденна. Я долго думал, как бы ее оживить, и сегодня ночью меня озарило. Тот текст, который вы поете – Виолетта словно обнажается перед публикой, не правда ли?

– Скорее, она разговаривает с собой.

– Ну, это почти одно и то же. В любом случае, в этой арии она до предела честна, так сказать, совершает духовный стриптиз.

– Возможно, в какой-то степени, – согласилась Анника неохотно.

– Ну так себя и ведите.

– В каком смысле?

Анника почувствовала, что краснеет.

– В самом прямом. Садиться не надо, останьтесь стоять, и с первой же фразы начните расстегивать платье. *Quell'amor ch'è palpito* пуговицы должны быть расстегнуты, там сделаете небольшую паузу, а когда дойдете до *Sempre libera*, срываете с себя платье, отбрасываете и допеваете арию – словно вызов, стоя посередине сцены, лицом к публике. Все понятно?

Анника была так потрясена, что не смогла произнести ни слова. Пока она думала, что и как возразить, Юрген уже повернулся к ней спиной и спустился обратно в зал.

Джованни, который их разговора не слышал, посчитал, что обо всем договорились, поднял палочку и подал Аннике знак – первые ноты она должна была спеть без оркестра.

Хорошо, подумала Анника, петь я могу.

– ...è strano, è strano... *In core scolpiti ho quegli accenti!*

На секунду вмешались смычковые инструменты.

– *Sari'a per me sventura un serio amore? Che risolti, o turbata anima mia? Null'uomo ancora t'accendeva*, – продолжила она, но в музыку уже врезался голос Юргена:

– Стоп!

Джованни отпустил палочку, наступила тишина.

– Мадам Буридан, будьте любезны, начните раздеваться с первых же нот, а то вы не успеете...

Анника почувствовала, как вдруг все взгляды обратились в ее сторону – Джованни, оркестранты... Даже Карлос, до реплик которого была еще пара минут, появился в кулисах и оттуда наблюдал за происходящим.

– Прошу с начала! – произнес Юрген требовательно.

Анника бросила умоляющий взгляд в сторону Джованни – ну скажи что-нибудь, защити меня, но дирижер, в повседневной жизни чрезвычайно скромный, даже стеснительный, смущенно смотрел в сторону, словно давая понять – это не мое дело, у каждого своя работа...

– Ну что ж, – подумала Анника. – Может, это и не так страшно...

Голых певиц она видела немало, это было словно манией – раздеть всех женщин, началось все с кинодив, дальше перекинулось в драмтеатр, а сейчас и в оперу. Правда, она сама всегда была уверена, что ничего такого никогда делать не будет, однажды, в начале карьеры, на нее в этой самой «Травиате» пытались надеть какую-то прозрачную хламиду, под которой было настоящее проститутское белье, однако она устроила скандал и костюм поменяли – но то случилось в провинции, где нравы были на ее стороне, директор театра отнесся к ее протесту с пониманием, и помощь Пьера даже не понадобилась – но тут был свободомыслящий Париж.

– ...è strano... è strano, – начала она, подняла руку к верхней пуговице, но сразу же отдернула ее, как ужаленная.

– Нет, – сказала она, поняла, что интуитивно заговорила по-эстонски, и повторила по-французски: – Non.

– В каком смысле – нет? – послышался на весь зал удивленный голос Юргена.

– Я этого делать не буду. Я певица, а не стриптизерша, – выпалила Анника громко.

При последних словах через оркестр словно прошел шорох, и Анника сразу пожалела, что ответила так резко. Пожалела, но в следующую секунду подумала – к черту, конфликт так конфликт.

Сердце билось, лицо пылало, может, было бы правильнее сойти со сцены и сесть в первый ряд, но Анника нарочно не двинулась с места – пусть видят, что она не боится Юргена. Она достаточно хорошо узнала западных мужчин – при всей внешней самоуверенности они были невероятно трусливы.

Однако, она не учла, что публичный бунт не оставляет Юргену выбора.

– Мадам Бурдидан, вы говорите так, словно вы считаете себя в чем-то лучше стриптизерш, – продолжил тот холодно. – Это опасное заблуждение. И вы, и они артистки, и ваше тело – это ваш рабочий инструмент.

– Мое рабочий инструмент не тело, а голос.

– В таком случае я советую вам переквалифицироваться в камерные певицы. В опере с такой философией делать нечего.

Последняя фраза звучала настолько категорично, что Анника поняла – теперь у нее нет выбора.

– Значит ли это, что я снята с роли?

– Если вы откажетесь выполнять творческую задачу, то можете интерпретировать это именно так.

Вот и все, подумала Анника. Прощай, Шатле, прощай, Виолетта! Конечно, она же не примадонна, с капризами которой считаются, она всего лишь одна из многих перебравшихся после падения железного занавеса с Востока на Запад певиц, таких как она великое множество, не разденется одна, это сделает другая, в вокале современный зритель все равно не разбирался, главное, чтобы фигура была тип-топ!

Она повернулась и прошагала стремительно, с гордо поднятой головой, через кулисы в коридор, по пути чуть было не сбив с ног Карлоса, который оживленно обсуждал что-то с электриком.

Глава третья

ПЕВИЦЫ И ПРОСТИТУТКИ

Чего не увидели Юрген, Карлос и оркестранты, то могли мельком лицезреть два молодых хориста, появившихся в коридоре как раз в тот момент, когда Анника мчалась к гримборной – ей было так невтерпеж убраться из этого здания, что она стала снимать «халат» уже по дороге. Пусть таращатся, подумала она равнодушно, она уже давно презирала западных мужчин, ставших рабами голого женского тела. Куда пропало их чувство чести? Так ли подобало вести себя потомкам рыцарей и трубадуров?

Молния жалобно завизжала, когда Анника гневно застегнула ее, свитер она таки надела сначала наизнанку, затем села – в последний раз! – на модный и неудобный алюминиевый стул, натянула сапоги, с молниями которых обошлась все же осторожнее – новые сапоги стоили немало даже в ситуации, когда с гонорами все было в порядке, вскочила, схватила куртку, шарф, шапку и сумочку, убедилась, что все это одновременно нести в руках невозможно, быстро влезла в куртку, вышла в коридор и помчалась, ни на кого не глядя, к выходу, краем глаза все-таки примечая заинтересованные взгляды идущих навстречу – в театре скандальные новости распространялись молниеносно. На выходе с ней пытались заговорить, но Анника не замедлила шага и, как это ни невежливо (в чем сторож-то виноват?), даже не попрощалась, кто знает, может, она и дверью бы

хлопнула, но это, увы, было невозможно – новомодная тяжелая дверь не слушалась тебя, а закрывалась только с той скоростью, которая нравилась ей самой – как и жизнь.

Интересно, если бы мне дали выбрать – стриптиз или смерть, я и тогда отказалась бы раздеться, подумала она, очертя голову убегая подальше от театра. Очень хотелось ответить на этот вопрос гордо: «А как же!», но такой молодой и глупой Анника все же не была, чтобы не знать – одно дело то, что ты полагаешь, а совсем другое, как поступаешь.

На ходу напялив на голову шапку и обмотав вокруг шеи шарф, она дошла до перекрестка и остановилась. Надо было позвонить Пьеру, правда, отсюда это делать было неудобно, мешал уличный грохот, но ее нервы были слишком расстроены, чтобы тратить время на поиски места потише. Дрожащими пальцами она вытащила из сумки мобильный телефон, номера, к счастью, набирать не приходилось, чуть ли не первый раз она убедилась, что прямой контакт на что-то годится, до сих пор она считала это забавой ленивых и глупых. Однако в следующий момент она чуть было не расплакалась от разочарования, ибо вместо обычного Пьеровского «уи» услышала анонимный женский голос, сообщивший, что телефон мужа отключен. Конечно, Пьер не ожидал ее звонка, он сидел в библиотеке, работал и не хотел, чтобы его тревожили. И что теперь делать? Анника глубоко вздохнула пару раз и решила для начала успокоиться – поскольку изменить что-либо все равно было уже нельзя. Караян в Зальцбурге выкинул Агнес Бальцу с генеральной, и никто ему помешать в этом не мог. Конечно, Юрген не Караян – но и она не была Бальцой, по крайней мере, пока еще. И уже не буду, подумала она убито. Конечно, ее карьера на этом не закончится, никто не может запретить ей петь, но она понимала, что с этого момента за ней, как шлейф, будет волочиться дурная слава капризного артиста. Ах, эта та Буридан, из-за которой чуть не отменили спектакль в Шатле?.. Ей стало ужасно себя жалко, и она подумала, ну почему я ответила Юргену так резко, если бы я не стала противопоставлять себя стриптизершам, может, и он вел бы себя сдержаннее, например, остановил бы репетицию и попытался договориться со мной мирно, и, может, тогда мне удалось бы его переубедить...

«Ничего тебе не удалось бы», – услышала она вдруг в левом ухе знакомый голос. Этот голос вшивался в ее жизнь нечасто, но всегда в какой-то очень важный момент, и был это голос бабушки Виктории. Анника хорошо помнила бабушку, хотя и была еще маленькой, когда та умерла, и они даже никогда не жили вместе, бабушка обитала в Таллине, их семья в Тарту. Но больше, чем бабушкин внешний облик, она помнила ее лаконичную, точную и категоричную речь. Ей казалось тогда, что бабушка знает все на свете, и хотя это явно было не совсем так, но она до сих пор была убеждена, что какие-то очень важные вещи бабушка действительно знала лучше всех. И сейчас ее голос вернул Аннику из мира фантазий обратно на землю – да, естественно, Юрген никогда бы не уступил ей.

«Так что я поступила правильно?» – спросила она про себя.

Бабушка не ответила сразу, но когда снова послышался ее голос, он был еще увереннее:

«У тебя не было выбора. Мир мерзок, люди подлецы».

Эту последнюю реплику Анника из уст бабушки уже слышала, правда, нечаянно – отец с бабушкой беседовали о чем-то на бабушкиной даче, она же играла в саду, и через открытое окно до нее донеслись эти слова, по смыслу тогда не совсем понятные. Когда она выросла и стала понимать значение, она подумала – при ней бабушка никогда не сказала бы ничего такого, это было предназначено только для папиных ушей и только в такой ситуации, в какую папа тогда попал – перед ним стояла сложная дилемма, от которой зависела его карьера. Позже отец неоднократно и по очень разным поводам повторял эту фразу, значит, она оказала влияние и на него. Разница была в одном – Анника хорошо помнила, что бабушка добавила к сказанному еще одно предположение, и вот его – «Но, Вальдек, это не означает, что мы должны быть, как все» – отец уже не повторял.

– Мадемузель, я могу вам чем-то помочь?

Некий мужчина, немного похожий на Бельмондо, подошел к ней и слащаво улыбнулся. С Анникой это случалось и раньше, стоило ей где-то на улице размышлять, как к ней начинали приставать, это было утомительно, но приятно – значит, ты еще интересуешь кого-то как женщина.

Она поблагодарила, сказала, что все в порядке, даже улыбнулась незнакомцу, но с тем уловимым оттенком, который говорил: не старайся, приятель, все равно у тебя ничего не получится, и пошла дальше. Мобильник она все еще держала в руке, теперь она сунула его обратно в сумку и огляделась, размышляя, где скоротать время. Недалеко находился центр Помпиду, но туда ее не тянуло, этот дом с трубами был мало похож на храм искусства – скорее на газовую станцию. С Пьером они неоднократно спорили об этом здании, муж, как и большинство французов, был очень прогрессивным, его пленяло все новое и экстравагантное, не только в архитектуре, но и в музыке, он пытался даже внушить Аннике интерес к Рихарду Штраусу и Бриттену, но Анника просто не выносила эту «додекакофонию», как она окрестила всю додекафоническую музыку. Однажды, когда они очень нуждались в деньгах, она спела Арабеллу, и когда занавес закрылся в последний раз, вздохнула с огромным облегчением. Даже Гендель по ее мнению был не столь страшен, хотя она и не могла понять, что французы и прочие европейцы находят в его однообразной бесстрастной музыке. Однако, может, они именно бесстрастности и искали, зажавшиеся и самодовольные, они не желали никаких катаклизмов, ни в жизни, ни в искусстве, пусть им только дадут пить вино и смотреть порно. У Пьера тоже было большое собрание порнофильмов, которое он в первые годы их брака пытался продемонстрировать Аннике – для чего? Чтобы довести ее до какого-то чрезвычайного экстаза? Никакого экстаза эти фильмы не вызывали, только отвращение, и со временем Пьер отказался от подобных попыток; впрочем, кто знает, возможно, в отсутствии Анники он вовсе не слушал музыку, как утверждал, а глядел на потные тела? Анника старалась об этом не думать, точно так же, как она вообще старалась отгородиться от мира, который ее окружал – она не читала модные книги, представлявшие собой или такое же порно, или, в лучшем случае, нагонявшие такую же скуку, как Гендель, не ходила на выставки современного искусства, не говоря уже о концертах современной музыки. Что касается оперы, то композиторов, которых она полностью и безоговорочно любила, было четверо – Россини, Беллини, Доницетти и Верди. Из написанных всеми прочими партий она с удовольствием пела только Мими и Маргариту, а вот Микаэла казалась ей уже весьма скучной, хотя «Кармен» в целом была ничего. Вагнера она ненавидела, Моцарта... Моцарт по мнению Анники был композитором, чья слава в жанре инструментальной музыки удерживала в жизни и его весьма монотонные оперы (хотя на голос они действовали неплохо). Даже «Корсар», несмотря на нелепое либретто, был намного интереснее «Волшебной флейты» – ибо Верди был разнообразным: романтичным, темпераментным, глубоким, он проникал в самые тайные уголки твоей души, заставлял страдать и чувствовать муки совести, очищал и возвышал. А меланхоличный Беллини! Ох, с какой радостью Анника пела бы Эльвиру или Амину, в первый раз это у нее, может, не получилось бы наилучшим образом, но во второй, в третий... Однако Беллини ставили редко, Доницетти, правда, чаще, но в основном только «Лючию» и комические оперы – Анника даже не слышала всех его произведений, их было много, некоторые вовсе забыты. Она любила и Россини, хотя этот жизнерадостный композитор был немного чужд ее северной натуре, но Россини, увы, свои лучшие, комические партии написал для меццо-сопрано...

Куда идти, она не знала, но и здесь, на забитой машинами Риволи не хотелось торчать дальше, поэтому Анника быстро, не дожидаясь, пока светофор переключится на зеленый – наедут, так наедут, перешла на другую сторону улицы и свернула в первый же переулок. Только сейчас она заметила, что ее куртка до сих пор распахнута, парижская зима, правда, мало напоминала эстонскую, вот и сейчас светило солнце, но воздух все равно был холодным, и легко можно было простудиться... ну и что с того, спросила она себя, машинально застегиваясь. Следующая работа предстояла только весной, в Ницце, стоило ли об этом заботиться? Стоило ли вообще заботиться о голосе, может, разумнее бросить пение?

Да, но что я тогда делать буду, задала она себе сразу следующий вопрос. Стану домохозяйкой, буду варить Пьеру супы? Готовить Аннике нравилось – но что об этом подумает сам Пьер, кому еще, кроме Анники, он будет нужен в качестве импресарио? И если даже нашлась бы другая певица, Анника никогда не позволила бы мужу стать ее агентом. А найти другую работу было очень нелегко, даже такому образованному человеку, как Пьер – на самом деле, именно у образованных

возникали при поисках работы самые большие проблемы. Даже если он что-то и найдет, зарплаты, хотя бы приблизительно напоминающей Анникины гонорары, он точно не получит. А это значит, что им придется ограничить свои расходы, для начала переселиться в квартиру подешевле... Конечно, дети – тогда они, наконец, смогли бы иметь детей, что было мечтой их обоих, Пьера не меньше, чем ее, супруг дожил до возраста, где отсутствие потомков начинает беспокоить мужчин – да, но опять-таки как накормить еще большую семью? Дети почему-то связывались у Анники с Люксембургским садом, она часто воображала, как идет туда гулять, сперва толкая перед собой коляску, потом ведя малышку за руку – но если вместо Люксембургского сада ее будет окружать дешевое предместье, полное противных арабов? Ненависть Анники к арабам была совершенно конкретной, никто, Пьер в том числе, не знал, что ей однажды пришлось пережить, она скрывала это от всех, но если бы у нее появилась возможность мстить, она бы их всех с удовольствием отправила на другой свет... Жить, изо дня в день боясь насильников? Арабы – это не французы, они не ухаживают, они идут и берут, если появится возможность, одна только мысль, что она может опять встретить их где-то, кроме относительно безопасного центра, была невыносима, уж лучше она вернется в Эстонию... Но что Пьеру делать в Эстонии? И какое будущее ждет их детей, если у них не будет средств, чтобы дать им образование? Надеяться на то, что Пьер однажды получит наследство родителей? Нет ничего более подлого, чем рассчитывать на чью-то смерть...

Конечно, можно было пойти на компромисс – ей же необязательно вовсе отказываться от пения, можно просто больше не думать о карьере, довольствоваться провинциальными театрами и летними фестивалями, петь всякую чушь – Люлли, Карпентьера...

Она остановилась, достала из сумки мобильник и снова позвонила Пьеру – тот все еще не отвечал. А вдруг он нарочно избегает меня? – возникло у Анники неприятное подозрение. Может, муж уже слышал про происшедшее и не знает, что ей сказать? Это было отнюдь не невозможно, Пьер был с директором театра накоротке, в конце концов, это он заключал договора за Аннику, это была его работа, которую муж, правда, делал не с очень большой охотой – музыковед, и должен заниматься пошлым бизнесом, но делал, это был его вклад в семейный бюджет, так что вполне возможно, что кто-то уже сообщил, что договор аннулирован. Но почему Пьер ей сразу не позвонил, он же должен понимать, что Анника вне себя, неужели и муж полагает, что она повела себя глупо – подумаешь, важность, показать публике свои прелести, что тут такого, все современные кинозвезды так поступают ... Но нет, этого не могло быть, наверно, Пьер просто углубился в какую-то партию.

Она посмотрела на часы – было почти три. С Каей у нее была договорено randevu на полчетвертого у Гарнье, так что следовало поторопиться. Встречи с родственниками были главным утешением ее эмигрантской жизни, время от времени кто-то приезжал из Таллина или Тарту и останавливался у Анники, то Биргит, то дядя Пээтер, или еще кто-нибудь, но чаще всего в Париже бывала Кая, которая и сама уже немало лет жила за рубежом, в Милане, где она поселилась после окончания университета с одним молодым ломбардцем, любовь, правда, скоро прошла, но возвращаться на родину Кая не стала, она нашла работу в агентстве мод, сумела там пробиться, сделать карьеру и зарабатывала теперь очень прилично, наверно, не меньше, чем Анника. Какова была точная должность Каи, Анника даже не знала, в любом случае, дела заставляли двоюродную сестру много ездить по миру, несколько раз в году она попадала и в Париж, правда, у Анники не останавливалась, и вообще всегда ужасно спешила, но пару часов, чтобы вместе пообедать и поболтать, находила всегда – Кая тоже скучала по родным.

Да, но в какой стороне находилось Гарнье? Анника огляделась, окружение показалось ей чуждым, что было даже странно, поскольку она неплохо знала центр, в первые годы они с Пьером много гуляли по Парижу, в самых разных районах, на Бульварах, на Шанзелизе, на Монмартре и в Марэ – но вот в этот квартал они почему-то ни разу не попадали. Можно было, конечно, спросить у кого-то дорогу – но успеет ли она за оставшееся время добраться до оперы пешком? Очевидно, надо взять такси – но ни одной машины тоже видно не было, и только сейчас Анника поняла, что она на пешеходной улице.

На минутку она задумалась, стала оглядываться по сторонам – справа должен быть Севастопольский бульвар, там она непременно поймает такси. Придя к этому выводу, она свернула в переулок, он был узкий и темный, и она прибавила шагу, чтобы быстрее оттуда выбраться, но тут ее взгляд остановился сперва на одном, потом на другом тротуаре, и она снова замедлила шаг...

Они стояли, по одной у каждой двери, застывшие, словно мраморные скульптуры, или, вернее, скульптуры из разных материалов, не только из мрамора, но и из слоновой кости и черного дерева – стояли и пустыми взглядами смотрели перед собой. Ни один мускул не шевелился на их лицах при приближении Анники, ни одна из них не повернула головы, не поинтересовалась, кто это идет мимо, но и не смутилась, не опустила глаз. Должно быть чрезвычайно мучительно удерживать одно положение в течение долгого времени, Анника знала это, разве она в детстве и в молодости мало стояла часами на сцене Певческого поля, в ходе репетиций певческого праздника, только тогда было лето и она пела, эти же женщины мерзли тут по совсем другой причине... Кто их так расставил, в два прямых ряда, с одинаковыми промежутками, будто в каждом доме не могло быть больше одной женщины, но и будто ни один дом не мог существовать без таковой? Мизансцена эта отдавала чем-то бездушным и искусственным, так, словно и продажную любовь выставили в витрине супермаркета... И все же, Анника была в этом уверена, никто не заставлял этих девушек стоять здесь, они сами, по непонятным для нее причинам, предпочли проституцию работе за кассой магазина или на конвейере...

Кстати, вполне возможно, что они зарабатывали больше, чем она, ибо много ли осталось людей, любящих оперу, а вот мужчин, готовых платить за краткое удовольствие, хватает всегда. Кто знает, может и Пьер ходил время от времени сюда, в квартал Сен-Дени – Анника вдруг вспомнила, где она находится, – а если не ходил теперь, то наверняка делал это раньше, до встречи с ней. И вообще – в самом деле, чем она так уж отличалась от этих женщин? Она тоже продавала себя, или, вернее, свой голос, и эта сделка становилась возможной только благодаря тому, что кто-то был согласен платить за то, чтобы ее слушать – и на нее посмотреть. Так что похоже, что Юрген был прав, когда советовал Аннике не ставить себя выше проституток, то есть он сказал стриптизерш, но по мнению Анники это было одно и то же – все они были проститутками, все, кто служил системе, называемой капитализмом.

Вдруг она вспомнила, как вместе с одноклассниками в свое время издевалась над Брежневым, который, будучи главой большого государства, бормотал как старик – да он и был стариком – и ей стало стыдно за свою глупость. Ибо насколько бы ни был дряхл и жалок Брежнев, в его время не было проституток, наоборот, тогда заботились о том, чтобы талантливые люди, такие как Анника, могли бесплатно учиться. Анника не забыла, с какой завистью на нее глядели одноклассницы в Милане, когда она им рассказала, что никогда не платила ни копейки за учебу в музыкальной школе и в консерватории – тут, на западе, это было невозможно. Так что кто знает, родись она не в Советском Союзе, а в мире, который принято называть «свободным», может, и она не стала бы певицей, а стояла бы сейчас в ожидании клиента на тротуаре...

Она повернула назад – пройти сквозь этот застывший строй не было сил, это было трудно даже под руку с Пьером, как это пару раз случалось, Сен-Дени был не единственным таким кварталом, но одной – уж совсем. И все же благодаря этому Анника сориентировалась и поняла, что совсем не надо было сворачивать с пешеходной улицы в сторону, еще метров сто – и она выйдет по ней на Бульвары, а там можно или взять такси, или поехать к Гарнье на метро.

Надо привыкать быть экономнее, подумала она с иронией через пару минут, спускаясь по лестнице под землю.

Глава четвертая

КАЯ

Пьер позвонил, когда Анника у Лафайет снова выбралась наверх. Он еще ничего не знал, услышав новость, был весьма обескуражен, но быстро собрался, задал несколько уточняющих вопросов и сказал:

- Я сразу же позвоню в театр. Не беспокойся, все уладится.
- Каким образом? – поинтересовалась Анника скептически.
- Есть же договор, – сказал Пьер и поспешно попрощался, он уже торопился на запись.

Договор? – подумала Анника холодно и отчужденно. Какая может быть польза от договора?

Тут она вспомнила, что после случая с эротическим бельем они обсуждали, что делать, если такое повторится, и Пьер сказал, что впишет в типовой договор Анники пункт, который защитил бы ее от своеволия постановщиков. Как эта формулировка точно звучала, Анника не помнила, кажется, речь там шла об «унижении женского достоинства», определение должно было быть достаточно «округлым», чтобы не казаться «дамочкой с претензиями», да и просто смешной – но она ничуть не верила, что в Шатле от этого могла быть какая-то польза. Каждый пункт можно интерпретировать по-разному, и Юрген может спокойно сказать, например, что обнаженность отнюдь не унижает достоинство такой красивой женщины как Анника – и поди спорь с ним. Но Анника радовалась уже только тому, что Пьер немедленно встал на ее сторону, муж со своей французской либеральностью мог вполне проворчать: «Ну и чего ты брыкаешься? У тебя, что, нечего показать?»

Она сунула мобильник в сумочку и поспешила дальше – уже было больше, чем половина.

Кая стояла у Гарнье, под левым фонарем, высокая и стройная, или, вернее, худая, в тонком черном пальто и с непокрытой головой, светлые волосы подстрижены «под мальчика». Маленький чемоданчик на колесиках стоял рядом с ней на асфальте, Кая же кружилась вокруг собственной оси, пытаясь не выпускать из виду ни одного направления. Кого она мне напоминает, подумала Анника, и сразу сообразила – конечно, Гавроша, такая же бодрая, смелая, бойкая.

Увидев Аннику, Кая испустила радостное восклицание и раскинула руки, не обращая ни малейшего внимания на любопытствующие взгляды окружающих – в этот час площадь была полна туристов и назначивших randevu парижан. Зимнее солнце опустилось уже совсем низко, позолота на фасаде Оперы сверкала в его лучах, и было счастьем встретить в таком сказочно красивом месте – вообще Париж по мнению Анники был сплошной сказкой – родную душу.

Они порывисто обнялись, и Аннику снова удивило, до чего костлява двоюродная сестра. Вообще Кая выглядела не очень хорошо, за год, который они не виделись, она постарела, кожа на ее лице стала сухой и шершавой, и под очками, у уголков глаз появились первые морщинки. Но жизнерадостности она не потеряла, была такой же веселой и бесшабашной, как и раньше, хохотала и заразила своим хорошим настроением и Аннику.

– Я с двенадцати часов тащу этот чемодан за собой, как уборщица пылесос, – сообщила она, смеясь, когда они уже повернули, чтобы перейти на другую сторону улицы, под цокот колесиков. – Лень было еще раз возвращаться в гостиницу. Оставили бы комнату, тогда еще да, но терять время только из-за чемодана нет смысла. По-моему, эти колесики – наикрупнейшее изобретение последних десятилетий.

– Интернет, наверно, все-таки покрупнее, – возразила Анника. – Раньше мои телефонные счета были просто кошмарными, а письма в Эстонию шли в черепашем темпе, сейчас же мы с Биргит чуть ли не каждый день общаемся по интернету.

– Это хорошо говорить человеку, имеющему мужа, который тащит чемоданы! А вот я за то, что моя спина больше не болит, в долгу перед двумя людьми – перед шумером, придумавшим колесо, и тем нашим современником, которому пришлось в голову придумать их к чемодану.

Обсуждение темы пришлось прекратить, поскольку путь был недолог, какие-нибудь пара десятков метров, и они вошли в вестибюль Кафе де ля Пэ. Там сразу началась обычная комедия, навстречу им устремилась целая орава мужчин и женщин в умопомрачительной униформе, прозвучал многоголосый «Бонжур!», кто-то помог снять пальто, кто-то взял шапку и шарф, кто-то проводил до стола, еще кто-то принес меню эт цетера. Даже Кая была если не потрясена подобным приемом и красивым интерьером, то, по крайней мере, удивлена, и Анника довольно улыбнулась – именно такого эффекта она и добивалась. Она хорошо помнила, как у нее дрожали колена, когда Пьер в день их помолвки привез ее сюда обедать, она, правда, уже несколько лет

жила за границей, но такой роскоши не видела, в Милане она в основном жарила себе в комнате общепития яичницу на маленькой электроплите. Поэтому, когда у них с деньгами стало полегче, она всякий раз, когда работы было много и не оказывалось времени готовить обед, приглашала гостей сюда – кормили в де ля Пэ, правда, не очень, но на это можно было не обращать внимания, во всем Париже оставалось все меньше мест, где можно было вкусно поесть, зато антураж...

Спектакль все продолжался, сначала к их столу подошел молодой человек, единственной задачей которого было ознакомить их с сегодняшним фирменным блюдом, а после него настало время официанта по вину. С ним у Кая, которая уже успела приспособиться к обстановке, возник целый диспут о том, вино какого года выбрать, официант защищал один год, а Кая другой, в итоге они пришли к компромиссу, решив, что во Франции и в Италии в эти годы был разный урожай.

– Куда ты меня притащила, тут же страшно дорого, – сказала Кая, открыв меню.

– Ничего, Пьер все спешет, – ответила Анника.

Ей понадобилось не так уж много времени, чтобы понять: капиталистическая система построена на стимулировании транжирства. Не было смысла экономить на самолетных билетах, на ресторане и на такси, надо было только аккуратно собирать все чеки, дальнейшее было делом Пьера. Слишком нахально он налоговую декларацию, правда, не заполнял, одежду, обувь и косметику, как некоторые коллеги, заносить в графу расходов не осмеливался, но машину они купили «для нужд дела», и траты на бензин муж тоже списывал с доходов, вот только талонов на метро Анника не откладывала, хотя Пьер это ей и советовал, и так было достаточно противно жить, зная, что множество вещей, за которые простые граждане платят по полной, тебе, якобы предпринимателю, даются значительно дешевле.

В сумочке снова заиграла музыка, Анника извинилась и достала телефон. Это был Пьер, муж звонил из машины, по пути на студию.

– Я только что говорил с директором, после записи заеду в театр, он меня будет ждать. Он упомянул, что твое присутствие было бы тоже желательно, но я сказал, что это невозможно. Почему, я объяснять не стал, а спросить он не осмелился, я дал ему понять, что ты страшно оскорблена.

Пьер спросил еще, все ли в порядке и встретишься ли Анника со своей кузиной, подозрений в его голосе Анника не обнаружила, муж, кажется, просто беспокоился за нее. Анника успокоила его, объяснила, что они уже сидят в Кафе де ля Пэ и изучают меню, потом светофор перед Пьером позеленел и он быстро распрощался.

Кая воле-неволей подслушала их беседу.

– У тебя, что, неприятности? – спросила она, когда Анника сунула мобильник обратно в сумку.

В метро Анника решила, что не будет Кае ничего рассказывать, но сейчас, под влиянием внезапного импульса, вдруг разоткровенничалась.

– Да, представь себе, меня хотели сегодня на сцене раздеть.

Она длинно и красочно рассказала, как все произошло, про требования Юргена, про собственный бунт, и про то, как ее выкинули с репетиции.

– Вот и прощай, Виолетта! – сказала она в завершение. – Слава богу, не успела еще никого пригласить на премьеру. – Потом она вспомнила одну мысль, пришедшую ей в голову в метро, и добавила: – Знаешь, что самое странное? Что на самом деле ни одному певцу диктат режиссеров не нравится, между собой мы их часто ругаем – но когда возникает конфликт, никто за коллегу не заступится, каждый думает только о себе.

Кая хотела как будто что-то ответить, но именно в этот момент подошел официант, чтобы принять заказ. Когда он ушел, Кая вытащила из сумочки пачку сигарет.

– Представь себе, я слушала тебя и думала – о господи, куда мы попали? – начала она, нервно зажигая сигарету. Глубоко втянув, она с шумом выдохнула дым, и вдруг испугалась. – Ох, я даже не спросила, как твой голос относится к тому, что я тут дымлю? – И только когда Анника успокоительно махнула рукой, Кая продолжила: – Я, наверно, ужасно тупа, потому что, хочешь верь, хочешь нет, но я была убеждена, что у вас таких проблем не бывает. Ну, что опера – это словно

такая большая природно-охраняемая зона, где собрались благородные люди, которые посвятили свою жизнь великому искусству. – Она выдержала небольшую паузу и продолжила: – Видишь ли, дело в том, что мне за эти годы довелось выслушивать исповеди примерно такого рода десятками. Не удивляйся, а лучше вспомни, где я работаю. Каждой весной, после окончания учебного года к нам в контору начинают являться романтические золушки со всех концов света. Все эти красотки, или, вернее, девчонки, которые полагают, что они красотки, те, кому внушили это со стороны, или те, кто вбили себе это в голову сами, представляют свою будущую профессию в возвышенных тонах, примерно так, что я, молодая богиня, ступлю на подиум, и сразу же засверкают вспышки фотоаппаратов. Ну, они, конечно, знают, что кроме шуб и брючных костюмов надо демонстрировать публике и такие летние платья, которые ничего не прикрывают, а для рекламы кое-каких товаров, например, шампуней, даже раздеться, но они воспринимают это как нечто естественное – ну, что поделаешь, под душ человек в одежде не пойдет. Словом, в некоторых аспектах они морально подготовлены, но есть и многое такое, о чем они дома, обнимая любимого плюшевого мишку – ибо в основном это девочки из хороших семей – и подумать не могли. И в первую очередь то, что ничего романтического в их профессии нет, вот ни столечко... – Кая показала Аннике край ногтя, коротко подрезанный и ненакрашенный. – Все очень даже вульгарно, их тело – это товар, который покупают. И именно так все вокруг к нему и относятся – как к товару. Когда это, наконец, до них доходит, они оказываются шокированными. То есть я, что, то же самое, что торшер? Они гордо вскидывают голову, пытаются не сдаться на милость судьбы. На какой-то миг им это обычно удается, поскольку всегда находится некий принц, естественно, уже не на белом коне, ибо ездить верхом современные принцы не умеют, а за рулем красной спортивной машины, и этот принц развешивает их сомнения. «О, моя красавица, разумеется, ты не торшер! Клянусь тебе всем своим имуществом, что ты даже не стиральная машина! Как ты вообще могла такое подумать, кто тот негодяй, который тебе это сказал, покажи его мне, я вызову подлеца на дуэль и убью шампуром!» За этим следует выезд на роскошную виллу где-то на озере Комо, близко к месту, где Муссолини скрывался от партизан, ужин при свечах, любовь на шкуре белого медведя – ну и продолжается эта сказка ровно до следующего полудня. После этого иллюзии утрачены, и девушка почти что готова. К чему? Сейчас объясню. Видишь ли, твой Юрген старался тебе доказать, что профессии певицы и стриптизерши похожи. Не знаю, как насчет певиц, но вот профессии стриптизерши и манекенщицы действительно практически одно и то же. И как стриптиз притягивает определенного рода мужчин, так и показ мод. Ты встречала стриптизершу, которая в свободное от основной работы время не трудится по совместительству понятно на каком поприще? Не знаю, может, иная и найдется, но в целом эти два занятия связаны между собой как цикл хуторской работы – уточнять не буду, мы за столом, сама поймешь. Вот и в нашем деле то же самое – если тело товар, так зачем ограничиваться его показом и фотографированием? Почему не покупать его еще для кое-каких нужд? И не только покупать, но и арендовать, обменивать на какую-то нужную услугу или просто пользоваться бесплатно – как у нас в культурных городах кое-где бесплатные туалеты. Короче, чтобы тебя долго не мучить, на этой работе практически невозможно удержаться, если ты отлыниваешь от того, чего от тебя на самом деле хотят. И потому через некоторое время все эти девушки начинают переходить из рук в руки, как самые обычные шляхи – ты посмотри по телевизору, это написано на их лице. Только единичные очень сильные личности могут повернуть ситуацию в свою пользу таким образом, что не их выбирают, а они сами выбирают – но девственницами не останутся и они. Однако до того, как окончательно пасть, более-менее каждая девчушка ходит ко мне как к своему менеджеру поплакаться – владелец за семью замками, у него нет времени на подобные дела. Вот она спрашивает у меня – что ей делать? Все хотят от нее только одного, без этого нет работы, а если нет работы, то нет и денег. А еще она влюблена в одного футболиста, но как завоевать его расположение, если фирма, на которую она в последнее время работала, выбрала «лицом сезона» не ее, как она надеялась, а подругу, с которой они раньше вместе снимали квартиру, потому что та провела целую неделю с их менеджером по рекламе. Что я могу на это ответить? Я говорю, что выбор на самом деле очень прост – или ты принимаешь

правила игры, или возвращаешься домой. Третьей возможности не существует. Ужасно говорить такое, но я, по крайней мере, честна и никого не обманываю. Ты или будешь плавать в этой грязи, или... Вот так. Словом, до сих пор я полагаю, что ваши правила другие, но теперь я в этом уже не уверена. Правда, твой Юрген как будто не требует от тебя постельных услуг...

– Я думаю, он в этом не нуждается, – вставила Анника. – По-моему, он гомик.

– И все равно, хотя бы посмотреть на тебя он хочет.

Кая умолкла, нервно стряхивая пепел в пепельницу. Если исключить курение, то двоюродная сестра ужасно напоминала Аннике бабушку Викторину – такой же холодный логический ум и внутренняя честность. Она, Анника, могла иногда себя обманывать, внушать, что дела не так и плохи, как кажутся, Кая этого явно не делала.

– Ты спросишь теперь, почему я продолжаю работать в этом притоне, почему не беру расчет? – продолжила Кая неожиданно. – Конечно, если бы я попала за границу немного более опытной, может, я сумела бы остеречься от такой работы, но я же была молодая и глупая, только что окончила университет и только и думала, как бы удрать из дому, атмосфера, которая там царилась, меня ужасно угнетала. Я очень люблю маму, и тетя Моника, объективно говоря, тоже очень милый человек, но все вместе в одной квартире мы просто не помещались, психологически, конечно, вообще там места хватало. И потом мне попался Бруно, и папа Пээтер тоже подбадривал, что, естественно, поезжай, в Эстонии умному молодому человеку делать нечего. Вот я и отправилась. Сначала Бруно хотел, чтобы и я стала моделью, но эту опасность я сразу элиминировала, вот он и устроил меня на работу в качестве ассистента по менеджменту, ну, с одной стороны, чтобы я немного зарабатывала, а с другой, чтобы держать меня под контролем. Работу по специальности в Италии найти было невозможно, филологов у них у самих пруд пруди. А через некоторое время мы с Бруно поссорились. Почему, это я тебе рассказывать не буду, я об этом даже маме не говорила, но, в конце концов, это и неважно – важно другое, то, что я оказалась перед серьезным выбором – остаться в Милане или уматывать домой. И ты знаешь, ох, как человек не хочет возвращаться в место, которое он однажды покинул – это словно признание своего поражения. Вот я и решила, что побарахтаюсь, сколько смогу, а если уж никак не выдержу, тогда скажу: «Пока, белла Италия!» Никто меня из агентства выгонять не стал, и я тоже не торопилась уходить. Скоро Бруно это стало действовать на нервы, и он пошел поговорить с владельцем, чтобы тот меня уволил – но владелец взял и уволил его! – В первый раз за этот монолог веселость Каи восстановилась, и она засмеялась, громко и победоносно. – Ох, видела бы ты морду Бруно, когда ему сунули в руку конверт с расчетом! Короче говоря, владелец взял продление моего разрешения на работу на себя, может, это звучит не очень скромно, но он был мной весьма доволен. Вот так все и пошло. И куда мне теперь идти? Полгода назад один знакомый предложил устроить меня на работу в страховое агентство, конечно, на заметно более низкую зарплату, но это, может, я еще пережила бы – но когда я стала думать, что надо начинать все с начала... Дело же не только в работе, сейчас я знаю всех, кто занят в этом бизнесе, и они знают меня, а сколько займет времени, чтобы наладить новые отношения? И, если копать глубже – скажи, чем страховая фирма более благородное заведение, чем агентство моды? Там что, не корысть – главное? Там не выжимают из клиентов последнее, не стараются увильнуть от возмещения ущерба, если есть за что зацепиться? Вот я и решила, что не буду суетиться. Потерплю еще несколько лет, потом посмотрю. Или начну торговать недвижимостью, или и вовсе стану рантье. Куплю себе маленький домик где-нибудь в Тоскане и буду переводить Данте на эстонский. А летом, когда очень жарко, буду ездить в Эстонию. Может, даже выкуплю у тети Моника нашу квартиру, чтобы себя комфортно чувствовать. Вот такие планы – которые, правда, можно назвать и прожектами.

Она снова нервно стряхнула пепел.

– Но я отклонилась от темы. Мы не договорили про правила игры. Я хотела спросить у тебя об одной вещи, над которой сама давно ломаю голову. Меня интересует твое мнение. Скажи, пожалуйста, как по-твоему, кто эти правила установил?

Анника почувствовала, что краснеет – она не привыкла к абстрактным рассуждениям и не знала, что сказать.

– Я думаю, люди сами, – ответила она, наконец, осторожно.

– Логично, – согласилась Кая. – Но тут есть одно противоречие. Помнишь, перед тем как я начала свой нудный монолог, ты сказала, что между собой певцы вечно ругают постановщиков, а когда возникает конфликт, никто за коллегу не заступится. Если подумать, ведь так это везде. Мы все говорим, что мир отвратителен, но все равно ничего не делаем, чтобы его изменить. Почему? Одно из двух, или мы притворяемся, и на самом деле вполне довольны существующими правилами, или...

– Или? – спросила Анника заинтригованно.

– Или эти правила установили не люди.

– А кто?

Кая помолчала немного, потом раздавила окурок в пепельнице и сказала:

– Сатана.

Анника, кажется, вытаращилась на нее с весьма глупым видом, поскольку Кая сразу рассмеялась – правда, весьма искусственно – и добавила, поднимая бокал:

– Только не думай, католичкой я не стала. Это я просто так, в образном смысле. Прозит!

Официанты за это время несколько раз подходили к их столу, наливали вино, принесли антрэ, с интересом прислушиваясь к беседе, в которой ни слова не понимали.

Они чокнулись, выпили – Кая допила свой бокал, Анника же только смочила слегка губы – и Кая опять заговорила:

– Если я в Италии по настоящему тоскую по чему-то, то по эстонскому языку. Утром, приходя на работу, первым делом открываю в интернете «Постимээс» и прочитываю, так сказать, от корки до корки, в том числе всю ту гнусную пропаганду насчет того, как мы якобы были оккупированы и как должны быть сейчас счастливы, что у нас свобода и Америка нас защищает.

Она взяла нож и вилку и с аппетитом принялась есть.

– Я тоже, – призналась Анника, присоединяясь к ней.

– Что ты тоже?

– Читаю «Постимээс». Только не утром, а вечером, перед тем как лечь спать. Эстонские новости и про культуру.

Она не стала добавлять, что страницы культуры ее ужасно раздражают, потому что там почти перестали писать про оперу и балет, как в советское время, зато уделяли много внимания той дребедени, которую раньше называли «легкой музыкой».

Лосось, который они заказали в качестве антрэ, был пересолен, жаркое – как подошва, но Кая словно всего этого не замечала, уничтожала одно блюдо за другим с огромным аппетитом, и только скрежет ножа о тарелку показывал, что при разрезании второго возникают трудности.

– А что делает Биргит? – перевела она разговор на родственников.

– Ничего особенного, работает, воспитывает дочь. – Анника не хотела рассказывать Кае, что брак сестры на грани развала; когда она ездила домой на рождество, Биргит призналась ей в этом, а еще и в том, что она затеяла роман с их общим родственником, сыном дяди Тимо Сассем. – Она как раз вчера позвонила, пригласила в Таллин. Скоро столетие с рождения тети Софии, они хотят поехать на ее могилу. Я сказала ей, что не могу, репетиции, но если сейчас все отменится, то, может, действительно поеду.

Кая заметно оживилась.

– И я! – сказала она решительно. – На рождество я так и не смогла выбраться, поеду хоть сейчас.

Она выпила еще вина и совсем окунулась в ностальгию.

– Знаешь, если в этом мире был кто-то, кого я любила, так это тетя София. Ты же знаешь, после того как папаша Пээтер нас бросил, мы с Кристель все каникулы проводили у нее, летом иногда несколько месяцев подряд. Мы так ждали, когда же опять поедем в Силла, дома после

смерти бабушки стало очень нервно, мама вечно билась в истерике. Я понимаю, ей было нелегко, но все же – единственное место, где я чувствовала себя спокойно и уверенно, это у тети Софии. Да, обязательно поеду.

Принесли десерт, Анника хотела заказать еще кофе, но Кая бросила взгляд на часы и вздрогнула:

– Ужас, я опоздаю на самолет.

Глава пятая

ДОРОГА ДОМОЙ

Маша Кае рукой до тех пор, пока синий руассийский автобус не скрылся за поворотом, Анника повернулась и медленно побрела к метро. Пьер, правда, сказал ей, чтобы она непременно взяла такси, но куда ей было спешить? Запись, наверно, еще не закончилась, пока Пьер поедет из студии в театр, поспорит или даже поругается с директором (последнего Анника все же от мужа не очень ожидала, Пьер не был по натуре бойцом) и доберется домой, пройдет не меньше чем часа полтора, а сидеть одной в пустой квартире и нервничать не было никакого желания.

Стемнело, загорелись фонари, в Гарнье было пусто и тихо, наверно, опять не было спектакля, большинство их сейчас шло в Опера Бастий. Анника пела в Гарнье только однажды, «Альчину», опера ей совершенно не нравилась, была скучной, монотонной, но она согласилась, чтобы хотя бы раз попасть на сцену этого прекрасного театра. В зале она сидела чаще, когда она только перебралась в Париж, они с Пьером часто ходили сюда на балет, для Анники это было настоящим событием, ее детство прошло в «Ванемуйне», не только на спектаклях, но и на репетициях, она знала наизусть все великие балеты (их было немного, намного меньше, чем великих опер) и однажды напугала маму почти до смерти в лесу, при сборе ягод, когда спрятала в букетик цветов кусок веревки и потом с криком вытащила его, сделав вид, что ее укусила змея. Ребенком она хотела стать именно балериной и не успокоилась, пока мама не отвела ее в театр к репетитору, и та, обследовав ее, строго не сообщила: «Никаких данных. Если очень хочет танцевать, пусть идет в кружок народного танца». Это было первое большое разочарование в жизни Анники, настолько большое, что когда спустя много лет мама, слушая ее пение, спросила: «Не хочешь ли пойти показать голос нашему хормейстру?», она даже брыкалась вначале...

– Мадемуазель, могу я вам чем-то помочь?

Юноша, который к ней с этими словами обратился, был симпатичен и на вид даже интеллигентен, напоминал Пьера во времена их знакомства, и Аннике даже стоило труда ему не улыбнуться, тот мог интерпретировать это как аванс, и поди потом отделайся от него. Поэтому она вежливо, но прохладно поблагодарила и ускорила шаг, чтобы больше не давать юбчникам повода приставать. Она ведь была не вертихвосткой, а порядочной девушкой из маленького провинциального городка, в жизни которой было только четверо мужчин, а после бракосочетания – никого, кроме законного мужа. Да и двоих из трех прочих можно было назвать ошибкой, оба раза она по неопытности позволила себя соблазнить, однажды на Рухну, когда краснощекий еврей жизнерадостно пригласил ее в гости, посмотреть, как чинят сети, и второй раз в Милане, где итальянские мужчины вначале казались такими красавцами, что голова кружилась. Единственный серьезный роман, до Пьера, был еще во времена консерватория, они учились на одном курсе, а потом их вместе направили в «Эстонию», там Анника сразу получила большую роль, жених же застрял в хоре... Вот когда она впервые поняла, что такое творческая зависть, жених, раньше такой романтичный, очень быстро превратился в вечно ноющего тирана, капризы которого были невыполнимы, Анника, правда, честно пыталась соответствовать, выдержала почти весь первый сезон, но потом ее терпение лопнуло. И все-таки она еще долго вспоминала это расставание с болью, даже в Милане плакала в подушку, только Пьер заставил ее забыть далекую юность – тот, ранний Пьер, не сегодняшний. Дело не в том, чтобы муж очень уж изменился – не больше чем она

сама, а в другом, в подлом времени, способном уничтожить даже самое большое чувство, оставив только милую привычку. Находилось немало таких, кто так и не смог смириться с подобной потерей, многие разводились или обзаводились любовниками, как даже Биргит, но характеру Анники такое не подходило, и, честно говоря, у нее для романтической любовной истории и времени не было, все ее утра и вечера уходило на другого, более требовательного любовника – оперу.

Она и не заметила, как дошла до Османа – улица была вся в рекламах, рождество, правда, осталось позади, но начался сезон распродаж. Из-за репетиций она об этом совсем забыла, сейчас можно было зайти в магазин и купить себе что-нибудь в утешение – но что? Весной она обшарила все этажи Галери Лафайет, ничего такого, что ей понравилось бы, так и не найдя; создавалось впечатление, что все эти брюки, свитера, блузки и майки сшиты не для того, чтобы украсить женщину, а чтобы ее изуродовать, превратить в мужеподобное или даже вовсе бесполое существо. Что бы сказал Золя, увидев, во что превратилось его «Дамское счастье»? Но, с другой стороны, а остались ли дамы, которых можно осчастливить? Наверно, и Юрген посчитал ее за обычную современную женщину, которая во время пляжного отпуска и так гуляет топлес, почему иначе он вышел со своей идеей так буднично...

Мысли снова вернулись к неприятному – но как с этим бороться? То, что произошло днем, пылало огнем внутри, и так, знала Анника, будет еще долго, может, до конца жизни.

На фасаде «C&A» тоже красовалась большая реклама скидок, и Анника, секунду поколебавшись, вошла – в этом магазине иногда еще попадалась приличная одежда, весной она в конце концов именно здесь и обновила свой гардероб.

В магазине было жарко, расстегнув куртку, Анника рассеянно ходила между штангами, призрагиваясь то к одной вещи, то к другой, оставляя, однако, все там и висеть, то ей не нравился цвет, то фасон, то ткань – она терпеть не могла все эти акрилы и полиэстеры, в которые современные производители одежды старались облечь женский пол, так же, как не терпела и модные стиральные порошки и прочую химию, и даже кондиционер – не то чтобы она была какая-то принципиальная «зеленая», просто ее тело и – особенно – голос не выносили ничего искусственного, она сразу начала потеть или кашлять. Она любила шерсть, хлопок и шелк, но эти материалы встречались крайне редко. После долгих поисков она нашла один розовый свитерок из ангоры с высоким воротником, выстояла длинную очередь в примерочную и закрыла за собой занавеску – тут можно было раздеваться так, чтобы никто тебя не видел. Оставшись в белье, она минутку изучала себя в зеркале – нет, стесняться ей было нечего, грудь не обвисла, на талии, пустив в ход руки, можно было найти несколько складок, но в глаза они не бросались, и вообще – полнота шла Аннике, делала ее женственнее, чем она, в противном случае, была бы со своей ногой тридцать девятого размера.

Однако, это не означало, что она должна демонстрировать всем свою плоть, наподобие какой-нибудь голливудской шлюхи (вот кого надо было привести для сравнения вместо стриптизерш, подумала она с сожалением – самые меткие реплики всегда приходили в голову с опозданием).

Она примерила свитер, он сидел неплохо, да и розовый был ее любимым цветом – но разве стоило тратить столько денег на какую-то тряпку? Даже после скидки свитер стоил недешево, для многих французов цена эта была, конечно, пустяковой, но ведь Анника знала, какова – или, вернее, как мала – пенсия ее родителей. Конечно, она поддерживала их, отправляла каждый месяц небольшую сумму – и все же, имела ли она моральное право на такую покупку? К счастью, она привыкла экономить, в Милане она вообще ничего не могла себе позволить, только в последние годы стала обращаться с деньгами немного свободнее – но теперь, после отмены спектакля, надо было с этим покончить.

Снова одевшись, Анника вернулась в торговый зал, поколебалась немного и повесила свитер туда, откуда взяла.

Вагон был даже не очень полон, пока Анника коротала время в магазине, час пик прошел. Это был поезд RER, и он ехал до Шатле без остановки, но там надо было делать пересадку.

Вот я и вернулась сюда, подумала Анника с горечью, ища в длинных коридорах правильное направление. Хотя она и жила уже много лет в Париже, она так и не научилась ориентироваться в этом огромном подземном городе, где встречались многие линии подземки. Она ненавидела эту станцию, как ненавидела вообще все слишком крупное, сегодня же эта ненависть их-за дневного унижения еще более усилилась. Наверно, именно сейчас Юрген издевается над Пьером, подумала она, например, намекает на то, что моя вокальная техника не высшего класса, и надо это чем-то компенсировать. Нескольких лет учебы в Италии не хватило, чтобы довести вокальное мастерство до совершенства, опыт помогал скрыть недостатки, но полностью изжить их было, наверно, уже нельзя. Анника завидовала итальянкам, которые словно родились с ариями на устах, пели плавно и без усилий, всем остальным же приходилось помучиться, чтобы научиться даже правильно произношению, не говоря о владении голосом – да, итальянки тоже трудились и потели, взять хотя бы Стефанию, ее подругу по консерватории, которая упражнялась не меньше, чем она, но у нее эти труд и пот потом совсем не ощущались.

Вдруг она услышала за спиной шаги, вернее, как она поняла, эти шаги звучали уже некоторое время, но дошли до ее сознания только сейчас. Тяжелые небрежные шаги – так ходят самоуверенные молодые люди в сапогах, в ковбойских или в армейских, и следовали они точно за ней, в какой бы коридор Анника не свернула, она даже специально сделала пару зигзагов, внимательно прислушиваясь – шаги не отставали. Она почувствовала, как задрожали колени, и выругала себя – тут, среди толпы, не могло быть никакой опасности; однако, инстинкт был сильнее разума. Она уже думала вернуться бегом наверх, но как назло не было видно ни одной лестницы – и тут она оказалась на перроне.

Шаги смолкли, в чем не было ничего удивительного, преследователь, как и она, наверняка тоже остановился. Анника вынула из сумочки пудреницу, открыла ее и притворилась, что изучает лицо, на самом же деле рассматривая тех, кто стоял за ее спиной. Платформа была полна народу, наверно, поезд опаздывал, но, несмотря на это, она сразу распознала преследователя. Тот и не скрывал своего интереса к ней, таращась наглыми карими глазами прямо на нее. У него были темные кудрявые волосы и смуглая, словно доведенная до блеска воском для пола кожа, и он в самом деле был молод и самоуверен.

Араб, подумала Анника со страхом и отвращением и защелкнула пудреницу. Интуиция не обманула ее, с первых же секунд, как она услышала шаги, она представила их владельца именно таким – ибо кто еще, если не арабы, ходили по Парижу неторопливо, по-хозяйски самоуверенные – а ведь они и были хозяевами, все боялись их, старались им нравиться, Пьер, и тот постоянно говорил про ответственность, которую французы несут перед теми, кого они когда-то колонизировали. «Разве ты не помнишь, что написал Сен-Экзюпери про прирученного лисенка?» – спрашивал он укоризненно – укоризненно, поскольку Анника не разделяла терзаний его совести и имела на это причину.

Поезд подъехал, он был битком набит, но тут, в Шатле, многие вышли, и Анника, которая сначала подумала, что подождет следующего, влезла в вагон. Сесть было некуда, пришлось стоять в проходе, и она больше всего боялась, что араб протолкнется к ней и начнет об нее тереться, однако этого не произошло. Она уже подумала, что тот остался на перроне, но сразу же снова почувствовала на себе взгляд. Осторожно повернув голову, она увидела, что араб стоит у двери напротив и пожирает ее глазами. Что-то безумное было в этом взгляде, такое, чего у французов она не встречала, араб, кажется, был готов на все, чтобы заполучить тело, которое его привлекло, и Анника ощутила, что вспотела от страха. Ну зачем я села в метро, почему не взяла такси, как велел Пьер, пожалела она, тут же подумав, что, возможно, поступила так нарочно, чтобы поддразнить судьбу или испытать крепость своих нервов. Если последнее, то эксперимент провалился, ибо как она ни старалась, а подавить страх не могла.

Поезд остановился на Ситэ, двери открылись, и внезапно у Анники возникло страшное желание оттолкнуть всех с дороги и вырваться на перрон – но подобное поведение выглядело бы все же чересчур диким, и пока она колебалась, двери снова закрылись. Я знаю, что я сделаю, подумала она, я выйду на Сен-Мишель и остановлюсь у поезда. Если он последует за мной, я

быстро прыгну обратно в вагон, вряд ли он осмелится преследовать меня настолько открыто, а если осмелится, то я смогу попросить у кого-то помощи без того, чтобы меня сочли сумасшедшей.

Всю дорогу от Ситэ до Сен-Мишель она ощущала на себе взгляд араба, тот словно щупал ее, сантиметр за сантиметром. Затем поезд замедлил ход, Анника извинилась, прошла мимо других к выходу, и когда дверь открылась, вышла на перрон. Араб не последовал за ней, Анника подождала, пока двери снова закрылись, поезд сдвинулся с места и исчез в тоннеле, и только после этого вздохнула с облегчением. Да, я больная, подумала она, и, наверно, уже никогда не выздоровею.

Это случилось давно, в первый год их брака, она съездила домой навестить родителей, и дядя Пээтер попросил, чтобы она отвезла одному живущему в Париже эстонскому эмигранту несколько его книг. Когда она вернулась в Париж, Пьера не было дома, ему пришлось неожиданно поехать в Бордо, где его мать попала в автоаварию, и Анника, не дожидаясь возвращения мужа, простодушно отправилась выполнять просьбу дяди одна. Эмигрант жил на другом конце города, тоже в спальном районе, но совсем иного рода, Анника поняла это, как только сошла с поезда, однако поворачивать обратно не стала, стыдясь собственной трусости.

Эмигрант оказался чудачком-богемой, в его квартире царил жуткий беспорядок, везде стояли бумажные пакеты с вином – именно пакеты, поскольку, по его объяснениям, единственное вино, которое еще было пригодно для питья, это испанское в пакетах, все французские вина в бутылках были отравлены пестицидами – и вот этой богемностью, наверно, и можно было объяснить ту беззаботность, которую хозяин проявил, не встретив Аннику на станции и не проводив ее туда при возвращении. По дороге к его дому Анника заметила у одного большого, с тремя или четырьмя подъездами здания компанию молодых арабов, которые изучали ее с откровенным любопытством – что эта блондинка тут делает? Когда она отправилась в обратный путь, парней уже видно не было, кругом было пусто, пустым казался и сквер, который следовало миновать, чтобы добраться до станции, но в один момент Анника почувствовала, как все вокруг словно накаляется – как будто рядом с ней ударила с чистого неба молния. Она не успела ничего сделать, ни убежать, ни даже закричать, с такой безумной скоростью все произошло, чья-то вонючая потная рука закрыла ей рот, кто-то другой схватил за ноги, пытаясь поднять и повалить, кто-то лапал грудь...

Она не помнила, что именно она сделала, ударила, то ли рукой, то ли ногой, или укусила – наверно, все одновременно – но вряд ли это помогло бы, если бы вдруг не послышался громкий лай. Компания исчезла так же молниеносно, как и появилась, и Анника осталась на тропинке одна, с растрепанными волосами и оторванной от блузки пуговицей, но живая и невредимая, со стороны станции же приближалась пожилая супружеская пара с собакой.

Пьеру она не сказала ни слова, она еще недостаточно его знала и не была уверена, как он отреагирует – может, будет ревновать? Позже, правда, у нее несколько раз чесался язык, но рта она так и не открыла – у нее не было удовлетворительного ответа на вопрос, почему она не сказала об этом раньше. Потихоньку происшествие стало забываться, если вначале, встретив араба, она всегда вздрагивала, то через два-три года проходила мимо них довольно спокойно, нескольких коллег (их было немного, опера – не арабский жанр) могла даже сердечно приветствовать.

Но, несмотря на это, начиная с первого дня, когда она получила избирательное право, она на всех выборах, тайком от Пьера, говоря ему, что голосует за социалистов, на самом деле отдавала свой голос Ле Пену.

Придя в себя, Анника осмотрелась – перрон снова стал заполняться людьми. Это были не арабы, а самые обычные французы, одетые просто, дешево, усталые после рабочего дня.

Не было никакого желания продолжать путь на метро, и Анника быстрым шагом пошла вверх по лестнице – на улицу, на воздух.

Глава шестая

ВЕЧЕР

Пьера еще не было, хотя Анника убила немного времени в книжном магазине на бульваре Сен-Мишель, вернее, в его музыкальном отделении. Ни одного диска она так и не купила, трудно было найти что-то интересное, все более или менее ценное у них уже было. Она с удовольствием после магазина прогулялась бы еще, жизнерадостная атмосфера этого бульвара всегда успокаивала ее, но дорога домой пролегла по переулкам, и после того, что случилось в метро, она не хотела припоздниться. Войдя в темную квартиру, где никто не поспешил ей навстречу с криком: «Мама пришла, мама пришла!», Анника снова подумала, что сейчас был бы последний шанс обзавестись детьми – но что делать с пением? Интересно, как эту проблему решила Джузеппина, в книгах много писалось о таланте Стреппони и о ее романе с Верди, но что случилось с детьми, которых у нее было, кажется, целых трое? Об этом авторы молчали, наверно, не о чем было писать, судьба детей художников незавидна.

Сменив одежду на домашнюю, она прошла на кухню – послеобеденный кофе так и остался не выпитым, и голова трещала. Так, конечно, можно было потерять сон, но Анника утешила себя мыслью, что, судя по всему, завтра она может дрыхнуть до полудня.

Кофе в семье обычно варил Пьер, поэтому Анника удовольствовалась растворимым, добавила ломтик лимона и ложку сахара, переместилась с кружкой в гостиную, села на диван, поджала ноги под себя, и вдруг почувствовала, как словно сами собой хлынули слезы. На секунду возникло страшное желание упаковать чемодан, заказать такси и поехать в аэропорт, чтобы при первой возможности, хоть с тремя пересадками, полететь домой, в Тарту, но когда она подумала о том, что ее там ожидает – малюсенькая комната в квартире родителей, правда, с любимым мишкой на кровати, которого (интересно, что игрушечные животные склоняются в родительном падеже как одушевленные, впрочем, неудивительно, в каком-то смысле они куда более одушевлены, чем многие люди) мама, несмотря на насмешки отца, хранила как икону, пыл угас. Ничего не поделаешь, ее дом был теперь здесь, и начать все сначала, купить квартиру в Тарту, или, скорее, тогда уж в Таллине, обставить ее, снова привыкнуть к климату и к людям – на это у нее не хватило бы сил. Как сказала Кая – они не могут вернуться, поскольку это означало бы признать свое поражение? Проигравшей Анника себя, может, и не почувствовала бы, но чужой – да. Человек все выбирает, выбирает, выбирает, или – если у него более слабый характер – позволяет случаю бросать себя туда, сюда, еще куда-то, но в какой-то момент выясняется, что больше развилочек на дороге нет, остается лишь шагнуть дальше по той тропинке, на которую ты попала...

Было слышно, как открывается входная дверь, и Анника стала поспешно вытирать слезы. Высморгавшись, она спрятала платок в карман и поспешила в прихожую – у них было принято, что когда один приходит домой, другой обязательно идет встречать.

Единственного взгляда было достаточно, чтобы понять – муж чрезвычайно доволен собой.

– Ты плакала? – спросил Пьер, обняв Аннику и поцеловав ее в волосы. – Не плачь, все в порядке. – И стал раздеваться.

– Что может быть в порядке? – спросила Анника уныло, хотя после слов мужа в ней вспыхнуло пламя надежды.

– Завтра в одиннадцать репетиция, тебя ждут, и ты можешь идти спокойно, никто тебя раздвигать не будет. Кроме меня, но я предпочитаю делать это дома, – перешел он на шутливый тон.

– Хотя даже это под большим вопросом, поскольку еще немного, и я героически умру голодной смертью...

– Ужасно, ты из-за меня не успел пообедать! – испугалась Анника. – Сейчас посмотрю, что я смогу быстренько приготовить.

Она побежала на кухню, оставив мужа снимать обувь. Что-то в холодильнике, конечно, было, но пока мясо оттаёт...

- Омлет спасет твою жизнь? – крикнула она.
- Надеюсь.

В Италии Анника научилась нескольким тамошним рецептам омлета, один, со спелыми помидорами, сейчас, зимой, соорудить никак было нельзя, но вот с эстрагоном...

Пьер ел с большим удовольствием, попивал вино и рассказывал Аннике, что случилось в Шатле.

– Как только я переступил порог, сразу понял: они в панике. Подумай сама, за пару недель до премьеры все повисло на волоске. В театре, конечно, привыкли, что всегда что-то может случиться, кто-то заболит или еще что-нибудь – но никто не мечтает, чтобы это произошло. А тут еще двойная проблема – найти не просто певицу, а такую, которая проделает то, что ты презрела. Ну, какую-то честолюбивую девицу они, возможно, и нашли бы, но умела ли бы та петь? Словом, этого они не хотели, и к тому же договор все же на твоей стороне. В какой-то другой ситуации они на него, может, и наплевали бы – поди судись с ними – но в данную минуту они на конфликт не настроены. Я думаю, тут и заслуга Джованни. Он сидел в углу и молчал, но по его лицу хорошо было видно, на чей он стороне. Директору он свое мнение тет-а-тет наверняка высказал, и тот сделал соответствующие выводы. С дирижером все же принято считаться...

- А Юрген? Он присутствовал? – спросила Анника.

– О, ну как же без Юргена! – рассмеялся Пьер. – Сидел с прямой спиной, на лице аристократическая усмешка – вылитый Караян. Я не удивился бы, если он и есть какой-то бывший «фон», надменности у него, по крайней мере, хватает. Извинился, что заранее не ознакомился с условиями контракта, он, видите ли, во время работы думает только о творческих проблемах, и выразил удивление, почему ты ему об этом сразу не напомнила, вместо того чтобы хлопнуть дверью...

– Ах это я хлопала дверью! Да он же выкинул меня из зала! Вот-вот, настоящий барон. Кто знает, может, его предки были балтийскими немцами, а то с чего он взял, что может так легко мной командовать...

– Подожди, послушай, как он продолжил. Я бы назвал это небольшим шедевром в духе Ма-кьявелли. Правда, сказал фон Юрген, даже после того, как он трижды с начала до конца прочел договор, он не понял, с чего это ты, человек, посвятивший свою жизнь искусству, можешь истолковывать его идею как унижение своего достоинства. Он же не высосал эту мизансцену из пальца, он объяснил тебе, чего добивается...

- Фарисей!

– Однако это, дескать, вопрос не принципиальный, он может использовать и другие выразительные средства. Только – добавил он – он тоже человек, он работает дни и ночи напролет, чтобы спектакль был готов вовремя, и не может постоянно что-то менять. Поэтому, чтобы больше не возникло никаких конфликтов, он хочет точно знать, что ты подразумеваешь под «унижением женского достоинства».

- Будто трудно догадаться!

– Так он утверждал. И, надо признать, я немного замешкался с ответом. Жаль, что тебя самой там не было...

- Что же ты им сказал?

– Ну, я перечислил все, что мне пришло в голову – что ты не желаешь носить костюмы, которые обнажали бы тебя больше, чем это прилично при чужих людях, и не желаешь делать движения и принимать позы, имитирующие половой акт... Ничего другого мне в голову не пришло.

Аника напрягла мозги – действительно, что же еще? Она тоже не смогла ничего придумать.

- Я думаю, этого достаточно, – сказала она.

– Я тоже надеюсь, но мне не понравилось, что Юрген попросил меня подтвердить, что теперь все. Я пытался оставить этот вопрос открытым, но принципиальное согласие он у меня вырвал.

На миг у Анники возникло дурное предчувствие, но она объяснила это своей трусостью.

– По-моему, ты все сделал, как надо, – сказала она. – Больше условий ставить было нельзя, это уже выглядело бы как капризы примадонны.

Она встала, обошла стол, обняла мужа сзади и поцеловала в висок.

– Мой большой и умный муж, – промурлыкала она.

Пьер презрительно фыркнул, но Анника знала, что в глубине души он польщен. Она вспомнила, что еще не задала вопроса о том, как прошла запись, и быстро исправила свою ошибку.

– Да обычная болтовня, – махнул Пьер рукой. – Ты же знаешь, мы, французы, любим три вещи – есть, заниматься сексом и говорить. Две первые там не предлагали, но вот высказываться каждый мог по полной. Ах, как замечательно поет икс и как великолепно имярек – хотя мы все знаем, что бельканто уже никто не владеет. Это искусство утеряно.

При упоминании «трех вещей» Анника захихикала и вдруг почувствовала, что у нее скребет в горле. Неужели она простудилась? Пьер, заметив ее тревогу, спросил, в чем дело, и Анника, воспользовавшись случаем, попросила его сесть ненадолго за рояль.

– Голос какой-то странный. Хотела бы проверить, все ли в порядке.

Муж с удовольствием выполнил ее просьбу, одно время они часто вместе репетировали, а новые партии Анника до сих пор сперва проходила с Пьером, он, конечно, не был профессиональным аккомпаниатором, но компенсировал посредственность игры умом, находя такие эмоциональные нюансы, до которых не додумалась даже Жанина.

К счастью, с голосом ничего не случилось, поскребывание исчезло сразу после первых нот, и Анника успокоилась.

– Ладно, в таком случае пойду немного поработаю, – сказал Пьер и закрыл крышку рояля.

Он отправился в кабинет, Анника же, убрав со стола и вымыв посуду, вернулась в гостиную, села на диван, снова поджала под себя ноги и вытащила со стоявшей рядом этажерки одну из книг, которые в последний раз привезла с собой из Тарту – на французском языке она серьезную литературу читать не могла, только детективы. Открыв первую страницу, она попыталась сосредоточиться, сначала это вроде бы удалось, но вскоре мысли само собой отделились от романа. Гуляя по Сен-Мишель, она думала, что завтра пойдет в Люксембургский сад, его атмосфера, с приподнятым настроением, которое излучали студенты, нравилась ей, особенно тянуло ее туда зимой, когда аляповатые пальмы заменяли красивыми печальными бессмертниками, пышные кисти которых свисали из мраморных ваз, расставленных на балюстраде, но теперь это, конечно, отменялось. Да и отмечать столетие тети Софии она поехать не сможет – но зато с ней опять ее Виолетта. От этой мысли ее охватило знакомое ощущение счастья, ведь она так долго мечтала об этой роли. Бедная Виолетта – после того как Анника сегодня увидела жалкий строй молодых проституток, она еще лучше стала понимать свою героиню. Возникло минутное желание пойти рассказать Пьеру о дневном приключении – но муж всегда работал очень сосредоточенно и раздражался, когда ему мешали. Да и понравится ли Пьеру, что жена бродит по подозрительным местам?

Интересно, подумала Анника вдруг, а почему муж все-таки днем не сразу ответил на звонок? Может, он вовсе и не был в библиотеке, а проводил время именно с такого рода девчонкой, возможно, даже на той улице?.. Ведь сам же только что утверждал, что французы любят есть, болтать и заниматься сексом...

Но это было нечто такое, чего она никогда не узнает. Есть вопросы, которых не задают, и есть тайны, о которых не говорят – разве и она не скрывала давнишнее происшествие с арабами? И разве она точно так же не собирается скрыть сегодняшний случай в метро?

Ее мысли прервала мелодия, вырвавшаяся из сумочки – это оказался Карлос, который, несмотря на поздний час, спешил выразить свою радость, что все так счастливо кончилось.

– Мы все переживали за тебя, – сказал тенор. – Все, Джованни, Роберт, я... Роберт (это был баритон) сказал, что если бы он был на репетиции, он не дал бы делу зайти так далеко. Он просил передать тебе привет... – Карлос еще немного поболтал и затем быстро распрощался – наверно, вспомнил, что надо беречь голос.

Вот такие они есть, подумала Анника, смотрят, с какой стороны ветер дует...

Она положила мобильник на стол и пошла в ванную, чтобы сделать маску для лица.

Сергей БОРОВИКОВ

ЗАПЯТАЯ

В 60-м выпуске моего «Русского жанра» я объявил, что с ним завязываю. Как с водкой. Написал и вспомнил, что астраханский писатель Юрий Селенский говаривал: «Оформлю пенсию – писать брошу», недоверчивые реплики комментировал: «Даже х... на заборе не напишу!», а сам писал тогда лучшую свою повесть «Не расти у дороги».

Но проклятая привычка тянет к столу. Пусть выйдет тот же русский жанр, ну и что? Кобзон лет пятнадцать давал свой прощальный концерт, а нам, малым сим, тем более простительно.

А как назвать?

После «Осколков» за полтора века ничего лучше не придумали, в моё же время были «Затеси», «Мгновения» и просто немыслимое по безвкусице – «Крохотки». Я долго искал, сверяясь в Сети, не было ли где такой книги. Вот как-то придумалось: «Дребезги», но так назвал воспоминания Валерий Золотухин. Хотел «Черепки», да уж слишком близко к черепу, а поскольку меня не так много отделяет от этого состояния головы, испугался и придумал: «Запятая». Во-первых, всё-таки ещё не точка, во-вторых, я всю жизнь предпочитал не договаривать.

Май 2019

...

«Пишет либеральные повести, но при случае любит дать понять, что он коллежский регистратор и занимает должность» Чехов. Остров Сахалин.

...

Некрасов в «Петербургских углах» делает сноску к слову «ерунда»: «лакейское слово, равнозначительное слову – дрянь».

Но в современном бытовании *ерунда* и *дрянь* далеко не всегда синонимы. Если синонимический ряд к *ерунде* состоит из аналогичных наречий – *чепуха*, *пустяк* и т.п., то к *дряни* куда больше негативно-человеческих существительных: *негодяй*, *тварь*, *подонок*, *гнусь*.

Что же такое лакейский язык?

Первым, естественно, идёт на память Смердяков.

«А они про меня отнеслись, что я вонючий лакей. Они меня считают, что бунтовать могу; это они ошибаются-с. Была бы в кармане моем такая сумма, и меня бы здесь давно не было. Дмитрий Федорович хуже всякого лакея и поведением, и умом, и нищетой своею-с, и ничего-то он не умеет делать, а, напротив, от всех почтен. Я, положим, только бульонщик, но я при счастье могу в Москве кафе-ресторан открыть на Петровке. Потому что я готовлю специально, а ни один из них в Москве, кроме иностранцев, не может подать специально. Дмитрий Федорович голоштанник-с, а вызови он на дуэль самого первейшего графского сына, и тот с ним пойдет-с, а чем он лучше меня-с? Потому что он не в пример меня глупее. Сколько денег просвистал без всякого употребления-с».

И дело конечно не только в пресловутом *словоерсе* почти к каждому слову и не только в словаре, а в самой лакейской тональности.

Лакей и слуга. Точно ли синонимы? вот классический из старых русских слуг – обломовский Захар.

Захар хорошо слышит и понимает слово, его не проведёшь иноземным, каким так любит щеголять Смердяков, но доконаешь «жалкими словами»:

«Да что это, Илья Ильич, за наказание! Я христианин: что ж вы ядовитым-то браните? Далось: ядовитый! Мы при старом барине родились и выросли, он и щенком изволил бранить и за уши драл, а эдакого слова не слыхивали, выдумок не было!»

У того же Гончарова есть очерк «Слуги старого века», где в предисловии он отвергает «демократические» упреки в свой адрес за якобы нелюбовь к «крестьянам»: «Я не владел крестьянами. Не было у меня никакой деревни, земли; я не сеял, не собирал, даже не жил никогда по деревням».

И первый из описанных – Валентин многим напоминает Смердякова. Он столь же аккуратен и щеголеват. Он тоже любит рифмы и даже выписывает в тетрадку «Сенонимы». Так с чьего-то научения он называет «однозвучные слова. Например, рядом стояли “эмансипация и констипация”, далее “конституция и проституция”, потом “тлетворный и нерукотворный”, “нумизмат и кастрат”, и так без конца». Со Смердяковым Валентина роднит сластолюбие и высокомерное презрение к «мужичью», соседские девицы, за которыми ухлёстывает, «за честь должны считать, что я с ними общаюсь!».

И все описанные в очерке слуги речью не схожи. Богатырь и обжора Антон изъясняется иначе, чем старенький пьяница Степан, или честный до абсурда католик Матвей – у всех своя лексика и интонация. Так что же такое лакейская речь?

Если обозреть русскую литературу на этот счет (думаю, такие работы есть), то, конечно, некие типические особенности языка прислуги мы обнаружим, и всё-таки у русских писателей слуга это всегда индивидуальность (Селифан и Петрушка!), и ступени его жизни от мужика к лакею в барском доме или к трактирному половому отражены в речи. А еще слуга, в силу постоянного сожития с баринном, делается его карикатурой, жуир и бездельник Осип пародирует Хлестакова, так и старый слуга беспечного Стивы Облонского Матвей убежден, что все само собою «образуется».

...

Я как-то уже признавался в привязанности к Илье Эренбургу, мало объяснимой, потому что редко встречал его даже не поклонников, но просто читателей. Имя всем известно, как и то, что он долго жил в Париже, что был в войну главным публицистом – вот и всё. В лучшем случае в литературной компании назовут «Хулио Хуренито» со знаком плюс и «Бюрю» со знаком минусом, хотя скорее всего ни тот ни другой роман не читали.

Меня же давно всё, связанное с личностью и книгами Эренбурга, притягивает ничуть не меньше, чем творчество и личности Алексея Н. Толстого, Булгакова или Зощенко. Случилось так, что по времени совпали публикация в журнале «Знамя» моей рецензии на книгу Бенедикта Сарнова «Случай Эренбурга» и знакомство с главным эренбурговедом страны Борисом Фрезинским, которому я высказал ему своё пристрастие к Эренбургу, и у нас быстро возникли короткие отношения. Но прочитав мою рецензию, он жестоко раздолбал её, как уличив в ошибках, так и навязывая собственный взгляд на писателя, который я не во всём мог принять. Борис, подобно другим исследователям, у кого одна, но пламенная страсть, даже если очень и пожелает, никогда и ни за что не признает малейшего отклонения от собственной позиции. И это в конце концов правильно. Любовь не бывает объективной.

Книга Ильи Эренбурга «Лик войны. Воспоминания с фронта, 1919, 1922–1924. Газетные корреспонденции и статьи, 1915–1917» (составление, подготовка текстов, вступительная статья, комментарии, подбор иллюстраций Б.Я. Фрезинского, СПб. 2014), вобравшая статьи писателя в

бытность его корреспондентом французских газет, стала для меня открытием, много разъяснила в творчестве и личности Эренбурга и объяснила моё к нему пристрастие¹.

Ещё было важно, что моя рецензия под удачным названием «Боши, а не фрицы», пришлось по сердцу Фрезинскому.

Перебирая сейчас нашу с ним переписку, наткнулся на своё письмо 2015 года, которое показало мне *литературно* (во всяком случае для меня), существенным.

Дорогой Борис!

Я по получении книг «Лик войны» и «Троцкий. Каменев. Бухарин» сообщил тебе об этом, но ответа не получил. Надеюсь, здоровье твое терпимо для нашего возраста и сердец².

Книгою «Лик войны» ты произвел в моем расшатанном организме волнение. Я как мог откликнулся на книгу рецензией, которую принял в «Знамени». Но главное вновь погрузился в Эренбурга. Даже и в своих легкомысленных, справедливо тобой разничтоженных заметках о книге Бена Сарно-ва я признавался в страсти к ИГ, видимо, потому ты мне и доверился. После «Лица войны» я вновь погрузился в твою главную «Об Илье Эренбурге»³. А оттуда то и дело к трехтомнику писем⁴, и наконец к сочинениям самого ИГ, о чем ниже.

Любимое мое чтение это перелезть из книги в книгу по поводу, или по имени, особенно если раньше на нем не сосредотачивался. Сейчас, например, отношения ИГ с Пильняком. Кстати, я рад был прочитать, что ты подвергаешь сомнению утверждение Ахматовой о «чудовищном антисемитизме» А.Толстого⁵. Еще в связи с Толстым два вопроса: ты пишешь «возможно по доносу Толстого его и выслали» – но никаких подтверждений, хотя бы и косвенных, не приводишь, почему? А еще о многолетней ссоре с Толстым ИГ писал, что причин не помнил. Так ли это, или не желал сказать?

Вообще книга твоя «Об Илье Эренбурге» не просто уникальная, притом очень лично окрашенная, энциклопедия, но пример истинно профессиональной работы, какие в нашей болтливой или формальной филологии редки. Вероятно, тебе помогает математическая подготовка, настолько ты скрупулёзен и обширен во всем, что необходимо читателю.

Теперь о произведениях ИГ, к которым я то и дело бросался по мере чтения твоей книги и трехтомника. Я неожиданно, и с совсем иным отношением, то есть интересом, перечитал «День второй». Меня несколько не оттолкнула «советскость» романа, это какая-то очень честная советскость, как будто немного иностранца, который хочет разобраться, что же в СССР происходит. Но от главы к главе у меня нарастало раздражение из-за искусственного ведения сюжета. Пусть ИГ и говорил сам, что «День второй» это цепь очерков, но ведь и в других романах он бывает столь же слаб в сюжете, фабуле, раскрытии конфликтов.

Исключение – «Рвач», думаю, все же лучший роман его. И очень русский. Классически русский.

И я тебе страшно благодарен, что ты как бы заново «отправил» меня Эренбургом. Однако, удивительное дело, читать об Эренбурге, про Эренбурга и проч. мне по-прежнему часто интереснее, чем его. Пытался понять, почему почти часто читаю его с затруднением на примере «Дня второго». Дело в какой-то, присущей почти всем его романах, выражусь неуклюже, лирической особенности сюжета – герои откровенно управляются рукою автора. Автор не растворяется в своих героях.

¹ В книге «Заклад», пытаясь сформулировать собственные литературные устои, я писал: «Мне очень близок пример Эренбурга, которого Шкловский назвал Павлом Савловичем».

² Так как Фрезинский ещё более заслуженный сердечник, чем я, любое молчание меня тревожит.

³ Борис Фрезинский. «Об Илье Эренбурге». М.: НЛО, 2013

⁴ Илье Эренбург. Письма. В 2 т., М.: Аграф, 2004 и «Почта Ильи Эренбурга». М.: Аграф, 2006.

⁵ Я написал об этом статью «Еврейские персонажи Алексея Н. Толстого», не раз её переделывал, даже сподобился получить в целом поощрительный отзыв самой Елены Толстой, но не пытаюсь публиковать, прочитав в её книге ««Дёготь или мёд?»» Алексей Н. Толстой как неизвестный писатель (1917–1923)» (М.: Изд. РГГУ, 2006), блистательную главу «Фило- и антисемитизм Алексея Толстого».

Исключение, повторюсь, «Рвач», самый интересный его роман, вероятно потому что пружина действия – Михаил, выписанный досконально, не просто характер, но тип. (Чего не прочитал в Сафонове.)

А в других романах часто мешает до назойливости настойчивый голос автора, особенно проявляющийся в характерной интонации стиля. Зато эта особенность совершенно естественна не только в ЛГЖ, но и в «Лете 1925 года», который я с удовольствием перечитал сейчас. А вот взялся было за «Заговор равных» и отставил – скучно! Вдруг заметил, что самые мои любимые вещи все из 2-го тома 9-томника: «Рвач», «Лето 1925 года» и «В Проточном переулке».

Я, правда, очень многого не читал – «Жанну Ней», «Николая Курбова», «Девятый вал», а «Падение Парижа» показалось когда-то чересчур иностранным, словно перевод. «Бурю» не одолел, есть у нехорошая для профессионала черта – не могу читать через силу. Покойный брат, бывало, читает книгу и чертыхается, я ему говорю – брось, а он отвечал, что не может.

Вот такой мой тебе отчет по Эренбургу.

, , ,

Лев Кассиль. Это имя в детстве было связано с тремя моментами.

1. В доме была книга в ярко-жёлтом переплёте «Кондуит», которую я ещё не читал.

2. В 1955 году впервые был на взрослом собрании в саратовском Доме ученых на 50-летию отца, где со сцены зачитывали поздравительные телеграммы, и запомнилось: «Радуюсь издаелека / успехам земляка, / желаю бодрости и сил / ваш неизменно Лев Кассиль».

3. Спустя два года, когда женился старший брат, среди приданого Нины были две книги Кассиля. «Швамбрания», как оказалось, вариант-продолжение нашего жёлтого «Кондуита» и крайне мне понравившееся «Великое противостояние» о девочке Симе, снимавшейся в кино у режиссера с диковинной фамилией Расщепей.

Потом по школьной программе была очень толстая и очень скучная «Улица младшего сына» о пионере-герое Володе Дубинине (тогда обязательно читали несколько таких книг – «Четвертая высота» и др.). Потом попадались «Вратарь республики», что-то ещё, имя писателя для меня потускнело, пока, уже студентом филфака, не решил заглянуть наконец в старый жёлтый «Кондуит», который оказался вполне вровень с высококочтимой мной прозой 20-х годов.

Кондуит. М.: ОГИЗ-Детгиз, 1934. Издание пятое, дополненное, иллюстрации КУКРЫНИКСОВ.

Эта книга свидетельство того, что к страшному 34-му году не вовсе были утрачены уровни прозы и книгоиздания 20-х годов.

, , ,

«Обилие деталей, может быть, верных и трогательных самих по себе, но увиденных не Санией Григорьевой, а Кавериним, вернее даже не увиденных, а собранных заботливо из того, что увидено другими, похожих и на засушенные цветы, сушит книгу, мельчит и центральный образ и его автора. <...> Нам жаль, что Каверин написал вторую книгу «Двух капитанов», – писала Вера Смирнова в журнале «Знамя» (1946, №5).

Мы так привыкли к присутствию в нашей жизни этого романа, что воспринимаем его как целое, тогда как первая (1938–40) и вторая (1944) книги разительно отличаются, и не в пользу второй. Самый приём продолжения повествования не автором, а через рассказ двух главных героев сильно подвёл писателя: речь Сани и Кати ничем не отлична, и зачастую равно бесцветна. Ещё можно немало выставить упреков в неизбежном для завершения сведения концов с концами во имя торжества справедливости: ареста Ромашова, разоблачения Николая Антоновича и др., но, в конце концов, это вполне в романтической традиции.

Статья Веры Смирновой порой преподносится чуть ли не как донос с целью не допустить присуждение роману Сталинской премии. Сын писателя в наше время отзывался так: «...была рез-

кая критическая статья Веры Смирновой. Я не помню, за что именно она критиковала роман. Возможно, за то, что там не отражена роль Партии и Комсомола, практически нигде не упоминается Сталин».

То, что в 1938 году Смирнова по заданию Детгиза составила книгу «Рассказы о детстве Иосифа Сталина», забраванную вождем, ещё не делает её Ермиловым в юбке. Она писала о Гайдаре и Житкове, дружила с Чуковским, в эвакуации была близка с Цветаевой. Вот запись в дневнике Федина: «Выяснилось вчера, что лучшие докладчики на конференции Университета, посвященной мне, грешнику, Ю. Оксман и В. Смирнова не приедут по болезни. Их выступления только и занимали меня, – теперь интерес наполовину пропал и всё будто посерело» (28.IX.59, Саратов).

...

В советское время многими гражданами почитался оскорбительным вопрос к очереди: «Кто последний?» Надо было спросить: «Кто крайний?»

Как сейчас не знаю, но очереди где-то ведь бывают?

Что негативное восприятие определения «последний» сложилась издавна, встретим в рассказе Чехова «Корреспондент» (1880), где престарелый газетчик, написав о благотворительных взносах купцов, читает сочиненное одному из них: «Считаю нужным назвать здесь имена главных жертвователей. Вот их имена: Гурий Петрович Грыжев (2000), Петр Семенович Алебастров (1500), Авив Ипокентиевич Потрошилов (1000) и Иван Степанович Трамбонов (2000). Последний обещал...» Кто это последний?

– Последний-с? Это вы-с!

– Так я, по-твоему, значит, последний?

– Последний-с... То есть... эх... эх... гем... в смысле...

– Так я последний?

Иван Степаныч поднялся и побагровел.

– Кто последний? Я?

– Вы-с, только в каком смысле?!

– В таком смысле, что ты дурак! Понимаешь? Дурак! На тебе твою корреспонденцию! (...) Иван Степанов Трамбонов последним никогда не был и не будет! Ты последний! Вон отсюда, чтобы и ноги твоей здесь не было!»

...

Остап «Золотого телёнка» уже не способен украсть вдовье ситечко, да и охмурять её. В «Золотом телёнке» он во всём масштабнее, легко осваивается в роли руководителя, а попав в политизированную среду совжуров, мгновенно находит с ними общий язык. Он всё менее чужой в советском обществе. Разве могла прежним Бендером, пусть и ненадолго, овладеть готовность избавиться от криминального чемодана?

С крахом бегства в Рио для него открывался новый путь, заявленный в финале, и можно вообразить, что в третьем романе Остап разбогатеет именно на благодатной ниве ЖКХ, уведёт Зосю у скучного грека и захочет для своих детей светлого будущего...

...

Когда я был маленьким и юным, председателей колхозов в кино всегда играл Сергей Блинников. Справился: в семи фильмах, не считая директоров и генералов. Думаю, городской зритель представлял предколхоза именно как Блинникова – высокого, лысого, громогласного.

Лишь недавно узнал, что двадцатипятилетний актёр был занят в первом составе «Дней Турбиных» в МХАТе в 1926 году!

То есть я знал, что он был актёр Художественного, но мало ли кто там и в какие времена не служил... Нет, в первой постановке в роли гимназического сторожа Максима, в очередь с Михаилом Кедровым, он выходил на сцену с Хмельёвым, чтобы через 20 лет пошли сплошные Иван Бровкины. Дивны дела твои, советское искусство!

, , ,

По мне самое удачное происхождение – родиться в семье сельских интеллигентов.

Прямо-таки близко к помещицкому небогатому детству, слитно влить в себя природу и книгу, сельский труд и культуру.

Недостаточен сугубый горожанин, не умеющий отличить коршуна от ястреба, овса от пшеницы, не слышащий мелодий сохранившейся в глуши народной речи, уязвим и крестьянин, даже сделавшийся черт знает каким важным академиком, он до конца дней несёт груз родовой ограниченности.

, , ,

Мой старший брат не любил кошек. При любом случае гонял, швырял камнями в проходившую по высокому карнизу соседнего дома.

А в год смерти с ним рядом возник большой серый кот, который везде шёл следом. Обычный маршрут брата в то время – утром к открытию киоска «Союзпечати». Шёл 1988 год... Жадное внимание к публикациям «Московских новостей» и «Огонька». Жванецкий тогда заметил, что читать стало интереснее, чем жить.

К киоску приходили заранее, в ожидании привоза возникало подобие политклуба. Очередь собиралась огромная: любимых изданий не хватало, и после открытия доходило до драк.

Кот, имя которого я забыл, терпеливо, подобно верному псу, ожидал хозяина рядом, а когда тот умер, прыгнул в гроб, и согнать с груди покойника удавалось ненадолго. Увезли гроб, и кот ушёл навсегда.

, , ,

Когда впервые, лет, наверное, в сорок, остро замечаешь бег времени, становится страшно: только что было воскресенье и уже пятница, только что исполнился сорок один год и вот уже сорок пять, только что, только что...

А сейчас, в семьдесят два, почему-то не страшно, лишь будничное время стал считать не часами и сутками, а неделями.

Из той же оперы и равнодушие к уходам сверстников, что так пугали когда-то, жаль только молодых: видя юного покойника, чувствуешь вину перед ним за то, что жив.

Михаил БАРУ

ОБЛОМОК НАДГРОБНОГО КАМНЯ

Шацк

«Далече ли до крепости?» – спросил я у своего ямщика. «Недалече, – отвечал он. – Вон уж видна». Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой – скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» – спросил я с удивлением. «Да вот она», – отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частью покрыты соломой».

– Какое же это имеет отношение к Шацку? – спросит читатель. Самое непосредственное. Шацкие краеведы не просто утверждают, а зуб дают, да не один, что наше все описало под видом Белогорской крепости Шацк. ~~Нон пробовали бы они такое сказать в Оренбургской области.~~ Проезжало оно через город по пути в Оренбург и останавливалось на несколько часов в гостинных номерах купца Храмцова. Долго ли описать маленькую крепость? Особенно умеючи. Особенно Пушкину. Мало того, он еще и известную в Шацком уезде фамилию Швабриных прихватил с собой для того, чтобы отдать ее одному из героев повести. Не самых, надо сказать, симпатичных. Правду говоря, Швабрин Пушкина и Швабрины Шацкого уезда это две большие разницы¹, да и сам Шацк от Белогорской крепости...

Впрочем, если все по порядку, то начинать надо еще с тех времен, когда никакого Шацка не было, а на том месте, где он сейчас стоит, шумели дремучие дубовые и сосновые леса. Леса шумели по берегам маленькой речки Шача, которая впадала в Цну, которая впадала в Мокшу, которая впадала в Оку, которая впадала в Волгу, а уж Волга... Рыбы в этих реках было столько, что у проживавших в тех местах племен мордвы и мещеры в языках не существовало глагола «не клюет». Если честно, то Шача – речка маленькая и даже очень. Сейчас в ней, кроме пескарей, и поймать толком ничего не получится, но в девятом веке, когда в тех краях начали появляться славяне, пескари в Шаче ловились пудовые. Конечно, в летописях этого не прочтешь, но в преданиях... Ну, а к рыбе была дичь, а к дичи дикий мед и такой же дикий воск, а к меду ягоды, а к ягодам грибы, которые тогда можно было косить косой, если бы у тогдашних охотников и собирателей имелись косы. Еще и земля плодородная. В этих местах только жить-поживать да добра наживать. Ну, а как только оно нажито – сразу же появляются охотники до чужого добра. В середине десятого века приходили сюда за данью дружины киевского князя Святослава, а с одиннадцатого века начались регулярные набеги половцев. Боролись с ними, боролись... до тех пор, пока в тринадцатом веке не пришли монголы с татарами во главе с Батыем и не обложили данью всех, включая медведей и белок. Несчастные медведи с белками отродясь не видали такого количества меда и орехов, которые им было велено сдавать ханским баскакам, и если бы не помощь местных жителей...

И после Куликовской битвы покоя этим местам не было – то Тохтамыш придет, то ордынские князьки помельче, то рязанские князья начнут выяснять с московскими кто в доме хозяин... И все грабят, деревни жгут, посевы конницей топчут, а татары с ногайцами еще и девок с ребятами в полон уводят и в Крым продают.

В конце концов Золотая Орда развалилась, а рязанские князья вместе с мордовскими пошли под руку московских. Казалось бы... но, нет. Это по берегам Шачи и Цны росли густые леса,

полные дичи, ягод, грибов, дикого меда, пушнины и красивых славянских девушек, а юго-восточнее начинались бескрайние степи, тянувшиеся до низовьев Волги, Дона и Крыма. И жили в этих степях кочевники, у которых из пушнины были только степные суслики с тушканчиками, а из грибов только плесневые, которых они, в отсутствие микроскопов, даже и разглядеть толком не могли. Лошади, овцы и верблюды, которых разводили ногайцы, меда не давали, как их не дои, а уж что касается красивых славянских девушек... Оставалось им только одно – набеги. Они и набегали с завидной регулярностью. В среднем в первой половине шестнадцатого века на один мирный год приходилось два года войны. С другой стороны, все больше русских, раньше живших к северу от Оки, стали переселяться на берега ее южных притоков. Разные это были люди – и беглые крестьяне, и солдаты, которым надоело служить, и те, по кому плакала тюрьма, и те, кому просто хотелось вольной жизни. Были и те, кого сюда посылало государство. Еще при дедушке Ивана Грозного, Иване Третьем, всем, кто изъявлял желание поселиться на этом фактически пограничном рубеже, давали бесплатно землю и налоговые льготы, а тех, кто не изъявлял желание, посылали в приграничные области в приказном порядке на вечное поселение вместе с женами и детьми. Особенно это касалось военных. Надо сказать, что не все военные даже и по приказу хотели ехать в те места. Этим велено было бить батогами и сажать в тюрьмы. Переселяли и помещиков вместе с крестьянами.

Конечно, плодородная земля, обилие грибов, ягод, рыбы в реках и дикого меда с диким воском в дуплах деревьев в какой-то мере переселенцам пилюлю подслащивали, но... собирать эти грибы, мед, ловить рыбу и пахать землю приходилось буквально в шлемах, кольчугах и с пищалими за спиной. Все это было страшно неудобно – и железные шлемы, от которых то и дело случались тепловые удары, и тяжеленные кольчуги, под которыми невозможно было ничего почесать невооруженным до зубов пальцем, и пищали, которые могли запищать в самый неподходящий момент. Стали строить оборонительный рубеж, чтобы его обороной занимались специально обученные люди, называвшиеся стрельцами, пушкарями и казаками, а крестьяне, сняв с себя доспехи, могли бы пахать и сеять встать хоть круглые сутки. Оборонительный рубеж представлял собой лесную засеку глубиной не менее нескольких километров. Случалось и до трех десятков. Внутри засеки были и поваленные деревья, и заостренные колья в местах проходов, и лежащие в местах речных бродов на дне бревна, утыканные дубовыми гвоздями, а то и железными спицами. Тут не только конному, но и пешему пройти, а вернее, продаться сквозь засеку было практически невозможно. Тянулась эта Большая засечная черта, или полоса отчуждения, внутри которой нельзя было прокладывать не только дорог, но даже и тропинок, по южному рубежу Московского государства на расстояние больше тысячи километров – от Козельска и почти до Нижнего. В черте были проделаны проходы, охранявшиеся небольшими сторожевыми крепостями.

На этом месте предыстория Шацка кончается и начинается история. В 1553 году в начале мая на участке Шацкой засеки, тянувшейся на сто верст, в месте, которое называлось Шацкие ворота, по указу царя был построен город. Не просто так построен, а после опустошительного набега ногайцев на Старую Рязань в 1551 году. Дети боярские, которым было приказано поставить город, сами выбирали подходящее для него место. Только одно условие было поставлено царем – не ближе четырех сотен верст от Москвы. То есть на передовой. Место для города, согласно Никоновской летописи, выбирали воеводы князь Дмитрий Семенович Шастунов и Степан Григорьев сын Сидоров, которым приглянулся высокий холм на левом берегу Шачи. Сам город строил дьяк и воевода Борис Иванович Сукин. Построили город быстро – буквально за несколько месяцев, и тут же передали его под начало назначенному на год воеводе князю Ивану Федоровичу Мезецкому.

Конечно, городом Шацк назвать было трудно – это была маленькая крепость или город-острог, окруженный насыпным валом, на котором стоял двойной дубовый частокол. В промежутке между этими дубовыми стенами засыпали камни и землю. Срубили внутри крепости несколько изб и поставили церковь, освященную во имя Воскресения Христова. Еще вырыли ров,

соединив его с Шачей, и в случае опасности пускали в него воду. Вот, собственно, и все. Если исключить ров и добавить «скривившуюся мельницу», то как раз будет похоже на Белогорскую крепость.

Тут нужно сказать несколько слов о том, почему город называли Шацком. Понятное дело, потому что река Шача, которая, кстати, в те времена называлась Шатей. Между прочим, и город называли Шатском, и так он звался долго, и даже не одно столетие, пока не переименовали его в Шацк. Река называлась Шатей вовсе не потому, что по ее берегам в древности жили шатии, а потому, что мордовское слово «шачимс» означает «хорошо уродиться». Маленькая Шатя или Шача, конечно, уродилась, но не так хорошо, как Цна, в которую она впадает, а уж про Мокшу и Оку и говорить нечего. Есть еще одно мордовское слово «шаня», означающее благоприятное место, есть татарское слово «шат», означающее рукав реки, есть еще одно татарское слово, есть русский глагол «шататься», есть еще глагол «шацкать», то есть погонять лошадей, есть, наконец, татарское слово «шача», означающее чистую воду. Так или иначе, откуда-то название реки и вслед за ней города произошло. Если все версии смешать, то получится, что хорошо уродилось в хорошем месте с чистой водой и лошадьми, которых постоянно погоняют. В смысле, шацкают.

Теперь на том месте, где был построен острог, стоит на облупившемся пьедестале гранитный валун с памятной табличкой и автовокзал. Точнее, автовокзал устроен в бывшем городском соборе, построенном еще при Елизавете Петровне и закрытом в тридцатых годах прошлого века. От собора, то есть от автовокзала, вниз к реке ведет улица, вымощенная еще в позапрошлом веке булыжником. При Советской власти булыжную мостовую закатали в асфальт, но асфальт мостовая отторгла, он облез, и от него осталось лишь несколько заплаток, а булыжник проступил, как деревня, которую нельзя вывести из девушки. Впрочем, до асфальта еще очень далеко. Вернемся в шестнадцатый век.

И года не прошло с постройки крепости, как под ее стены явились татары проверять, крепки ли стены, глубок ли ров и метко ли стреляют стрельцы с пушками. Оказалось, что и ров глубок, и стены крепки, и стреляют так метко, что лучше убираться из-под стен Шацка, пока цел. Правда, после этого успешного отражения татар гарнизон крепости был усилен. Когда через семнадцать лет крымский хан Девлет Гирей шел на Москву, сторожевые разъезды Шацкой засечной полосы его войско обнаружили и уже готовились дать бой, но хан обошел Шацк стороной. В конце шестнадцатого века к Шацку подошли азовские турки и ногайцы, но гарнизон под командой воеводы князя Кольцова-Мосальского их отбил. В общей сложности в шестнадцатом и семнадцатом веке приходили в те места татары и ногайцы больше четырех десятков раз. Шацк не был взят с бою ни разу. Шацкие воеводы и оборону умели держать, и другим таким же городкам Засечной черты помогали в случае нужды. И не только городкам. Пятьдесят шатчан участвовало в знаменитой битве при Молодах, когда воеводы Воротынский и Хворостинин разбили наголову войско Девлет Гирея. Дмитрий Хворостинин, о котором английский посол Джайлс Флетчер писал, что он «главный у русских муж, наиболее употребляемый в военное время», начинал свою военную карьеру не кем-нибудь, а... воеводой в Шацке. Кстати, об английских послах. Вернее, о послах в Англию. Другой шацкий воевода Алексей Иванович Зюзин при царе Михаиле Федоровиче возглавил посольство к английскому королю Иакову Первому и после переговоров подарил от себя королю, королеве и принцу сорок соболей и одну чернобурую лисицу. Каждому. Вы только представьте себе, что главу администрации Шацкого района посылают во главе посольства в Англию... То-то и оно. Послать-то его еще можно, но где он возьмет столько соболей для подарков? Пусть не по сорок каждому, но хотя бы по пять Елизавете, ее мужу, принцу Чарльзу, принцессе Анне, герцогу Йоркскому... Даже и по два не выйдет. Третий шацкий воевода князь Александр Засекин по поручению Бориса Годунова возглавлял посольство в Персию и настойчиво добивался, чтобы в договоре о дружбе было записано о том, что персидские купцы не будут заниматься продажей русских пленных, которых им поставляли крымчаки и ногайцы после набегов. Четвертый шацкий воевода князь Георгий Иванович Токмаков кроме того, что был военачальником, перевел с

немецкого языка на русский чрезвычайно популярную в средние века народную энциклопедию – разговор между учеником и учителем о разных предметах и явлениях природы. Именно в этом переводе впервые в русском языке было употреблено слово комета. Где Шацк, а где комета... Пятый шацкий воевода Роман Федорович Боборыкин в 1636 году заложил город Тамбов. Между прочим, срубили тамбовский острог шацкие плотники, коих набрали по одному от пяти дворов, и заселили новорожденный город они же вместе с казаками из Шацкого села Конобеево. Шестой шацкий воевода князь Михаил Петрович Волконский не запомнился ничем, кроме того, что прозвище у него было «Жмурка». Седьмой воевода – князь Иван Романович Безобразов и вовсе имел прозвище Осечка. Вот каково это – жить с прозвищем Осечка? Ведь у него же дети были. Небось, приходили к нему в перерывах между военными походами и спрашивали: «Папка, а за что тебя так...» А жена воеводы сидела в углу, за печкой, и украдкой вытирала слезы. Или не утирала, а запикивала себе в рот рукав от собольей душегрейки или кокошник, чтобы не умереть со смеху.

Ну, да Бог с ними, с воеводами. В 1672 году Шацкой засеке, участок которой тянулся почти на сто верст, была сделана опись: «Засака Шацкая, новая, с польской стороны от Кривой поляны до Казачья острогу и до Шацкого города под Ямскую слободу 6 верст, а от Ямские слободы с русские стороны до реки Пары 90 верст, а поперечнику от Шацкого города и против Пансковской прорехи на полверсты, а против деревни Пролому через Борщову поляну до Кривой поляны от черты до черты на версту, а от Кривой поляны на реку Пару до замка Липские засеки...». Где нынче все эти Пансковские прорехи, Борщовы и Кривые поляны – знают, наверное, только краеведы. Деревни Пролом теперь нет, но есть рядом с современным Шацком два села – Большой Пролом и Малый Пролом. Возле Малого Пролома, до которого ехать из Шацка на машине пять минут и еще двадцать идти пешком, на заросшем вереском поле сохранились земляные валы, рвы и площадки, на которых стояли пушки. Здесь был самый первый рубеж обороны. Теперь здесь нет никакого леса кроме редких в поле молодых самосевных березок и сосенок, но раньше по обеим сторонам этой лощины он стоял стеной. Местный краевед – учитель истории из Шацка показал мне, с какой стороны приходили крымчаки и ногайцы, куда стреляли пушки, откуда летели стрелы и дикие воинственные крики басурман и какой дорогой скакал стрелец или казак, чтобы поднять по тревоге Шацкий гарнизон, пока они тут отстреливаются. Если встать на то место на валу, где стояла пушка, и посмотреть в ту сторону, откуда приходили басурмане, летели их стрелы и доносились их дикие воинственные крики... Не то чтобы хочется поскорее добежать до машины и рвануть в Шацк за подмогой, но ноги сами...

В сентябре шестьсот семидесятого года к Шацку подступил отряд разинцев, пришедших из Симбирска. Воевода Астафьев струхнул и написал царю о том, что в Шацке служивых людей мало, стрельцов восемьдесят человек, пушкарей, затинщиков и рассыльщиков всего два с половиной десятка, и на них, в случае чего, надежды мало. «А уездные люди в осаду не идут, а хотя бы в осаду пришли, на них не надежда, что шатание в них большое. А под городом твоя государева дворцовая Черная Слобода, а в ней пятьсот дворов, они в осаду ни один человек не идут, ожидают всякого дурна»². К счастью, до осады Шацка дело не дошло – присланные войска под командой воеводы Якова Хитрово разбили разинцев еще у села Конобеева.

К концу семнадцатого века Шацк был довольно сильной крепостью, состоящей из двух острогов, с четырьмя проезжими башнями, десятью глухими и двумя подземными ходами, выходившими в овраги. Можно было сделать вылазку и ударить в тыл противнику так... Вот только противника к началу восемнадцатого века не стало. То есть он еще был, но за пределы Крыма носа почти не высовывал, а то и вовсе сидел тихо и печально в него сморкался. После взятия Азова граница отодвинулась на юг, и военное значение Шацка стало мало-помалу сходить на нет. Конечно, пушкари, стрельцы и городовые казаки никуда не делись, но им пришлось или записываться в полки нового строя, или копать в своих огородах, сеять хлеб, становиться кузнецами, плотниками и даже прислушиваться к советам жен.

Ну, а как стала жизнь мирной, то к ней и потянулись мирные люди, которые до сей поры жили севернее, за Окой. Да и как не потянуться, если земля плодородная, леса, если их оценивать по

шкале дремучести, были еще вполне, дичи в них тоже не убавилось, дикого меда тоже. Часть мирных людей, любивших дремучие леса больше открытых пространств, и лесную свободу больше... Короче говоря, часть мирных людей стала разбойниками. Сбивались они в шайки, рыли в лесу землянки и даже устраивали целые земляные городки. Бежали они в эти места от рекрутского набора, от своих помещиков и от непосильных налогов. Кстати, о налогах. При Петре Алексеевиче, которому постоянно не хватало денег на корабли, на пушки и на строительство новой столицы, податями крестьян не только обложили, но и почти задушили. Брали деньгами подушные и промышленные налоги. Брали деньги на выкуп пленных. В армию забирали не только солдат, но и подростков – солдатских детей. Брали плотников, ямщиков, каменщиков и кузнецов на строительство Петербурга. Брали их с семьями на вечное поселение. В семьсот третьем году брали рабочих людей по одному человеку с шестнадцати дворов. Брали подводы с проводниками, брали с каждого двора крупу, овес и сухари. Хорошо еще, что в новорожденном Петербурге не было большого количества мышей и крыс, а то повелел бы царь с каждый пяти или десяти дворов брать по кошке или коту на вечное поселение.

Понятное дело, что платить такие подати не хотели. Понятное дело, что убегали в лес, в Дикое поле, на Украину и на Дон к тамошним казакам. Убегали целыми деревнями. Понятное дело, что правительство присылало карательные воинские команды для взимания недоимок, для битья батогами злостных неплательщиков и для отправки их в каторжные работы. Впрочем, некоторых неплательщиков еще надо было изловить. Некоторые неплательщики были вооружены до зубов и передвигались по лесам в составе, как сейчас бы сказали, вооруженных бандформирований. Некоторые неплательщики и сами могли напасть на воинские команды и оружие у них отобрать. Что они, надо признать, регулярно и делали.

Растущее население между тем собирало смолу, гнало деготь и делало поташ – другими словами, сводило лес, в котором росли вековые дубы и корабельные сосны. Корабельный лес царь Петр ценил больше своих подданных, поскольку он куда медленнее воспроизводился, а потому учредил в Шацке провинциальную Валдмейстерскую канцелярию. Провинциальную потому, что Шацк в семьсот девятнадцатом году по царскому указу стал центром Шацкой провинции в составе Азовской губернии³. В ведении канцелярии было четыре засеки, которыми заведовали три валдмейстера. Власти прекратили не только все незаконные порубки леса, но и содержали в полном порядке все засеки, острожки и заставы. Не столько от нападений татар с ногайцами, сколько в карантинных целях. Во время эпидемий чумы и холеры ворота в засеках закрывались.

В связи с тем, что Шацк стал административным центром, количество чиновников в нем увеличилось. Завелись в воеводской канцелярии секретарь, копиисты числом три, канцеляристы, казначеи, которых теперь нужно было называть камерирами, писцы, ассессоры, то есть судейские, комиссары для уездных судебных дел, при них четыре копииста, провиантмейстеры, рентмейстеры, то есть казначеи рангом помельче, подчинявшиеся камерирам, еще писцы, надсмотрщики в крепостной конторе, еще канцеляристы, еще два сторожа и один фискал. Куда же без него. И это не все. Еще три с половиной десятка офицеров и унтер-офицеров при канцелярии служили для караула и рассылок. И пошла контора писать... дело о сыске и высылке в Москву в Соляную контору соляных голов Шацкой провинции, которые к отчету не бывали и которые, подав книги и не дав отчету, самовольно уехали из Москвы, дело о сказках бортников о количестве у них ульев, дело об отписках в Шацкую канцелярию из разных уездов и станов Шацкой провинции о получении императорского указа об учреждении при Сенате должности генерала-рекетмейстера⁴, дело о измерении в государево орленое ведро и заклеивании винокуренных кубов, имеющихся в Шацком уезде у всякого чина людей для собственного пользования и на продажу, и о взятии с них поведенной пошлины в Шацкой камерирской конторе, дело о невзыскании с опустелых дворов деревни Алферовой казенных податей...

Со всем тем царь о Шацкой провинции заботился. К примеру, увидел он в Риге, что хлеб убирают не так, как у нас, и тотчас же написал шацкому воеводе Федору Ляпунову: «Понеже в здеш-

них краях, как в Курляндии, так и в Пруссии у мужиков обыкновение такое, что хлеб снимают вместо серпов косами с граблями, что перед нашими серпами гораздо скорее и выгоднее, так что средний работник за десять человек сработает, из чего видеть возможно, какое великое подспорье будет в работе, для чего хлеба умножать будут». Петр знал, что просто предлагать и даже приказывать не имеет никакого смысла, а потому заранее выписал из Курляндии десяток немецких мужиков с косами и граблями и уже отослал их в направлении Шацка, чтобы они по прибытии «наших мужиков обучили хлеб снимать такими косами с граблями: и понеже, хотя что добро и надобно, а новое, то наши люди без принуждения не делают, того ради распоряди сам и пошли верных людей, чтоб конечно сегодняшним летом выучить. Сколько выучишь и сколько кос и грабель сделано у мужиков буде и сколько сим образом скосят, где и чьи мужики, о том отапортуй сентября в последних или октября в первых числах, ибо взыщется на вас...». Представляю, как обрадовался шацкий воевода, читая царское письмо. Представляю, как обрадовались крестьяне, которым вместо привычных серпов немецкие учителя вручили косы с граблями и научили работать за десятерых каждого, представляю, какими словами наши мужики... В Шацком краеведческом музее⁷ мне показали деревянную насадку из четырех тонких палочек, которая представляет собой грабли, которые насаживали на косу, которой косили... или откосили... или отапортовали, как приказал царь... или накормили, напоили немецких мужиков, потом еще напоили и в таком виде спроводили домой, в Курляндию, а сами взяли серпы... и отдали их бабам. Интересно, о чем Федор Ляпунов писал царю? О том, что нынешний год такие дожди, что рожь полегла и ее только серпом и жать, что грабли, если их соединить с косой и наступить сразу на все вместе, могут убить до смерти, что наших мужиков учить – только портить, что ученые мужики нам без надобности, что неудобья наши таковы, что кроме серпа... Самое удивительное, что устройство это в Шацком уезде прижилось. Еще и теперь в некоторых деревнях косят траву именно такими косами с прикрепленными к ним граблями.

Сельхозтехникой дело, однако, не ограничилось. Шацкому начальству пришлось выполнять петровский указ об обязательном обучении «дворянских, духовных, подьячих и всякого чина людей детей». Вот где нашла коса на грабли. Всякого чина людей дети упорно не желали учиться и вообще идти на службу. В семьсот пятнадцатом году шацкий ландрат Мякинин получил из Петербурга письмо, в котором говорилось о том, что «Для изучения латинской науки в Санкт-Петербург было по реестру записано триста два человека, а не явилось сто два. Призревших Указ Его Величества и не явившихся до двадцатого октября будет ждать жестокое наказание». Царь, конечно представлял себе, что там, в далекой и глухой Шацкой провинции, в поместьях, в барских домах, в углах за теплыми печками угрозы жестоко наказать кажутся... а потому послал в Шацк майора Ушакова для поимки дворянских недорослей и отсылки в новую столицу. Пойманных определяли в солдаты в Семеновский полк и уж там обучали грамоте так, что буквы от зубов отскакивали. Не говоря о других частях тела.

С дворянскими, духовными и подьячими детьми все было сложно. То ли дело простые мужики и бабы. В семьсот восьмом году по указу Петра шацких виноватых баб и девок просто выслали в Москву для работы на полотняных и прядильных фабриках. В этом же году с каждого десятого двора забрали по одному невиноватому человеку в Санкт-Петербург на пополнение умерших, больных и беглых.

В самой Шацкой провинции тоже были полотняные и прядильные мануфактуры, на которых производили льняные и пеньковые полотна. Поскольку в тех местах конопля росла очень хорошо, то плели пеньковые канаты для нужд флота и веревки с веревочками для нужд населения. Еще было два железоделательных завода. Вот, собственно, и вся шацкая промышленность петровского времени.

После смерти Петра Шацк вместе со своей провинцией был включен в состав Воронежской губернии. Вернее, Азовскую переименовали в Воронежскую. И в этой губернии Шацк пробыл до семьдесят девятого года. При Екатерине Алексеевне, в семьдесят втором году Шацк перестал

быть провинциальным центром, стал уездным городом и через девять лет получил герб в виде «двух скрещенных снопов ржи в серебряном поле, в знак великого изобилия оным». Ну, а в верхней части герба у Шацка был золотой улей с тремя пчелами, потому что к моменту пожалования государыней герба он уже был в составе Тамбовского наместничества. Интересно, что сказал бы на это шацкий воевода Боборыкин и его плотники с казаками, полтора века назад основавшие Тамбов...

Впрочем, до герба еще далеко. В семьсот тридцать восьмом году, на третьем году войны с турками, пошел слух, что кубанские татары собираются в поход на южнорусские города. Шацкий воевода майор Любовников писал в Воронежскую губернскую канцелярию о том, что город к обороне не готов. Оно и понятно – в последний раз Шацк принимал участие в боевых действиях лет сто назад, и крепостные стены, башни, валы, ров, колодцы, пушки давно пришли в негодность. Восемь месяцев с апреля по ноябрь тысяча человек, из которых половина была с лошадьми и подводами, копали рвы, восстанавливали старые стены, строили караульные башни, мост через Шачу и сколачивали лестницы для приставления к городовым стенам. Одного полосового железа и гвоздей израсходовали четыре сотни пудов. Из Тамбова приехал в Шацк контролер – штык-юнкер Сталов. Он осмотрел весь арсенал Шацкой крепости и написал в Тамбов донесение, что «оное оружие ни к какому действию не готово»⁶. Срочно организовали пушкарскую команду, и тут турки... согласились пойти на мировую. В результате в следующем году воевода Любовников вместо командования обороной города от турок отстоял вместе с шатчанами благодарственный молебен в городском Воскресенском соборе, после которого был салют из девяти пушек. Три пуда пороха на него истратили. Не прошло и полгода, как снова палили из пушек в честь новорожденного Ивана Антоновича. Пороха в крепости в те поры было сорок с лишним пудов, с турками замирились – можно и палить в свое удовольствие.

После этого салюта три с половиной десятка лет Шацк жил обычной жизнью российского уездного провинциального городка, пусть и центра Шацкой провинции, – то церковь построят Соборно-Воскресенскую каменную взамен сгоревшей деревянной, то вместо ветхих соляных амбаров и избы для хранения денежной казны соляных сборщиков построят новые амбары и новую избу, то снова построят церковь, но уже Христорождественскую, и пригласят из Тамбова художника расписывать иконостас и царские врата. С ремеслами и рукоделиями в Шацке было не очень. Конечно, как и везде, плели лапти и делали глиняные горшки, но в основном торговали рожью, овсом, конопляным семенем, пенькой, говяжьим салом, медом, воском, кожами. Леса в Шацкой провинции были еще дремучие, и промыслового зверя в них было еще много. Лисиц, зайцев и белок били в огромных количествах. К примеру, в семьсот тридцать пятом году в городе Керенске, входившем тогда в состав Шацкой провинции, было продано семь тысяч заячьих шкур. Шкурки белого цвета стоили меньше трех рублей за сотню, а серого – пятерку. Пуд сушеных белых грибов в те тучные года стоил шестьдесят копеек. Чай, сахар, кофе, разные английские и немецкие сукна привозили для местного дворянства. Привозить сукна, конечно, привозили, но так, чтобы в Шацке из купленного сукна или парчи сшить мундир, фрак или платье... В семьдесят третьем году поручику Мотякину было поручено заготовить для шацких городских стрельцов мундиры и кафтаны. Материю, пуговицы и галуны купили, а портного в городе сыскать не могли. Не было ни в городе, ни в провинции портного. Ни одного. Хоть в Тамбов за ним поезжай. Зато был лекарь. Вот он как раз был один на весь Шацк и на всю провинцию. Как подумаешь – чем он лечил, когда был трезв или с похмелья... Кстати, о трезвости. За два года до случая с мундирами, кафтанами и портным в Шацке было продано за год девятнадцать тысяч ведер вина. Это на пять тысяч горожан. По сорок семь литров на каждого шатчанина, включая стариков и младенцев. Вряд ли это было французское шампанское. Так что лекаря можно понять. В семьдесят втором году Шацк перестал быть центром провинции и превратился в уездный город Тамбовского наместничества. Через год на средства московского купца Милованова построили Троицкую церковь. Еще через год, в августе семьдесят четвертого, к Шацку подошли отряды Пугачева.

В городе учредили круглосуточные караулы. Шацкий прокурор писал своему губернскому начальству: «Все пришли в робость и великое смущение, ибо к тому бунту многие окрестные жители наклоняются»⁷. Чтобы местные жители не наклонились совсем, власти прислали графа Панина, который вместе со вверенными ему войсками навел порядок в окрестностях Шацка уже к концу октября. На самом деле порядок навести было не так-то просто. Многочисленные шайки грабителей, в которые сбились рассеянные войсками пугачевцы и те, для кого беспорядки были только поводом выйти из тумана и достать ножик из кармана, еще долго держали в страхе обывателей в Шацке и уезде.

Ну, вот теперь дошла очередь и до герба. После его утверждения построили еще три церкви в окрестных селах и закончили строительство дороги из Шацка в Ардатов. Дорогу обсадили деревьями, окопали канавами и устроили на ней почтовые станции. В семьсот восемьдесят седьмом году... не построили церковь, а по предписанию Тамбовского наместника, которым был тогда Гавриил Романович Державин, открыли народное училище. Обучаться там могли дети дворян, купцов и духовенства. Городничему Сабурову было велено «на первый случай указом набрать детей хотя бы до двадцати четырех». Купец Милованов отписал для училища дом, из Тамбовского приказа общественного призрения прислали учителя, а городничий назначил сторожем солдата из гарнизонной команды. Через три года, как только Державина из Тамбова отозвали, училище закрылось по причине отсутствия в нем учеников. Шацкие обыватели писали в Тамбов правителю Тамбовского наместничества генерал-поручику Звереву: «Купецких и мещанских детей в школах не состоит, да и впредь к изучению в училища отдавать детей не стоит, и мы не видим для себя от них пользы». Так и встает перед глазами шацкий купчина, утирающий полотенцем пот с багрового лица после шестого стакана чаю и говорящий своей Феодулии Ивановне: «Толкуют: просвещение, просвещение, а это просвещение – фук! Сказал бы и другое слово, да вот только что за столом неприлично». Пользы они для себя не видят... Вот и управляй ими гуманно, по-европейски, вот и рассказывай им о пользе просвещения, от которого происходит умягчение нравов, когда руки чешутся всех высечь и насильно... Нет, Петр Алексеевич, конечно, был жестокий тиран и указы писал кнутом, но в том, что касается...

Через шесть лет в селе Черная Слобода, что рядом с Шацком, построили церковь во имя Спаса Нерукотворного. Еще через два года в самом Шацке построили Казанскую церковь. Еще через четыре года, уже в царствование Павла Петровича, город посетил сенатор Лопухин и «нашел, во-первых, тот город выстроенным беспорядочно, а по большей части и тесно, во-вторых, повсеместно одни развалины...». Ну, сказал и сказал. И уехал в свою Москву. Через шесть лет после его отъезда в селе Полном Конобееве Шацкого уезда выстроили церковь в честь Воскресения Христова.

По сведениям Шацкой городской Думы в семьсот восемьдесят шестом году в городе было всего два семейства купцов второй гильдии, а первой не было вовсе. Капитала у этих двух семейств было чуть более десяти тысяч рублей. Зато купеческих семей третьей гильдии было двадцать шесть и совокупного капитал у них было почти двадцать семь тысяч. Правду говоря, не бог весть какие деньги даже по тем временам. Всего в городе купцов и мещан было около полутысячи душ. Никаких заводов и фабрик в городе не имелось, потому как земля в городе принадлежала живущим здесь еще с основания города однодворцам, бывшим стрельцам, ямщикам, пушкарям и крестьянам, которые купцам под их мыльные, парусные и кожевенные заводы земли внаем не давали от слова совсем. Река была, но пристаней не было. Осетрину, севрюжину, белужину, стерлядей и икру привозили из Астрахани и Саратова на подводах свежую и соленую. Пригоняли в Шацк скот из донских и саратовских степей, забивали его, солили мясо и продавали. Ну, и конечно меха. В конце восемнадцатого века они еще были – лисьи, куны, волчьи, заячьи и беличьи. Все, что не могли продать на ярмарках и торгах в Шацке и уезде, отвозилось на подводах в Москву, Коломну, Тулу, Серпухов, Калугу и даже в Вологду. Более всего, однако, в Шацком уезде производилось пеньки – каждый год до двухсот тысяч пудов в год. Ее продавали во многих губерниях

центральной России. На шацкие торги по продаже пеньки приезжали купцы даже из Архангельска. Проданную пеньку грузили на суда и по Цне, а потом по Оке и дальше по Волге отправляли покупателям. Шацкая городская Дума писала в своем отчете Тамбовскому начальству: «если бы шатское купечество и мещанство сверх того, обращаемого в других товарах капитала и кредита в переворотах денег, имело бы какую способность, то б здешний продукт пеньки, кож и сала теплого могло доставлять прямо к Санкт-Петербургскому порту». Кабы имело какую способность... уж тогда бы беспрерывно... про пеньку и говорить нечего... но не имело.

В начале девятнадцатого века Шацк населяли полторы сотни купцов, без малого четыре сотни ямщиков, полтора десятка мещан, семь с половиной сотен помещичьих крестьян и почти полторы тысячи однодворцев – тех самых бывших стрельцов, пушкарей и городовых казаков.

Война двенадцатого года настала... Помещик Шацкого уезда Николай Скуратов на военные нужды пожертвовал двадцать пять рублей, а князь Парфений Енгальчев – двадцать и от сельских жителей пожертвовано было тридцать шесть кулей муки на девятьсот рублей и полторы сотни лошадей, стоивших почти двенадцать тысяч рублей. Обстановка и в губернии и в уезде была нервная. Тамбовские губернские власти объявили, что за каждого живого или мертвого неприятеля станут платить по десять рублей. Тотчас же началась охота за французскими лазутчиками и мародерами. Нашли их или нет – неизвестно, но дневные и ночные караулы выставили во всех селах и деревнях, не говоря о самом Шацке. До Шацка боевые действия не докатились, но шатчане приняли в них участие. В военной галерее Зимнего дворца висит портрет кисти Доу уроженца Шацка Георгиевского кавалера генерал-майора Павла Ивановича Мерлина. У Павла Ивановича, кроме двух орденов Св. Георгия четвертой и третьей степеней, кроме ордена Св. Владимира третьей, ордена Св. Анны с алмазами и прусского ордена Красного орла, одних только золотых шпаг «За храбрость» было две. Кстати, о золотых шпагах «За храбрость». Петр Николаевич Шуринов, бывший шацким городничим в течении двух лет, был награжден такой шпагой за отличие в Бородинском сражении. Единственный в своем гренадерском полку. Вы только представьте себе, что глава администрации Шацкого муниципального образования служил в гренадерском полку и награжден золотой шпагой «За храбрость»... да хоть бы и не Шацкого. Главу администрации своего муниципального образования представьте. Какого угодно. То-то и оно... Между прочим, в Шацкой инвалидной команде служили два Георгиевских кавалера. Теперь таких инвалидных команд днем с огнем не сыскать. Теперь даже здоровые команды... Ну, да что об этом говорить. Вернемся лучше в Шацк.

Через девятнадцать лет после окончания войны через город по пути в Оренбург проехал Пушкин. Сколько Пушкин пробыл в Шацке, доподлинно неизвестно. Может несколько часов, пока меняли лошадей, а может быть, он даже и переночевал в номерах Храмцова. Номера Храмцова до сих пор в Шацке стоят и еще долго стоять будут. Теперь это обычные жилые дома. Вот только нет там памятной таблички о том, что здесь, пусть и проездом, останавливался Пушкин.

Местные краеведы о визите Пушкина не рассказали мне ровным счетом ничего, кроме того, о чем я писал в самом начале рассказа о Шацке. Обычно у них в запасе всегда есть какая-нибудь история о том, что Пушкин, проезжая через их город, написал в книге жалоб и предложений станционного смотрителя десяток эпиграмм и нарисовал прелестную головку одной из местных барышень, случайно проходившей мимо ямской станции, или сочинил стихотворение, посвященное дочке станционного смотрителя, подававшей ему самовар и у которой спустя несколько лет родился мальчик, как две капли воды похожий на пушкинского камердинера, или проиграл в карты какую-нибудь главу из «Евгения Онегина», которыми он обычно раслачивался, когда кончались наличные, или... но нет. Пушкин так и уехал, не оставив в Шацке ни клочка исписанной бумаги, не приволокнувшись ни за одной из дам и девиц и даже не обронил случайно платка, курительной трубки или, на худой конец, плохо пришитой Натальей Николаевной пуговицы.

За четыре года до проезда Александра Сергеевича через Шацк в селе Ключи Шацкого уезда произошло событие, можно сказать, космического масштаба. У князя Павла Ивановича Гагари-

на родился внебрачный сын, который потом, как вырос, стал русским религиозным философом, футурологом и родоначальником русского космизма Николаем Федоровичем Федоровым, мечтавшим всех умерших воскресить, воссоединить с ныне живущими и всем вместе отправиться осваивать бескрайнюю космическую целину. Воскресить, конечно, не с помощью какого-нибудь волшебства, а с помощью науки, собрав все необходимые для этого молекулы, рассеянные в космическом пространстве специальным молекулярно-адсорбционным концентратором, над устройством которого Федоров работал долгие годы⁸. Сам Лев Толстой гордился знакомством с Федоровым. В музее Шацка тоже гордятся. В одном из залов висит большой портрет Николая Федоровича. Жаль только, что после всех советских административных преобразований село Ключи теперь находится в соседнем Сасовском районе, и в Сасовском краеведческом музее тоже есть портрет Федорова, и там тоже им гордятся, хотя, если разобраться, прав на это имеют...

Через четыре года после отъезда Пушкина в Шацке построили тюремную церковь во имя Киево-Печерской иконы Божьей матери. В этом же году, в июне, в Тамбов прибыл Великий князь Александр Николаевич. К Шацку это имело то отношение, что к приезду Его Императорского Высочества была устроена выставка произведений фабричной и домашней промышленности, в которой от Шацка и уезда был представлен ряд экспонатов. Правду говоря, промышленность, несмотря на все усилия, предпринятые когда-то Петром Великим, так и осталась по большей части домашней, и экспонаты представляли собой не столько выставку промышленных образцов, сколько собрание всякой всячины. Так, помещик села Большой Пролом князь Волконский представил изобретенную ими самим глиняную машину, картофельную муку, картофельную крупу, ископаемую окаменелую кость, ископаемую морскую улитку, ископаемый ноготь большого зверя и косу с граблями. Помещик Козловский из деревни Шача, тоже изобретатель, сконструировал машину для очищения конопляного масла для ламп и представил на выставку образец очищенного масла. Князь Кугушев⁹ ничего не изобрел, но представил образец красной глины, из которой можно было бы при желании делать курительные трубки-стамбулки. Еще один помещик – Дмитрий Львович Нарышкин, обер-егермейстер и один из самых крупных землевладельцев не только в Шацком уезде, но и в Тамбовской губернии, тоже представил образцы разных глин. Помещица Маскатинова отнеслась к выставке серьезно и дала на нее ящик сигарет ценой четыре рубля за сотню. Сигареты эти делали из своего собственного американского табака, выращиваемого непосредственно в имении помещицы. Вот, собственно, и все произведения фабричной и домашней промышленности, которые имелись в Шацком уезде в середине девятнадцатого века. В Англии к этому времени луддиты уже успели переломать кучу станков и машин, уже их (луддитов) успели повесить, посадить в тюрьмы и отправить на вечное поселение в Австралию, а у нас... Кстати, о глине. Ее действительно было много на территории уезда, и она была отличного качества. Из нее делали не только посуду и глиняные игрушки, но даже и печные трубы. Такая труба, вернее, ее часть, даже есть в местном музее.

Судя по тому, что Шацк не стал ни центром изготовления глиняных курительных трубок, ни очищенного конопляного масла для ламп, ни сигарет, набитых американским табаком – выставка, как сказали бы сейчас, не стала стимулом для развития фабричной и домашней промышленности города. Впрочем, шатчане и не особенно расстраивались – где промышленность, тем более фабричная, а где – провинциальный, сонный и патриархальный Шацк. Взяли они и в сорок третьем году на средства шацких купцов Шолохова, Пятаковского и Шульгина выстроили городскую кладбищенскую церковь в честь Успения Божией Матери.

В восемьсот пятьдесят пятом году в город и уезд пришла холера и не уходила бесконечных девять лет. Во время эпидемии холеры богобоязненные жители Шацкого уезда построили три новых церкви в селах, но зато в шестьдесят третьем году в Шацке наконец-то открыли больницу на двадцать пять коек. Еще через семь лет построили земскую аптеку. Пока раздумывали насчет строительства аптеки, построили еще три церкви – храм Преображения Господня в селе Инная Слобода, церковь в селе Аксельмеево во имя Св. Николая Чудотворца и в селе Ялтуновое во имя Св. Троицы.

Как раз в тот год, когда построили земскую аптеку и Троицкую церковь в селе Ялтунове, правительство вместе с известным предпринимателем и строителем российских железных дорог Павлом Григорьевичем фон Дервизом предложили Шацкой городской Думе провести через город Московско-Казанскую железную дорогу в направлении Самары. Дума предложение рассмотрела и решила от дороги отказаться. Дорога прошла через соседнее Сасово. Если бы можно было кусать локти, то жители Шацка, включая нынешних, откусили бы их своим депутатам по самые плечи за такое решение.

Между тем в Шацке появилась промышленность. В восемьдесят первом году в городе было уже шесть заводов. Ну, может, и не заводов, а заводиков или даже сараев, внутри которых постоянно что-то стучало, ухало, обдавало жаром, кипело и пенилось, мастера отрывали уши чумазым подмастерьям, у которых мгновенно отрастали новые, но... они были, эти заводы. Один салотопенный, один кожевенный, один пивоваренный, один спичечный и два свечных. Правду говоря, вся эта промышленность как была – так и осталась домашней, особенно если пересчитать производимые спички и свечи на душу шацкого населения. По-прежнему на первом втором и третьем местах была пенька. Впрочем, и на четвертом была тоже она. Еще несколько мест занимало чрезвычайно развитое в Шацке и уезде питомниководство. Некоторые питомники работали десятилетиями и торговали саженцами слив, вишен, яблонь, груш и ягодными кустарниками. В питомнике Алексея Егоровича Сергеева торговали не только саженцами плодовых деревьев, но и фикусами, пальмами, гиацинтами, примулами и домашними цветами и... снова пенька, рогожи, рожь, свечи, пиво, спички и топленое сало.

К началу двадцатого века Шацк подошел уже с типографией, публичной библиотекой и пожарным депо. В девятьсот первом году открылась вторая типография. На средства города содержались мужское и женское приходские училища, выдавались пособия на содержание библиотеки, народных чтений и трехклассного городского училища. Еще женская прогимназия, еще духовное училище и восемь церквей. Ни духового оркестра, ни театрального кружка, ни расквартированного в городе гусарского полка или артиллерийской бригады. Построили новый казенный винный склад. Построили на совесть – до сих пор стоит. Правда, теперь вина в нем не хранят. Вообще ничего не хранят – забросили. На Большой улице работало похоронное бюро Василия Адриановича Петрина. Бюро имело «роскошную болдахин с траурной одеждой для лошадей и прислуг. Большой выбор металлических венков от 1 р. до 50 р., цветы-гирлянды, железные кресты, гробы обитые и простые всевозможной величины и стоимости, покрывала, подушки, туфли большие и детские всех цветов, флеры для подсвечников, траурные ленты для венков, чулки и проч.»¹⁰. Принимались заказы на замораживание покойников, копанье могил и выкладывание склепов.

Так и жили. И умирали точно так же. Никто не кричал «В Москву, в Москву!». Даже «В Тамбов, в Тамбов!» никто не кричал. Толку-то. Кричи, не кричи...

В девятьсот пятом году, когда вокруг все кипело и пенилось, в городе выстроили на частные пожертвования реальное двухгодичное училище для детей из малоимущих семей. Через два года беспорядки докатились и до Шацка – взбунтовались крестьяне в подгородных слободах – Казачьей и Черной и в нескольких деревнях. К счастью, в Шацке не было ни большевиков, ни меньшевиков. Правда, в женской гимназии работал учитель словесности, распространявший среди гимназисток книги по политической экономии. Дело дошло даже до организации кружка, в котором учащиеся обчитались революционной литературой до такой степени, что одна из гимназисток за участие в беспорядках получила год каторжной тюрьмы.

И еще. В девятьсот пятом году в Шацке родился Владимир Васильевич Меннер – выдающийся советский геолог, палеонтолог и основатель советской стратиграфической школы. Только разных трилобитов в его честь названо три, не говоря о фораминиферах, которых названо четыре¹¹.

К десятому году Шацк, если судить по книге Центрального статистического комитета «Города России в 1910 году», был тем же, что и в начале века. Все те же пять с лишним тысяч населения, из которых право голоса имело почти двести горожан. Около девяносто домов, из них всего двад-

цать семь каменных. Шесть десятков керосиновых фонарей. Пятнадцать верст улиц, из которых замощены были полторы сотни саженей, то есть всего триста с небольшим метров. Доход городского бюджета составлял двадцать пять тысяч, а городские долги – пятьдесят. В тринадцатом году в Шацке появилась первая телефонная линия. Внутри самого Шацка звонить не имело никакого смысла – проще было крикнуть, но в Касимов или в Тамбов лучше было, как тогда говорили, телефонировать.

В русско-японской войне Шацк и уезд приняли посильное участие. Собирали денежные пожертвования, одежду, продукты, холст и полотенца. Призванный в армию городской врач Николай Алеев работал в госпитале на Дальнем Востоке и был награжден медалью Красного Креста. Матрос Федор Черемисин героически погиб во время несения службы на миноносце «Стерегающий». Крестьянин Федор Угольников принимал участие в обороне Мукдена. Вот, собственно, почти и все посильное участие. В первую мировую оно (участие) было уже непосильным. Почти половину трудоспособных мужчин призывного возраста призвали в армию. Лошадей мобилизовали столько, что крестьянские хозяйства остались без тягловой силы. В городе и уезде появились беженцы. Голода еще не было, но стали недоедать и болеть. Начались эпидемии. В Шацке дамский комитет местного отделения Красного Креста, в который входили жены земских руководителей и местные помещицы, устроил в августе четырнадцатого года благотворительную лотерею и призвал всех желающих приходить ежедневно с трех до пяти в здание реального училища и шить белье больным и раненым. Собирали деньги на содержание именной койки в лазарете, устроенном в селе Аладыно, и на обсеменение полей нуждающимся семьям призванных на войну с июля четырнадцатого года по март шестнадцатого. Насобирали без малого пятьсот рублей. Земские служащие решили отчислить от своего жалования процент на содержание раненых. Толку было от этих именных коек и благотворительных лотерей...

В июле четырнадцатого года в Киеве был сформирован Шацкий пехотный полк, занявший боевые позиции в районе Буга. Воевал полк до восемнадцатого года и в самом его начале был расформирован. Уже в шестнадцатом году, еще до возвращения с фронта солдат, в уезде начались беспорядки. В начале марта семнадцатого в Шацке узнали о Февральской революции. Седьмого числа были арестованы и посажены в тюрьму городской голова Викторов и исправник Михин. Через два дня был образован уездный Совет. Большинство совета составляли эсеры, поскольку его организатором был эсер – помещик Стахеев. В Совет вошли представители волостей, земства, горожан и кооператоров. Пока организовывали Совет, пока писали бумаги, крестьяне в уезде захватывали помещичьи земли и грабили все, что грабилось. В мае в Шацком уезде стала выходить газета «Земля и воля»¹². Во второй половине семнадцатого года в город и уезд стали возвращаться демобилизованные и дезертиры. В декабре по предложению матроса Балтийского флота Корнилова был создан военно-революционный комитет, который ничего общего с Советом, в котором верховодили эсеры, не имел. Комитетчики связались с караульной ротой, с управлением уездного воинского начальника, достали оружие и в новогоднюю ночь заявили в дом председателя дворянства Фирсова – там как раз все *haute société* Шацка встречало Новый год. Праздник велено было прекратить и всем разойтись по домам. Пока разойтись.

Интересно, о чем думал Фирсов, когда все разошлись, а некоторые даже разбежались. О том, что все в конце концов образуется... или о том, что добром это не кончится, или о том, что надо брать ноги в руки и... но куда... или просто напился с горя и завалился спать. О чем они все думали... или просто пришли домой, залезли под одеяла и дрожали под ними до самого утра.

Уже первого января в газете Шацкого уездного Совета депутатов было объявлено, что власть стала советской, а десятого начался второй съезд Советов. Председателем исполкома уездного Совета избрали того самого балтийского матроса Корнилова, который организовал военно-революционный комитет. И тут вдруг оказалось, что все помещичьи усадьбы, все винокуренные, салотопенные и свечные заводы, экспроприированные у экспроприаторов, нужно охранять, иначе их разграбят дочиستا. Срочно стали создавать социалистический батальон для охраны теперь уже народного имущества и для поддержания порядка.

Поддерживать порядок пришлось довольно скоро – уже в марте восемнадцатого года в уезде, в селе Пертово, крестьяне и демобилизованные солдаты подняли мятеж. Строго говоря, это был не совсем мятеж. Политических требований никто не выдвигал. Просто решили захватить и разграбить местный завод по производству спирта. Решили и захватили, и стали его грабить, что называется, «распивочно и на вынос». Тут и пригодился социалистический батальон, который навел в селе порядок. Впрочем, сел в уезде было много и везде порядок навести было не так просто. К началу осени беспорядки охватили весь уезд. Руководимые эсерами повстанцы планировали захватить Шацк и потом поднять всю округу, а затем... Впрочем, так далеко никто не думал. Думали только до момента овладения Шацком. Пока на местах в селах и деревнях расправлялись с советскими активистами и громили большевистские ячейки, которые уже успели создать новые власти¹³. В селе Ямбирно, где активно действовал комитет бедноты, у зажиточных крестьян реквизировали имущество, дома и, с помощью продотряда, большое количество зерна. В ответ лишенные средств к существованию крестьяне сожгли, привязав к оглоблям, живьем на кострах шесть первых деревенских коммунистов, в том числе и секретаря партийной ячейки, бывшего по совместительству и председателем комбеда.

В конце октября мятежные крестьяне подошли к Шацку. Винтовок и револьверов у них хватало – многие принесли их с фронта. В городе военных не было, и большевики забили тревогу – оборонять Шацк было некому. Вооружили даже группу учащихся старших классов Шацкой школы второй ступени. Учащиеся, правда, сами напросились включить их в состав боевых групп. Как повелось в таких случаях еще с воеводских времен, стали просить помощи у Москвы. Политкомиссар почты и телеграфа успел сообщить о мятеже в Тамбов, Москву и Сасово. Успел потому, что подступившие к Шацку отряды не сразу перерезали телефонную линию. Пока из Тамбова и Москвы шли подкрепления, стали вооружать рабочих и активистов. Первого и второго ноября шли бои, и пулеметными очередями убили около ста совершенно живых людей, а третьего к Шацку подошел отряд тамбовской ГубЧК. Ситуация в городе представляла собой почти зеркальное отражение того, что происходило семью месяцами раньше в соседней Елатье. Только там город от новой власти обороняла боевая дружина офицеров и юнкеров, собравшихся со всего Елатомского уезда, а здесь новую власть осадили крестьяне и демобилизованные солдаты. И в Елатье и в Шацке большевики запросили помощи у Тамбова и Москвы. Тогда же, третьего ноября, на железнодорожную станцию Нижнее Мальцево прибыла конная бригада и не мешкая двинулась к Шацку. Узнав об этом, повстанцы стали разбегаться по домам.

С восемнадцатого по двадцатый годы в Шацком уезде организовали первую коммуну, артель под символическим названием «Ранние всходы», а в селе Агишеве даже успели создать первый в уезде совхоз. Параллельно шла Гражданская война, и Совет рабоче-крестьянской обороны за подписью Ленина вынес постановление о подготовке для упорной обороны район в границах Москва, Витебск, река Днепр, Воронеж, Тамбов, Шацк. Не то чтобы Засечная черта, но... Параллельно шла мобилизация в Красную армию, которая советской власти популярности не прибавляла. Параллельно появились в губернии и уезде партизаны, к которым мобилизованные красноармейцы часто перебежали вместе с оружием. Еще чаще мобилизованные красноармейцы просто дезертировали. Параллельно или даже перпендикулярно свирепствовала продразверстка. В уезде в то время действовало шесть продотрядов – один из Питера, два из Москвы и три из Шацка. В августе девятнадцатого года белые взяли Тамбов и передали партизанам большое количество оружия. Через год началось известное Тамбовское или Антоновское восстание, охватившее и Шацкий уезд. В конце мая двадцать первого года в селе Самодуровке Шацкого уезда антоновцы расстреляли продотряд, который увозил зерно в Шацк. Комиссару продотряда живому выкололи глаза, разрезали живот и набили овсом.

Подавлял восстание Тухачевский. Подавлял, артиллерийскими обстрелами ровняя с землей деревни, расстреливая заложников и выкуривая хлором из лесов несдающихся. Историк Мельгунов в своей книге «Красный террор», вышедшей в Германии буквально через два года после

подавления восстания, писал: «Относительно Шацкого уезда очевидцы говорят, что он буквально залит кровью». К июлю двадцать первого года с восстанием было покончено. Началась мирная жизнь, которая была немногим лучше войны. Население Шацка в двадцать шестом году по сравнению с двадцатым годом уменьшилось почти в полтора раза, и женщин было куда больше мужчин по совершенно понятной причине. Обнищавшие крестьяне в уезде пахали не только на коровах, чего раньше не делали, поскольку от этого снижаются надои, но и на самих себе. И это при том, что кроме обычного единого налога нужно было сдавать яичный, масляный, картофельный и другие налоги. И это при том, что часть продналога разворовывалась на местах властями.

Между тем в самом Шацке начиналась новая советская жизнь. В двадцать втором году был организован первый пионерский отряд. Через год в нем было уже тридцать четыре пионера. Отряд на общем собрании разделился на пять звеньев: «Муравей», «Ласточка», «Кузнецик» и «Красный летчик». Наверняка все мальчишки хотели быть красными летчиками. Пионеры выпускали газету «Клич пионера» и журнал «Комсомольская смена». Ходили строем по пыльным немощеным улицам Шацка с барабаном, горном, знаменем и пели «Взвейтесь кострами, синие ночи». В том же году Шацк перестал быть тамбовским и стал рязанским. Шацкая картошка перестала быть тамбовской и стала рязанской. Еще через год умер лучший друг пионеров и вождь мирового пролетариата. Через неделю общее собрание жителей Шацка постановило переименовать одну из улиц города в улицу Ленина, установить Ленину памятник; ворота, ведущие к шацкому Дому крестьянина, назвать «Воротами Ильича», а заодно и ходатайствовать перед ВЦИК о переименовании Шацка в город Ульянов. К счастью, ВЦИК не пошел на поводу у общего собрания, и Шацк остался Шацком. В составе Рязанской губернии он был шесть лет, а потом на год стал райцентром в составе Рязанского округа Московской области. Еще семь лет до тридцать седьмого года Шацк был в составе Московской области, а уж потом снова стал рязанским. За то время, пока Шацкий уезд, а потом район, передавали из одной области в другую, а то и вовсе упраздняли, в Шацке открыли две библиотеки, музей, районный радиопункт мощностью в два десятка ватт, Дом пионеров, техникум социалистического земледелия, раскулачили и выслали куда подальше тех, кто не хотел им заниматься, организовали машинно-тракторную станцию, колхозы, совхозы – и их председатели получили первые ордена за получение высоких урожаев. Вот только с музеем не задалось. В него, сразу после захвата власти большевиками, свезли из окрестных усадеб большое количество ценностей. Свезли и... растащили. Следующий музей организовали лишь в наше время, в пятом году.

Первый Герой Советского Союза появился в Шацком районе уже в белофинскую. Еще восемнадцать – в Великую Отечественную. Из восемнадцати тысяч ушедших на фронт две третьих не вернулись. К июлю сорок первого в деревнях Шацкого района мужчин призывного возраста почти не осталось. Местный ликеро-водочный завод перешел на выпуск коктейлей Молотова. Маленький Шацк и его район никакой оборонной промышленности не имели, а если бы и имели, то ее давно бы эвакуировали. Организовали в городе и районе мастерские, где дубили овчины. Сшили для фронта шестьсот овчинных полушубков, свалили полторы тысячи пар валенок и связали пять тысяч шерстяных носков. И еще заготовили для отопления замерзающей Москвы пятьдесят тысяч кубометров дров. И еще убрали урожай. И еще растили новый. Строили дорогу Рязань–Куйбышев. Дети собирали лекарственные травы и отправляли в военные госпитали. В сорок втором появились в районе первые немецкие пленные. Они добывали камень, рубили лес и тоже строили дорогу до Куйбышева. Через два года, в конце войны пленных стало еще больше. Первое время местное население их ненавидело, а потом устало ненавидеть и стало подкармливать. При том, что само жило впроголодь.

Послевоенная история Шацка мало чем отличается от десятков и даже сотен историй таких же... Нет, не так. Эту фразу я уже писал, когда описывал соседнюю Елатьму. И соседний Кадом. И совсем не соседние Судиславль или Грязовец. События были такие же, как и у всех – карточки в сорок седьмом отменили, провели в район радио, рожали детей. В пятьдесят первом году в рай-

оне было девятьсот многодетных матерей. Из них почти треть – одиночки. В пятьдесят втором году в Шацке появились первые асфальтовые тротуары. Их было немного, поскольку асфальта дали мало. В пятьдесят третьем умер Сталин. В городском парке ему поставили памятник. Через три года, после съезда партии в Москве, памятник демонтировали. Было кому возвратиться в Шацк из лагерей. В этом же году начали электрифицировать район и закончили в шестьдесят девятом. Крестьяне, наконец, стали жить с лампочками – не Ильича, но... Ильича. При втором Ильиче из Рязани в село Быкова гора, что неподалеку от Шацка, стали летать регулярные пассажирские рейсы. В шестьдесят третьем в селе Темешеве нашли серебряный клад семнадцатого века, состоявший из тысячи монет. В семьдесят четвертом построили первый пятиэтажный дом на семьдесят квартир. Само собой, получали переходящие красные знамена, вымпелы победителей социалистического соревнования и медали с орденами. Конечно, можно все это пропустить и не писать, к примеру, о том, что на Шацком пищекомбинате был карамельный цех и цех по варке фруктовых киселей. В конце концов, сварить фруктовый кисель – это не оборонить город от орд крымских татар и ногайцев, но войн и осад в истории Шацка было много, а фруктового киселя мало. Карамели еще меньше.

В перестройку и этого фруктового киселя с карамелью не стало. Заодно не стало молокозавода и швейной фабрики. Был мясокомбинат, который и теперь еще есть, но дышит на ладан. Был ликеро-водочный завод, на котором делали водку «Шацкая» и бальзам «Шацкий богатырь», но он умер уже в двадцать первом веке, и не перестройка его сгубила, а неразумные и жадные хозяева.

Живет теперь Шацк за счет федеральной трассы «Урал», которая проходит прямо через город. Огромные, тяжелогруженные фуры идут через Шацк днем и ночью. Машинам требуется ремонт и топливо, водителям требуется отдых и еда. Автомобильных мастерских на душу населения в Шацке куда больше, чем в Москве. Отремонтируют хоть танк. Ночью уснуть трудно, да и воздух..., но жаловаться не приходится. В соседнем Спасском районе трасса проходила через село Киричи, жители которого жаловались, жаловались... и им построили объездную дорогу. Теперь в селе тихо. Все умерло – и автомобильные, и заправки, и кафе.

Что делать тем, кто не работает в мастерских, кафе и на заправках? Да что угодно. Можно спиваться, можно уезжать на работу в большие города, можно жить натуральным хозяйством, держать скотину, кроликов и копать огород. Кролики – это не только ценный мех и диетическое мясо. Кролики, а вместе с ними коровы, куры и пчелы могут спасти семью от разрушения. Уехавшие в большие города без семьи работать вахтовым методом поначалу, конечно, возвращаются, но потом все реже и реже, пока не...

Летом в Шацк приезжают покупатели – дачники, которые на самом деле большей частью шатчане, уехавшие когда-то в Москву, или в Питер, или в Рязань на заработки и там оставшиеся. Они еще во власти инстинкта, и у них еще чешутся руки вскопать хоть пару грядок и посадить картошку, укроп и огурцы. У их детей уже нет такого инстинкта – они приезжают на охоту и рыбалку, а их внуки... едут отдыхать в Таиланд или в Италию.

Молодежь, понятное дело, уезжает, и ее не удержишь, поскольку с перспективами в Шацке... Те, кто учиться не любил – те едут разнорабочими и охранниками в Москву и в Рязань. Те, кто хорошо учился, едут поступать в медицинские институты Рязани и Саранска. Те, кто учился похуже, едут туда же – поступать в педагогические, юридические и в те институты, куда можно поступить. Тут уж ничего не попишешь. Ну, так у нас не только пописать, но и поделать ничего нельзя.

На самом деле, я хотел в конце написать жизнеутверждающее, но получилось... Оно еще хуже получилось бы, если бы я написал, что смертность в Шацке в четыре раза превышает рождаемость. Не говоря об уезжаемости, которая превышает оставаемость в еще большее количество раз. При том, что население Шацка всего шесть тысяч человек. Понятное дело, что у нас таких городков, как Шацк, пруд пруди – и с переделанным в автовокзал собором, и с остатками земляных валов, и с вросшими в землю по окна первых этажей кряжистыми купеческими домами, и с

резными наличниками, и с геранью на окнах, но тех, которым без малого полтысячи лет, которые не сдавались ни татарам, ни туркам, ни ногайцам, которые верой и правдой даже тогда, когда к ним совсем наоборот... и такие есть. В одной Рязанской губернии их столько... Не говоря о Костромской или Вологодской. Тверской или Ярославской. Мы потом, когда поздно будет, обязательно их хватимся.

– Где же Шацк? – спросим мы тогда с удивлением, ожидая увидеть уютный городок на берегу безмятежной Шачи, выкрашенные веселыми разноцветными красками старинные купеческие дома на обсаженных липами и сиренью тенистых улицах и прогуливающих по ним горожан с женами и детьми с леденцами на палочках в липких руках.

– Да вот он, – ответит ~~ямщик~~ шофер, указывая на то, что было когда-то Шацком – на опустевшие улицы, на полуразрушенные заброшенные дома, на черные, без единого огонька, окна, в которых виднеются засохшие герани в пыльных горшках. И с этими словами мы его проедем¹⁴.

¹ Швабриных и теперь много в Шацке и районе. Как подумаешь, что маленькие Швабрины терпят в школе, на уроках литературы...

² Цит. по: Коняшкин Н.С. Шацк: страницы истории. Шацк, 2013. С. 65

³ Провинция была большой и занимала всю площадь современной Тамбовской области и, кроме того, прилегающие территории смежных областей – Воронежской, Пензенской и Саратовской.

⁴ Генерал-рекетмейстер – это совсем не то, о чем вы подумали и понимающе ухмыльнулись. Это всего-навсего человек, который в России восемнадцатого века принимал прошения и жалобы. Не все, конечно, а те, которые смогли до него дойти. Воображаю эти отписки из разных уездов в Шацкую канцелярию. Наверняка Петр, с его маниакальной страстью влезать во все дела, написал воеводским канцеляриям собрать с уездов в приказном порядке жалобы, чтобы проверить, как будет работать рекетмейстерская контора. Сидел в Шацке воевода, читал эти жалобы, то есть отписки, чесал в затылке, багровел лицом, утирал с него пот и такими словами вспоминал уездных секретарей и канцеляристов...

⁵ На самом деле в Шацке не краеведческий музей, а историко-культурный центр, но для краткости я его буду называть краеведческим музеем. Он и по сути краеведческий музей.

⁶ Цит. по: Коняшкин Н.С. Шацк: страницы истории. С. 66

⁷ Как тут не вспомнить письмо воеводы Афанасьева Алексею Михайловичу, в котором он писал: «в осаду ни один человек не идет, ожидает всякого дурна».

⁸ К сожалению, чертежи концентратора были утеряны после смерти Николая Федоровича. В Московском архиве Министерства иностранных дел, в читальном зале которого Федоров работал в последние годы жизни библиотекарем, некоторое время сохранялась склеенная им собственноручно картонная модель концентратора, две гладко выструганные дощечки основания и кусок бечевки. Увы, и эти ценнейшие артефакты пропали в восемнадцатом году.

Раз уж зашла речь о космосе. В том же зале висит еще один портрет – Вячеслава Михайловича Филина, уроженца села Новочернеево Шацкого района, а заодно и вице-президента РКК «Энергия», соратника Королева, участника разработки «Бурана», участника разработки... У Вячеслава Михайловича заслуг перед отечественной космонавтикой столько, что если их по одной раздать односельчанам, то хватит даже малым детям и старикам. Шацкому музею он подарил настоящий ракетный двигатель первой ступени и спускаемый аппарат одного из наших «Союзов». Конечно, двигатель и спускаемый аппарат не новые, но если к ним приложить руки, то можно... Нет, на околоземную орбиту, конечно, не выйти, но на орбиту Шацка или даже Рязани...

⁹ Сын князя Кугушева – Вячеслав Александрович, известен тем, что был большим другом большевиков. Таким большим, что дружба эта довела его до нескольких ссылок. Мало того, он даже продал свое имение в Шацком уезде, и вырученные за него сто восемь тысяч рублей передал в кассу большевиков на проведение второго съезда РСДРП, чтобы они там, в Лондоне, раскололись на

большевиков и меньшевиков. Даже женат Кугушев был на сестре большевика Александра Цюрупы. И при этом умудрился в Самаре руководить деятельностью масонской ложи. После семнадцатого года был комиссаром тюрьмы, работал в Комитете помощи голодающим, по поручению Ленина обменивал белых на красных и... спокойно ушел на пенсию в тридцатом году. Умер в сорок четвертом своей смертью. Не совсем, конечно, своей, потому как попал под трамвай в Москве. А пойдя он по хозяйственной части, а не связись с большевиками, а не дай им денег на второй съезд... Может, до сих пор жил бы себе припеваючи в своем имении в Шацком уезде и курил бы трубку-стамбулку из собственной глины. Может, и мы бы жили.

¹⁰ Цит. по: Коняшкин Н.С. Шацк: страницы истории. С. 72

¹¹ Фораминиферы, конечно, маленькие и одноклеточные – меньше миллиметра. Их надо в микроскоп рассматривать. Правда, некоторые, давно вымершие, достигали двадцати сантиметров. И вообще, когда в вашу честь назовут хотя бы одно, пусть и вымершее, одноклеточное – тогда и будете снисходительно улыбаться. Кстати, о палеонтологии. В краеведческом музее Шацка есть небольшая витрина, в которой лежат россыпью мелкие, меньше семечек, древние акулы зубы. Когда-то в мезозое здесь было теплое море и в нем жили очень маленькие акулы скваликораксы с крошечными зубами. Питались они падалью. Теперь акулы зубы в большом количестве находят при дорожных работах около села Малый Пролом.

¹² После того как большевики взяли власть в свои руки, газета быстро поменяла свое название на более спокойное – в восемнадцатом году на «Плуг и молот», а в девятнадцатом – на «Рабочий и крестьянин».

¹³ В самом Шацке большевистский уездный комитет партии создавал присланный Тамбовским губкомом участник штурма Зимнего и член партии с марта семнадцатого года Арсений Петрович Иванов. Было Арсению Петровичу в восемнадцатом году девятнадцать лет. Он и стал первым председателем Шацкого укома РКП(б). Сохранилась фотография Иванова, где он в военной шинели, портуpee, перепоясанный широким ремнем и с такими детскими пухлыми щеками... Он потом с такими щеками принимал активное участие в подавлении Тамбовского восстания.

¹⁴ Те, кому такой финал не нравится, могут придумать себе что-нибудь оптимистическое. С оптимистическим финалом все будет смотреться куда лучше.

И вот еще что. Рассказывали мне в Шацке, что у них в районе много блаженных. И тех, которые уже умерли, и живых. В одной деревне есть могила блаженного, к которой местные жители ходят, когда долго дождя нет. Берет старушка ведро воды (а там уж одни старушки-то и остались) и выливает на надгробную плиту. И все. И больше ничего не надо. И на следующий день льет как из ведра. И ни разу не было, чтобы дождь не пошел, сказался больным или обещал пойти на следующей неделе в четверг.

Вельск

Рассказ о Вельске можно начать сразу с двух цитат. Первую возьмем из книги «Путешествие по северу России в 1791 году» писателя и этнографа Петра Ивановича Челищева: «Дикие чудные места оставляют неизгладимое впечатление, громада растительности во всей ее девственной красоте, подобных картин природы не встретишь в центральной России». Вторая принадлежит Матвею Николаевичу Мясникову – купцу, исследователю истории русского Севера и архивисту. В начале девятнадцатого века в своей книге «Исторические черты о городе Вельске, собранные из древних летописей, старинных книг и архивных бумаг» он писал: «Древнее или первоначальное бытие Вельска, как и других многих городов, мелькает в отдаленном мраке времен, и водворение первых его обитателей, когда воспоследовало, никаких старобытных памятников не видно, или не сыскано. Только летописи российские по случаю в первый раз о нем упоминают, как месте, принадлежащем Новгородской державе в 1397 году».

С первой цитатой не поспоришь – Петр Иванович, побывавший в верховьях реки Ваги, в тех местах, где расположен Вельск, написал все как есть – и места чудные, и громада растительности во всей ее девственной красе, и впечатление оставляют такое же неизгладимое, как и двести с лишним лет назад, а вот вторая цитата устарела. Оказался Вельск старше тех лет, которые отмерял ему Матвей Иванович, ровно на двести шестьдесят лет. Оказался Вельск старше самой Москвы на десять лет. В грамоте Новгородского князя Святослава Ольговича написано, что в казну Новгородского Софийского собора будет поступать дань с «селения Вель». Так тогда назывался Вельск, находившийся неподалеку от слияния рек Вель и Вага. Ко времени упоминания «селения Вель» в тех местах уже давно и прочно осели славяне, потеснив, как обычно, тихие и совершенно невоинственные финно-угорские племена, которые частью смешались со славянами, а частью забрались еще глубже в дремучие северные леса, которые тогда изобиловали зверьем, грибами, ягодами и орехами. Кстати, они и сейчас ими изобилуют. Не в такой, конечно степени, как в те, для нашей истории практически античные, времена, когда после дождя, особенно по четвергам, грибы сами приходили к порогам лесных избушек, но все же. Про изобилие рыбы в Ваге и Вели и говорить нечего. Тогда рыба заводилась даже в больших лужах, если случилось дождливое лето. Впрочем, это были караси и ерши, которых ловили только ребятишки для забавы и на корм кошкам. До сих пор, кроме самых обычных лещей и шук, в Ваге водится и семга, и хариус, и, как говорили мне местные жители, стерлядь. Сами они ее, конечно, не ловят, поскольку это строго запрещено, а только показывают руками размер рыбы, которую они никогда не ловили.

Впрочем, мы отвлеклись. После того, как в этих местах поселились славяне, пришедшие из средней полосы в поисках хорошей жизни, сюда пришли другие славяне из Великого Новгорода в поисках дани. Лет через тридцать после первого упоминания Вельска на голову местных жителей свалились и третьи славяне из Ростово-Суздальского княжества, которые стали воевать со вторыми за право собирать дань с первых. Князь Андрей Боголюбский попросту отобрал силой уже собранную дань у новгородских сборщиков. Тем не менее новгородцы активно колонизировали земли по берегам Ваги, и к концу четырнадцатого века там появились владения нескольких семей новгородских бояр. К этому времени поселение на Вели стало погостом и в нем уже была приходская церковь. Погост в нашем случае означает поселение с приходской церковью, кладбищем и торговым местом. Сюда можно было приехать погостить, собрать дань, набрать медвежьих шкур и лосиных рогов для украшения городских хором, приказать старосте выкатить бочку сыченого меда или местного пива, съесть с друзьями целиком зажаренного быка или свинью, похлопать старосту по плечу и шепотом пообещать его дочке непременно забрать ее из этого медвежьего угла в Новгород.

Кстати, о старосте, который тогда назывался волостель. Вельский волостель Исайя за три года до наступления пятнадцатого века доносил своему новгородскому начальству, что московский воевода Андрей Албердов с войском взял Вельский погост и посадил там наместником князя Федора Ростовского. Албердова и Ростовского послал воевать Вельск сын Дмитрия Донского – Василий Дмитриевич. Через год Новгород послал в Вельск трех посадников с дружиной. В те времена еще никто не знал, что с Москвой лучше не связываться, и потому новгородцы великокняжескую дружину разбили, у князя Ростовского уже собранную дань отобрали и его самого со свитой выпроводили домой. Еще и с московских купцов, торговавших в тех местах, взяли по триста рублей с каждого.

И все же, несмотря на временные успехи новгородцев, с начала шестидесятых годов пятнадцатого века и Важская земля и Вельский посад перешли под длинную и загребущую руку Москвы. Старосты и тиуны назначались теперь московскими князьями, а уж после битвы на реке Шелонь, когда московские войска наголову разбили новгородское ополчение, весь русский Север окончательно вошел в состав Московского государства.

В середине шестнадцатого века в Важскую землю Москва направила государевых писцов Ивана Заболоцкого и Дмитрия Темирова, которые составили первые писцовые книги. Вельский

погост стал называться Вельским посадом. Перемена названия, впрочем, была лишь половиной или даже четвертью беды. Бедой было то, что Москва умела переписать все, до последнего гвоздика и котенка, а переписав, обложить непосильными податями все, включая и гвоздик, и котенка. Одновременно с переписью в этих краях развелось несусветное количество наместников, тиунов и следователей, называвшихся доводчиками, которые, не получая жалованья, жили поборами с местного населения и довели посадских людей до того, что те написали письмо Ивану Грозному и отправили в Москву ходоков, которые эту челобитную отдали царю в собственные царские руки. Жаль только, живописцев тогда у нас не было подходящих, чтобы написать картину «Ходоки у Грозного». Хотя, скорее всего, принял у них челобитную какой-нибудь дьяк, а то и подьячий в Поместном приказе, забрал связку беличьих шкурок, лосиные рога, вяленого хариуса, соленую семгу и березовый туес с красной икрой, которая немного испортилась дорогой, но была еще вполне съедобной, и велел немедленно отправляться восвояси. Еще и ногой топнул. От Вельского стана ходили с челобитной трое – Ромашка Онаньин сын, Ивашка Семенов сын и Ивашка Иванов сын.

Шутки шутками, а кормления Грозный отменил и в Вельском посаде стали выбирать себе начальников, которые управляли, судили и собирали подати. При Иване Грозном Вельск в составе Поморья был записан в опричнину. Нельзя сказать, что это как-то отразилось на жизни Вельска. Жили мирно. Ни крымские, ни казанские татары, ни ногайцы сюда не набегали. Вернее, не добегали. Вот только перед самой Смутой из-за неурожая и последовавшего за ним голода вымерло около двух третей населения. В начале семнадцатого века деревни на Севере были маленькие – из двух, из трех, из четырех домов. Столько их вымерло... В шестьсот двенадцатом году добрались до верховьев Ваги поляки под началом гетмана Шелковского и казаки с атаманом по прозвищу Баловень. Вельск взять не смогли, но разорили все, что смогли разорить¹. Уводили скот и отбирали хлеб. Утащили даже колокола с колоколен. Особенно свирепствовали казаки Баловня – мало того, что грабили, так еще и насыпали людям в уши порох и поджигали. Баловня потом поймали и повесили за ребро в Москве, но потом.

Смута кончилась, и по приговору Земского собора Важская земля и в ее составе Вельский уезд отошли в вотчину князю Трубецкому. Мирная жизнь у разоренных жителей Вельского посада и волости началась с повышения налогов. Если в шестьсот четырнадцатом году собрали тысячу шестьсот рублей, то уже в следующем почти десять тысяч. Потом смиловались и стали собирать по семь тысяч. Стали крестьяне от таких налогов убегать. Понятное дело, что на юг не побежишь. Бежали в Сибирь. Треть домов в деревнях опустела. Только к концу семнадцатого века в Москве решили дать крестьянам передохнуть и уменьшили налог вдвое.

Основной государственной повинностью, кроме уплаты налогов, было поддержание в исправном состоянии участка дороги от Москвы до Холмогор. Зимой ее надо было очищать от снега, а летом устраивать перевозки и ремонтировать мосты. Дорога в районе Вельска шла то по одному, то по другому берегу Ваги. Все волости Важской земли, включая Вельскую, отвечали за участок дороги длиной четьреста верст – от верховья Ваги до ее впадения в Северную Двину. На нее снега наваливало столько, что приходилось весь год чистить. Летом грузы отправляли на плотах, каяках и карбасах по Ваге до Северной Двины, а там и дальше – до самых Холмогор на ярмарку, поскольку Архангельск появился в самом конце царствования Ивана Грозного. Везли продавать большей частью рожь, поскольку пшеница в тех краях растет плохо, немного овса, немного гороха, немного ячменя, лен, хмель, коровье масло, живых коров, быков, соленые рыжики, сукно, овчины, самый толстый и самый грубый холст-хрящ. Отдельно надо сказать о смоле. При всех природных богатствах Важского края крестьянину было тяжело прокормиться земледелием и разведением скота. Если сложить вместе рожь, горох, ячмень, коров, быков, лен, сукно и соленые рыжики, то все равно до прожиточного минимума дотянуть не получалось. Подати рыжиками не уплатишь – нужны были деньги. Пожалуй, самым главным промыслом в Поважье и, конечно, в Вельском посаде было смолокурение. Фактически смолокурение можно было в тех местах при-

равнять по важности к земледелию. Лесов было столько... Самое главное, что они были большей частью хвойные. Технология добычи смолы была довольно простая. Вернее, способ, поскольку технологией это назвать сложно. Сначала снимали часть коры на соснах и в течение нескольких лет дерево выделяло живицу – ту самую прозрачную смолу, которой дерево обороняется от короедов и которую мы в нашем, уже далеком, советском детстве жевали вместо жвачки. После этого дерево спиливали и кололи на поленья. Пни выкорчевывали и тоже кололи. Получившиеся поленья называются смольем. Дальше процесс мог идти тремя путями – ямным, корчажным и печным. Все три похожи друг на друга с той лишь разницей, что в первом на холме или небольшой возвышенности выкапывали яму, укладывали на ее дно деревянную трубу, по которой должна была стекать смола в бочку у подножья холма, укладывали в яму смолье, поджигали его, потом забрасывали землей, глиной и дерном и ждали несколько дней пока смола стечет в приготовленную бочку, во втором способе яму не выкапывали, а в третьем роль ямы выполняла печь. Печами для выгонки смолы крестьяне стали пользоваться лишь во второй половине позапрошлого века, а до этого даже ям не выкапывали – добывали смолу корчажным способом. Все это, конечно, просто на бумаге, а в действительности было гораздо сложнее – и поджечь надо было так, чтобы потом не оставалось несторевого смолья, и чтобы горело медленно и не погасло, что не так-то просто, если погода ветреная, и ждать или, как говорили смолокуры, «высидивать» деготь четыре или пять дней, пока он весь не выйдет. Кроме дегтя получались в качестве побочных продуктов скипидар и канифоль. Это теперь деготь используют в косметической промышленности, а в семнадцатом веке им смазывали тележные колеса, сапоги и лошадиную сбрую, чтобы она не гнила и не дубела на морозе, мазались сами, чтобы защитить себя от комаров, но более всего деготь был нужен для пропитки лодок и кораблей. Уже во второй половине шестнадцатого века важная смола доставлялась на мурманский берег и даже продавалась за границу монахами тамошнего Печенгского монастыря. Как только появился Архангельский порт – так сразу торговля смолой пошла и через него. К началу восемнадцатого века из архангельского порта только на экспорт ежегодно уплывало от шести до шестидесяти тысяч бочек смолы. Продавали ее и в Голландию, и в Германию, и во Францию, и в Италию, и даже в Португалию, но главным потребителем была Англия. Почти девяносто процентов северной смолы выкуривалось в Поважье. Когда Вельск при Екатерине Великой стал уездным городом, то гербом ему Сенат утвердил наполненную дегтем бочку в золотом поле «в знак того, что обыватели этого города оным производят знатный торг». Тут нужно бы пошутить про ложку меда, но это уж вы сами что-нибудь придумайте, а мы вернемся к Вельску и его смолокурам.

Смолу, производимую, а точнее, выкуриваемую жителями Поважья, можно было продавать тремя способами. Первый способ заключался в том, что каждый мог торговать как ему вздумается. Второй способ представлял собой откупную торговлю, при которой власти за определенную плату разрешали этим заниматься откупщикам, и тогда приходилось всю смолу давать откупщику, с которым надо было еще сторговаться. Ну, а третий способ был самым простым и самым невыгодным – казенная монополия. Власть забирала смолу и засчитывала часть ее стоимости в счет уплаты налогов, а часть отдавала производителю наличными деньгами. Третий способ практиковался в начале восемнадцатого века. Это и понятно – царь Петр не любил выпускать из рук государства сбыт стратегически важных для тогдашнего флота материалов. Он же нанес сильнейший удар по торговле северной смолой, когда повелел торговать ею через новую столицу и запретил привозить в Архангельск смолы больше, чем потребуется для нужд самого города. Одно дело – сплавлять смолу на плотках из Вельска в Архангельск по рекам Ваге и Северной Двине, а другое – на подводах в Петербург по дорогам, которые еще надо было проложить. К счастью, после Петра власть разрешила производителям торговать смолой свободно, и такой способ торговли продержался до начала прошлого века.

Разрешить-то она разрешила, но стала облагать каждый шаг смолокуров налогами. В начале девятнадцатого века нужно было уплатить сначала лесной налог, потом налог за бочку смолы,

потом налог на пустую бочку, потом уплатить деньги за билет, который был разрешением на, собственно, смолокурение, потом налог на специальные плоты для сплава смолы, потом купить торговое свидетельство... И стал смолокур продавать свою смолу на месте скупщикам, и выходило, что цена ее, к примеру, в середине девятнадцатого века в Вельске была раза в два, а то и в два с половиной ниже, чем в Архангельске. Самостоятельно сплавляли свою продукцию в Архангельск очень немногие смолокуры, да и тем поднять цену в Архангельске не давали перекупщики. Неудивительно, что в тогдашнем отчете по Вельскому удельному имению, то есть имению, доходы от которого предназначались для содержания царской семьи, отмечалось: «заработок ничтожный по сравнению с теми ужасными трудами, которые несет смолокур, ...а существовать без смолокурения нет средств».

И еще. В Петербурге смолу покупали в Финляндии, поскольку она была ближе. Платили за нее в три, даже в три с половиной раза больше, чем платили за русскую смолу англичане и голландцы в Архангельске. И это при том, что качество нашей смолы было выше, поскольку она содержала куда больше ценных компонентов, чем финская². Какой-нибудь английский или голландский историк или экономист голову сломает, пытаясь понять почему... какого... а мы только плечами пожмем и усмехнемся.

Рассказывая о смолокурах, мы далеко забежали вперед. Возвратимся в начало восемнадцатого века. Петр Первый, образовавший своим указом Архангельскую губернию, поместил в нее и Вельский уезд вместе с уездом. Царь, любивший все учитывать, велел провести перепись своих подданных поголовно. И то сказать – последняя перепись была еще при Федоре Алексеевиче и проводилась, как тогда было принято, по дворам, а не по головам. Полная перепись была проведена за восемь лет – с девятнадцатого по двадцать седьмой год, – и оказалось, что в Вельском посаде по состоянию на семьсот двадцать второй год проживало всего двадцать четыре души мужского пола. Прибавим к этим душам женские, прибавим детские, учтем, что детишек тогда в семьях было много... Все равно получится мало. С одной стороны, ужас как все обезлюдело, а с другой – понятно почему: кто убежал в Сибирь от армии и строительства новой столицы, а на Севере к строительству Петербурга прибавилось и строительство Новодвинской крепости в устье Северной Двины, кто убежал от непосильных налогов, кто умер от эпидемий, кто вовсе укрылся от переписи, справедливо полагая, что переписывают у нас обычно вовсе не перед раздачей пряников, а совсем наоборот.

При Петре в Вельске появилась промышленность. На городской земле два купца поставили два скипидарных завода с копильнями для выделки сажи – один на берегу Ваги, а другой – на берегу Вели. Понятное дело, что на настоящую промышленность два этих заводика походили мало, учитывая то, что рабочих на них можно было перечесть по пальцам одной руки, а машин и механизмов и вовсе не имелось, но другой промышленности... Скипидар и сажу отправляли на подводах в Вологду и Ярославль. В Вельске, хотя он еще и не был настоящим городом, был учрежден магистрат и назначен ратман. Если исключить закладку каменной Троицкой церкви в семьсот сорок первом году в Вельске и ее освящение через одиннадцать лет, то в первой половине восемнадцатого века в городе происходило примерно ничего. Происходила обычная жизнь, и чья-то корова забредала в чужой огород, кто-то вылавливал в Ваге преогромную щуку, кто-то тонул в Вели по пьянке, а кому-то вымазали ворота первосортным дегтем местного производства, но такого, чтобы... Нет, такого не было. Вот в семьсот шестьдесят втором году произошло – вологодские купцы Колесов и Шайкин построили в уезде чугунолитейный завод. Сырьем была болотная руда, которую добывали тут же, по берегам речки Терменьги. Завод работал на местный рынок и вообще проработал недолго, поскольку болотная руда быстро кончилась, да и была низкого качества. Мы бы, может, и не вспоминали о нем вообще, но за время своей недолгой работы завод успел отлить чугунные плиты для покрытия пола вологодского кафедрального Софийского собора. Они покрывают там пол и сегодня.

В шестьдесят шестом году Сенат закупил шесть бочек картошки и прислал в Важскую воеводскую канцелярию десять пудов. Канцелярия распределила их на сто человек. Вышло приблизи-

тельно по полтора килограмма на душу. Если принять, что одна средняя картофелина весит около двухсот грамм, то по восемь штук. Посадили, конечно, раз начальство приказало. Собрали столько, что губернатор потом в отчете написал «оних яблок³ не уродило по божескому изъятию». С картофелем в тех краях было плохо еще очень долго. И через сто лет в Вологодской губернии, к которой тогда относился Вельский уезд, собирали в лучшем случае по восемь килограммов на человека.

В 1780 году Вельский посад был, наконец, переименован в город Вельск. Населяло город к тому времени сто шестьдесят пять человек – почти поровну мужчины и женщины. Более всего проживало чиновников – четыре десятка, а менее всего крестьян – семь человек. Полсотни мещан, двадцать восемь отставных солдат и тридцать семь лиц духовного звания. Сорок чиновников на сто шестьдесят пять жителей. Конечно, в Вельске появились сразу и городское правление, и уездный суд, и сиротский суд, и казначейство, и почтовая контора, но.... Самое удивительное, что этого количества чиновников не хватало. Какой-нибудь английский или голландский историк или экономист голову ломает, пытаясь понять зачем... какого... а мы только плечами пожмем и усмехнемся.

В январе восемьдесят шестого года в империи упразднили провинции. Вельск стал уездным городом Вологодской губернии и пробыл таковым до конца двадцатых годов двадцатого века.

В девяносто втором году, как раз в год взятия Бастилии, городские власти, запретили хоронить умерших при соборной Троицкой церкви. Через год после того, как отрубили голову французскому королю и Франция объявила войну Англии, отвели место под городское кладбище и тогда же начали строить кладбищенскую церковь Успения Пресвятой Богородицы. Еще через год вельский священник Иоанн Осокин по собственной инициативе организовал в городе народное училище. С разрешения, конечно, властей. Сам занимался с детьми у себя дома. Две зимы продержалось народное училище и закрылось. Родители не видели пользы в обучении собственных детей⁴. Зато строительство кладбищенской церкви закончили быстро и в девяносто шестом году ее уже освятили. Уездный землемер Голубев разбил город на кварталы. Во время недолгого царствования Павла Петровича было создано удельное ведомство. Все удельные земли на Севере были объединены в Вельский удельный округ с центром в Вельске.

Через восемь лет после образования удельного округа, в восемьсот пятом году тракт Москва-Архангельск проложили через Вельск. До этого времени тракт проходил по другому берегу Ваги⁵. Вельск к тому времени был не хуже других уездных городов – кроме непереносимой ратуши с бургомистром, казначейства, почты и разных судов в нем было духовное управление, уездный стряпчий, соляной и винный приставы, уездный лесничий, уездный врач и две команды – пожарная и инвалидная, причем инвалидной командовал штабс-капитан. Шагу нельзя было сделать, чтобы не наступить на ногу какому-нибудь уездному начальнику.

В июле двенадцатого года, через месяц после начала военных действий, стали собирать земское ополчение и добровольные пожертвования. Среди жертвователей были местные купцы... Всего один – купец второй гильдии Зензинов пожертвовал сто пятьдесят рублей. Среди жертвователей-дворян отличился унтер-фертшер Арсений Насонов. Ему в девятнадцатом году за участие в денежном пожертвовании даже дали бронзовую медаль. Городничий Карл Егорович Фрейден-таль пожертвовал треть своего жалования и сам попросился в действующую армию. Впрочем, ему отказали, поскольку нужды в этом не было. Ополчение тоже отменили. По той же причине. Ополчались только те губернии, что были в непосредственной близости от театра военных действий. Однако же вологодскому губернатору было предписано из Санкт-Петербурга «набрать из обитающих в Вологодской губернии народов, в стрельбе зверей упражняющихся, до пятисот и более и, по сборе оных с теми самыми ружьями, которые они при своем промысле употребляют, отправить их на подводах сюда, в Санкт-Петербург, для причисления их к тому ополчению, которое здесь против неприятеля, вторгнувшегося в пределы России, составляется». Летом в губернии и в Вельском уезде появились беженцы, а к осени и пленные. В Вельске разместили пятьдесят

французов. Снабдили их шинелями, полушубками, шапками, рукавицами, сапогами, нательным бельем и провиантом. Приставленный к ним конвой следил, «чтобы ни один из пленных не смел сбывать каким бы то ни было образом одеяния, на них состоящего». Вельск все же не Париж и тем более не Марсель – зимой сюда без шапки, полушубка и рукавиц, да еще и пленным, лучше не попадать. Зимой двенадцатого года морозы доходили до сорока трех градусов. Горе побежденным... а в Вельске еще и ужас как холодно.

Вот, собственно и все о войне с Бонапартом. Пожалуй, можно добавить, что в двадцатых годах земским исправником служил отставной майор пехотного полка Константин Иванович Белов, участник сражения при Березине и заграничных походов, а через двадцать лет после войны в тридцать втором году в Вельске должность городничего занимал надворный советник и отставной штабс-капитан, участник Битвы народов под Лейпцигом, бравший Париж Макарий Дмитриевич Тугаринов⁶.

Кстати, о народах, «в стрелянии зверей упражняющихся». Вельские купцы-заготовители у части этих народов, населяющих город и уезд, регулярно покупали пушнину, которой тогда в окрестных лесах было видимо-невидимо. Шкура зайца стоила от четырех до восьми копеек. Белка стоила не дороже зайца. Горностай – от тридцати до сорока копеек. Норка – от рубля до трех. Шкуры лисиц шли от двух до шести рублей, волков – от рубля до трех, а медвежьи – от трех до двенадцати. Честно говоря, все эти данные о закупочных ценах на пушнину в Вельске первой половины девятнадцатого века для понимания... не очень нужны. Просто как подумаешь, сколько на нынешнюю свою зарплату мог бы купить лисьих или медвежьих шкур, не говоря о беличьих и заячьих... сколько шуб... наконец-то жена... С другой стороны сколько моли... одного нафталину пошло бы... проеденный лисий салоп... сколько слез... да провались они пропадом, эти шубы.

В восемьсот двадцать втором году в городе открыли уездное духовное училище. За полвека это училище окончило более четырехсот человек. Если посчитать количество учащихся, которое приходило в первый подготовительный класс, и сравнить его с количеством выпускников, то получится, что больше половины учащихся полного курса не окончили. Судя по всему, плохо учились дети и внуки тех, кого забирали из народной школы священники Осокина родители, не видевшие пользы в грамоте. Через двадцать лет открыли первые четыре школы в Вельском уезде, в котором тогда проживало более семидесяти тысяч человек. Увы, школы эти постигла участь народного училища Осокина. Крестьяне не хотели отдавать в них детей, поскольку не видели никакой пользы в обучении.

Все же прогресс, хоть и незаметный невооруженным глазом, был. К примеру, в первой половине восемнадцатого века о повседневной жизни Вельска и уезда никто, кроме аборигенов, не был осведомлен, а в первой половине девятнадцатого... «Вологодские губернские ведомости» в восемьсот сорок четвертом году писали о том, что в Вельском уезде за год «утонуло восемнадцать человек, умерло от неводержанности (запились) пять человек, наложило на себя руки семь человек, убито по злому умыслу три человека, а грозой – шесть человек»⁷.

Как представил я себе диких бородатых смолокуров в нагольных тулупах, перемазанных дегтем, с острыми, как бритва, топорами, которыми они могли комару нос подточить, дикий, дремучий медвежий угол, в котором... от гроз погибало вдвое больше людей, чем от рук злоумышленников и... начал думать всякую ерунду о том, что нравы тогда были чище, вода мокрее и трава зеленее. Подумал, подумал... и посмотрел статистику убийств в Вельском районе в наше время. Нашел отчет главы Вельского муниципального района за семнадцатый год, и оказалось, что... убийств не было ни одного. Еще в тринадцатом году было восемь, в пятнадцатом – шесть, в шестнадцатом – пять, а в прошлом – ни одного⁸. Тут непременно нужен какой-то вывод – или о чистоте воды, или о нравственности травы, или...

В середине позапрошлого века Вельск представлял собой не просто маленький, а очень маленький городок. В Вологодской губернии он был одним из самых маленьких. Вельск даже к началу двадцатого века занимал всего четыре десятых квадратной версты, а в середине девят-

надцатого века и того меньше. Еще при Екатерине Второй городу отвели чуть более квадратной версты, и уездный землемер разбил треть от этого количества на тридцать четыре квартала. За семь десятков лет застроили всего одиннадцать, и все эти сто семьдесят пять домов, из которых был один каменный⁹, умещались на площади около пяти квадратных десятин, или пяти с лишним гектаров, или... Нет, в квадратных верстах лучше не считать, а то получаются какие-то уж совсем микроскопические величины.

Несмотря на то, что Вельск был крошечным по площади и самым маленьким городом в Вологодской губернии по численности населения¹⁰, в нем было все необходимое для жизни уездного города – одиннадцать лавок, четыре склада, называвшиеся тогда магазинами, ежегодная ярмарка, на которую съезжались крестьяне и цыгане со всего уезда, один купец первой гильдии и двадцать пять купцов второй, два питейных заведения, большой городской сад для неторопливых прогулок, уездная почтовая контора с усатым почтмейстером, больница на десять коек, три фабрики, на которых работало тринадцать рабочих, две церкви, два училища, полицейская будка и даже почтовый ящик. Он появился в Вельске в самом конце первой половины девятнадцатого века. Правда, всего один. Да больше и не нужно было на восемьсот человек горожан. На ящике была надпись «Опущенные в этот ящик письма, оплаченные марками или в штемпельных конвертах, заказные письма будут отправлены с первой проходящей почтой»¹¹. В Москву почту отправляли четыре раза в неделю, а в Архангельск – два.

Что касается вельских фабрик, то их количество в восемьсот шестидесятом году выросло до целой дюжины – четыре скипидарно-пековаренных¹² завода и восемь сажекопильных. Только не надо думать, что небо над Вельском было черным и закопченным от сажи. Фабрики работали не вместе, то поврозь, а то попеременно. В семьдесят третьем году не работали совсем «по случаю упадка торговых дел владельцев». В шестидесятом году губернский статистический комитет и вовсе велел считать фабриками только те, «которые действуют паром... или в коих главным орудием производства являются машины». Тут еще и сажекопильное производство в городе закрылось, поскольку в уезде было большое количество смолокуров, бывших по совместительству сажекопильщиками и составлявших вельским фабрикантам сильнейшую конкуренцию. Так что небо над Вельском было чистым.

Если же говорить об экстраординарных событиях, которые имели место быть в Вельске в первой половине девятнадцатого века, то к ним следует отнести сильный иней тридцать седьмого и сорокового годов, уничтоживший посевы картофеля, гороха и яровых, сильный град сорок первого года и запись в Вологодскую дружину ополченцев во время Крымской кампании. Впрочем, запись следует отнести уже к началу второй половины.

Жизнь в Вельске протекала тихо и плавно, как Вага. На ежегодную ярмарку, которая проходила в январе, съезжались купцы из разных губерний. Иногда приезжали даже англичане, продававшие здесь пряности и свои английские сукна. На вырученные от продажи деньги покупали, понятное дело, меха. Крестьяне Архангельской губернии привозили соленую рыбу – треску, сайду и палтуса¹³. Крестьяне Олонецкой губернии торговали свежей селедкой. И вообще – во всякое время года на городском базаре можно было купить местную свежую, выловленную в Веле и Ваге рыбу: семгу, леща, сига, хариуса, голавля, карася, окуня, щуку, язя, плотву, ельцов и ершей. Последних отдавали почти даром – от копейки до трех за фунт. Ельцы и плотва стоили почти столько же. Щук продавали от двух до восьми копеек за фунт, хариуса от четырех до десяти, лещей, в среднем, по семи копеек, а самой дорогой была семга – от двенадцати до тридцати копеек за фунт. Если пересчитать на зарплату, скажем, учителя гимназии, который в те времена мог получать от восьмисот до полутора тысяч рублей жалованья в год, то выходит, что ельцами и плотвой можно было кормить кошек, а самим есть хоть каждый день щук, хариусов и лещей. Ну, а семгу... и семгу можно было. Хватало учителю гимназии на семгу. Жаль только, что гимназии в Вельске в середине девятнадцатого века не было. Нынешним учителям нынешняя семга...

Местные охотники продавали пушнину. Только в восемьсот пятидесятом году купцы купили в Вельске тридцать пять тысяч беличьих шкурок, восемь с половиной тысяч заячьих, шесть де-

сятков лисьих, больше сотни куных, сто семьдесят горностаевых, шестьдесят медвежьих, а еще семнадцать с лишним тысяч рябчиков, почти четыре тысячи тетеревов и четыре с лишним сотни уток. Если семгу и шкурки зайцев с белками еще можно пересчитать на нынешнюю учительскую зарплату, то рябчиков и горностаев...

При всем обилии дешевых рябчиков, тетеревов, горностаев, семги и хариуса, при наличии полицейской будки, почтового ящика и больницы на десять коек смертность в городе и уезде в середине позапрошлого века была огромной. Например, в восемьсот шестидесятом году в Вельске и уезде умирало около семидесяти процентов новорожденных.

Летом пятьдесят восьмом года по пути из Москвы в Соловецкий монастырь через Вельск проехал Александр Второй. Мог бы, конечно, и остановиться, отобедать чем бог послал у городского головы, принять депутацию местного купечества, получить в подарок сувенирный, величиной с чайный стакан, бочонок с самым лучшим вельским дегтем, но... лишь выпил чаю, заплатил двадцать пять рублей серебром и поехал дальше. По городу, конечно, проехал. Той почтовой станции, на которой останавливался царь, не сохранилось – она сгорела. На этом месте теперь здание налоговой инспекции. Зато в музее Вельска есть красивое резное блюдо из карельской березы и солонка. На блюде императору поднесли хлеб-соль. Правда, это сделали не в Вельске, а в селе Сметанино Верховажского уезда, но блюдо и солонка от этого менее красивыми не стали¹⁴.

В год освобождения крестьян в уезде открылись сразу семь школ. Учащихся в школах было немного – в среднем, около десятка. Большей частью это были мальчики. Девочек в школы крестьяне отдавали еще неохотнее, чем мальчиков. В том же году было... да ровно то же, что и в прошлом, и в позапрошлом – купцы торговали, охотники охотились, смолокуры выкуривали деготь, а вельские мещане растили хлеб и косили сено на землях, которые они арендовали у города. Вельск был городом-селом и это село из него еще долго выкуривалось. И все же. Уездная и городская смолокурная промышленность на фабриках, которые губернский статистический комитет не велел считать фабриками, произвела сто с лишним тысяч ведер смолы и почти две тысячи пудов скипидару. Сажекопильный завод произвел сажи на манер голландской на четыре тысячи рублей и накурил дегтя на тридцать тысяч. В селе Терменьга писчебумажная фабрика...

...Господи, ну почему через Вельск не проезжал Пушкин?! Ехал бы к себе в Михайловское из Тригорского от Вульфов, и тут как лошади понесут, как метель закружит, небо мутное, ночь мутная, луна невидимкой... В городском краеведческом музее хранился бы заячий тулуп, подаренный Александром Сергеевичем мужику-смолокуру, который вывел его к Вельску, и записки на французском, которые Пушкин писал бы дочке городничего. Ну, хорошо, пусть не Пушкин. Пусть Гоголь. Увез бы дочку или жену городничего в Рим до Вологды, а там... Пусть хотя бы Белинский в вельский почтовый ящик опустил письмо к Гоголю, который в Вологде с ума бы сходил, не зная, как отвязаться от жены и дочери городничего. Черновик этого письма, найденный в номере местной гостиницы, украшал бы теперь собою местный краеведческий, но...

...в селе Терменьга писчебумажная фабрика произвела бумаги на двадцать тысяч рублей, да еще весной того же года по Ваге на плотках из уезда отправлены в Архангельск смола, пек, рожь, льняное семя, лен, пакля, овес, крупа, мука овсяная и ржаная. Всего на сумму четверть миллиона рублей. И это не все. Сена накопили столько...

Оставим паклю и сено. В шестьдесят седьмом году Вельский уезд получил по подписке два с половиной десятка разных газет и журналов. Среди них «Сын Отечества», «Северная пчела», конечно же вологодские «Губернские ведомости», в которых время от времени печатались заметки о Вельске и Вельском уезде, но более всего было религиозных изданий. В том же году был неурожай, охвативший весь уезд. Надо сказать, что крестьяне в верховьях Ваги и без всякого неурожая с трудом обеспечивали себя хлебом. Примерно половину необходимой ржи приходилось им покупать, не говоря о пшенице, которая им была не по карману. При всех сложностях с

хлебом, молоком и мясом в Вельске и уезде дела обстояли хорошо. К примеру, в Устьвельской волости у пятой части крестьянских семей была одна корова, две коровы были примерно у трети семей, а три коровы...

...Ну, бог с ним, с Пушкиным. И с Гоголем тоже. Не проезжали, и ладно. Могли же быть скандалы. К примеру, уездный казначей мог бы проиграть свою жену в карты. Или предводитель уездного дворянства мог сказать «пропадай все» и уехать жить от живой жены и трех малых детей к красавице цыганке в табор. Его потом сам вологодский губернатор приезжал бы уговаривать вернуться к семье. Дети плакали бы. Особенно его любимица – восьмилетняя Грушенька. Он бы вернулся, а цыганка потом отравилась бы. У жены тоже открылась бы чахотка из-за переживания. Сам предводитель попытался бы застрелиться, но неудачно и остался бы инвалидом. Вельск и уезд только об этом и говорили бы в течение пяти или даже десяти лет. Да что Вельск – Вологда говорила бы. В конце концов городской голова мог просто нажиться на винных откупах или построить на бумаге мост через Вель, а выделенные губернией деньги...

...три коровы были у пятой части семей. Были и совсем богатые крестьяне, имевшие по четыре коровы. Были, конечно, семьи, у которых вместо коров были козы или даже куры. К концу девятнадцатого века Вельский уезд среди десяти уездов Вологодской губернии занимал пятое место по надоям молока от одной коровы. Одна корова в уезде в среднем давала чуть больше пятисот килограммов молока. По нынешним меркам такие коровы называются козами. Отечественными козами. Европейские козы дают молока больше. Четыре вельских коровы конца позапрошлого века, если сравнивать надои, равны половине нынешней российской коровы.

В семидесятом году открылось первое земское собрание Вельского уезда. С одной стороны – председатель Вениамин Александрович Аронов от управы государственного имущества, Константин Кириллович Орон-Гессе и Иосиф Степанович Струтинский от удельного ведомства, от уездного лесничества... от Вельского удельного имения... а с другой – семь крестьян и два священника – земские гласные. С одной стороны, подумаешь, какое дело – земское собрание, а с другой – как представишь себе – за одним столом, друг напротив друга, сидят Константин Кириллович Орон-Гессе и крестьянин Проконий Архипович Федоров, которого еще десять лет назад могли высечь на конюшне, который не знает куда деть свои огромные руки, который от неловкости, от того, что от него пахнет дегтем и лошадиным потом, постоянно утирает со лба испарину тыльной стороной ладони.

Через год после начала своей работы Вельская земская управа пересчитала скот в уезде. Выходило, что на каждого жителя уезда приходилось чуть больше чем по половинке коровы, чуть меньше, чем по половинке овцы и примерно по шестьдесят два свиных пятачка. Или меньше, если свинья худосочная.

К семидесятому году количество каменных домов в Вельске удвоилось – их стало два, и оба этих дома были казенными. В городе и уезде стало меньше умирать новорожденных и детей до пяти лет – не семьдесят процентов, как десять лет назад, а пятьдесят четыре.

Через два года заработала узкоколейка Вологда – Ярославль. От Вельска до Вологды и теперь на машине четыре с половиной часа езды, а тогда двенадцать почтовых станций и тридцать шесть часов летом и зимой, а весной и осенью – полных двое суток, если скакать безостановочно. Пока до Вологды доедешь – всю душу из тебя вытрясут дорожные кочки и ухабы. Выйдешь нетвердыми ногами из коляски, или брички, или тарантаса и подумаешь: «Да провались он пропадом, этот Ярославль!» – и все деньги прокутишь в Вологде.

Между тем узкоколейку тянули из Вологды дальше на север – к Архангельску. Вельские власти и местное купечество стали обивать нужные пороги, добиваясь, чтобы железная дорога прошла через Вельск. Увы... Пороги оказались неприступными. Дорогу провели на сто двадцать верст западнее – через Коношу. Пришлось Вельскому земству строить грунтовую дорогу с шестью почтовыми станциями до Коноши. Только в девятьсот сорок втором году через Вельск прошла железная дорога на Котлас и Воркуту.

В середине восьмидесятых вологодский губернатор разрешил вельским властям открыть в городе первую публичную библиотеку. Через полтора десятка лет в нее было записано более двухсот вельчан. Из этого количества читателей больше всего было не дворян, не чиновников, не священников и купцов, а крестьян – почти шесть десятков человек. Дворяне и чиновники были на втором месте, мещане на третьем, священники на четвертом. Купцы в библиотеку ходить не любили – их записалось всего четверо. Надо сказать, что в Вельске, в котором к концу девятнадцатого века проживало почти две тысячи человек, восемьдесят процентов мужчин и почти половина женщин были грамотными. В уезде грамотных мужчин было всего тридцать семь процентов, а грамотных женщин и вовсе шесть процентов.

В те же годы Вельск стал местом политической ссылки. Правда, присылали в него и раньше людей, с точки зрения властей, неблагонадежных. Первым ссыльным в Вельске, в шестьдесят шестом году, стал революционер-народник и один из организаторов хождения интеллигенции в народ Порфирий Войноральский, высланный сюда за участие в студенческих беспорядках. В Вельске Войноральский пробыл недолго – полиция обнаружила его тайную переписку с другими, такими же как он, неблагонадежными и сначала отправила под домашний арест, а потом, в том же году, подальше на север – в Пинегу. В девяносто четвертом в Вельск на пять лет прислали в административную ссылку Петра Моисеенко – организатора знаменитой Морозовской стачки. Видимо, Моисеенко ни с кем не вел тайной революционной переписки, и потому все пять лет ссылки провел в Вельске, а не был услан подальше на Север. Может потому, что находился в ссылке вместе с женой. Скорее всего потому, что Моисеенко был прекрасным столяром-краснодеревщиком и в Вельске имел много заказов на изготовление мебели. Власти и вообще предлагали ему осесть в Вельске и даже предлагали выделить землю и построить дом, но...

Если не рассказывать о спичечном заводе купца Буторова в деревне Рябово, о бумажно-оберточной фабрике купца Кудрина и о винокуренном заводе купца Попова, если не писать о фельдшерской школе, открытой в девяносто пятом году губернским земством, о том, что в Никифоровской волости Вельского уезда только за лето этого же года медведи и волки задрали пять лошадей, шестнадцать жеребят, шесть коров, двадцать телят и почти сорок овец, о том, что охотники этой же волости убили шесть медведей, восемь волков и два десятка лисиц, о количестве мальчиков и девочек, учащихся в церковно-приходских училищах и земских школах, о расходах на пожарную команду, о тридцати шести керосиновых фонарях, освещавших к тому времени Вельск, о посевах ржи и льна, об урожаях гороха и овса, о ценах на лен, о том, что умирали чаще всего от воспаления легких, туберкулеза и желудочных заболеваний, то... больше рассказать о последних десятилетиях девятнадцатого века в Вельске, пожалуй, и нечего.

Первые годы двадцатого века были продолжением девятнадцатого – курили смолу, заготавливали лес, били зверя и птицу, сеяли рожь, лен, горох и овес. В девятьсот первом году в Вельске появились первые саженцы яблонь. Привез саженцы купец первой гильдии Конон Вонифатьевич Попов. До начала двадцатого века своих яблок в городе и уезде не было. Да и других плодовых культур тоже не было. Считалось, что в таком суровом климате яблоки могут быть только земляными.

В девятьсот четвертом девятнадцатый век закончился и русско-японской войной начался двадцатый. Тридцать шесть вельчан вернулись с нее Георгиевскими кавалерами. В мае девятьсот шестого года у здания управления удельного округа собралась толпа, состоящая из пятисот удельных крестьян. Последние восемьсот лет они не выдвигали экономических требований, а тут на тебе... Еще и угрожали захватить удельные земли и уничтожить удельные управления. Переговоры результатов не дали, и управляющему удельным округом пришлось удовлетворить требования крестьян. Ну, а потом, когда уже было поздно и не нужно, вологодский губернатор на всякий случай отправил в Вельск походным порядком две роты солдат Моршанского полка. Через неделю они туда дошли...

Волнения утихли, но ровно через год, в мае, Вельская группа РСДП выпустила первую листовку. Несмотря на то, что появились десятки сельских потребительских обществ и кредитных

товариществ, увеличилось количество плугов, борон и железных зубьев на боронах, большевики уже не могли перестать быть и выпускать свои листовки. Кстати, о железных зубьях. По переписи девятьсот седьмого года на весь уезд приходилось сорок три плуга и сто семь борон с железными зубьями. На сто двадцать тысяч населения. Те, кто не имел плуга, пользовались деревянными сохами. И коровами, которые давали молоко, как козы¹⁵. Как тут было не завестись большевикам... Тем более что в Вельск все прибывали и прибывали политические ссыльные. В девятьсот седьмому году их было около шестидесяти, в седьмом – двести с небольшим, а в восьмом – уже триста. Правда, среди них были и анархисты, и эсеры, и меньшевики, и беспартийные. Правда, в десятом и одиннадцатом годах большая их часть разъехалась, но ячейка РСДРП осталась.

Кстати сказать, не все разъехалось – некоторые разбежались. Так, в ноябре тринадцатого года бежал из ссылки, в которой находился уже два года, большевик Павел Бляхин. Можно было бы его и не вспоминать, кабы он потом не стал писателем и не написал повесть «Красные дьяволята», которую теперь уже мало кто помнит. Еще меньше помнят одноименный фильм начала двадцатых годов, пользовавшийся в то время огромным успехом у публики. Помнят только фильм «Неуловимые мстители», который был снят тоже по этой повести.

Между тем Вельск точно чувствовал, что мирной жизни осталось у него всего несколько лет, и бурно, насколько это было возможно в России и в Вологодской губернии в начале двадцатого века, развивался – в городе и уезде работали кожевенный и пивоваренный заводы, десятки скипидаро-очистительных и канифолеваренных, более пяти тысяч смолокурных печей, восемьдесят одна школа, сто двадцать восемь учителей, четыре больницы, шесть врачей, полтора десятка акушеров и повивальных бабок, четыре раза в неделю уходила на железнодорожную станцию Коноша почта, в городской библиотеке, выписывавшей «Вестник Европы», «Сатирикон» и «Русское богатство», количество читателей перевалило за триста человек, дамское благотворительное общество на одних только любительских спектаклях в девятьсот седьмом году заработало три с половиной сотни рублей и передало их Вельскому приюту, работал кинематограф «Рекорд», организовано общество «Попечительство о народной трезвости» был построен деревянный мост через реку Вель... но железной дороги не было, а в ней была острая нужда. Открываемые местными промышленниками и купцами предприятия гибли на корню, поскольку сбывать местную продукцию приходилось перекупщикам задешево, а все привозное покупать вдвое дороже. В восьмом году Вельское уездное земство обратилось к губернским властям с просьбой рассмотреть вопрос о строительстве железной дороги от Вельска до Коноши, но губернатор отказал, поскольку правительство не планировало строительство такой ветки, а частных инвесторов не было. Через пять лет снова собрали бумаги с обоснованиями, создали комиссию по вопросу строительства, посчитали сколько десятков и сотен тысяч пудов смолы, зерна, керосина, скипидара, канифоли, мануфактуры, железа, чая и сахара перевезут по новой дороге, составили подробную «Записку об экономическом значении проектируемого к устройству железнодорожного пути от г. Вельска к ст. Няндомы», отослали ее в Москву и... тут началась Первая мировая война и эпидемия сибирской язвы. С эпидемией справились уже к осени четырнадцатого года, а с войной все обстояло сложнее. Известие о начале войны дошло до Вельска лишь через неделю. Верующие собрались в городском соборе и настоятель зачитал им высочайший манифест, потом отслужили молебен, потом певчие спели гимн, потом с портретами Николая Второго и пением гимна ходили по Вельску, останавливаясь в разных местах для того, чтобы выслушивать патриотические речи и кричать ура, потом закрыли по распоряжению императора винные лавки, потом, после того как мужчины ушли и побросали посевы до срока, сократились посевы ржи и пшеницы, упали заработки на промыслах...

Известие о февральской революции в Петрограде пришло в Вельск пятого марта, а за два дня до этого вологодский губернатор телеграфировал всем уездным исправникам, что подчиняется постановлению Временного правительства слагает с себя все полномочия по управлению губернией¹⁶. Шестого создали временный комитет, куда вошли представители земства, чинов-

ники удельного округа и духовенство. Председателя земского собрания избрали в председатели комитета. Решили издавать «Вельскую народную газету», первый номер которой вышел уже через три недели. Редактором назначили эсера Николая Васильевского. Наверное, ходили по улицам Вельска с лозунгами «Да здравствует республика» и «Долой войну», пели «Вихри враждебные...», останавливаясь в разных местах для того, чтобы выслушать революционные речи и кричать ура.

К ноябрю, когда со спичками, солью, мылом и керосином начались перебои, в Вельске и уезде прошли выборы в Учредительное собрание. Девяносто четыре процента голосов набрали эсеры. Остальные шесть процентов поделили между собой еще четыре партии. Большевики конечно были, правда, для того чтобы их увидеть в списках, надо было надевать очки, но... в конце декабря семнадцатого года в Вельске был получен декрет уже Советской власти об упразднении всех сословий и чинов. Все объявлялись гражданами.

До марта восемнадцатого года все было тихо, а первого марта Советская власть провела в Вельске первый съезд Советов крестьянских депутатов. Заседали делегаты съезда целых шестнадцать дней. Приняли дела у старой власти, сформировали новую в виде уисполкома, признали Совнарком, ликвидировали земство и городское самоуправление. Не откладывая дела в долгий ящик, в ночь на второе марта разоружили городскую воинскую команду и вывезли из казармы все оружие. Заодно конфисковали оружие у чиновников удельного округа и земской управы. Тут же из добровольцев создали отряд Красной гвардии. В конце мая и начале июня прошел уездный съезд Советов. Эсера на посту редактора газеты убрали, а осенью уисполком газету и вовсе закрыл. Правда, через четыре дня открыл снова, но называлась она уже «Революционный набат» и была органом Вельского комитета РКП(б). Между прочим, среди пятнадцати членов Уисполкома было всего семь коммунистов и сочувствующих. Остальные были левыми эсерами и беспартийными.

Новая власть начала с национализации каменных домов для собственных нужд. Новорожденным советским чиновникам из многочисленных отделов Вельского уисполкома, суда, общественных организаций нужны были помещения. Помещений катастрофически не хватало. Старая власть обходилась гораздо меньшим количеством чиновников. В июле создали комиссию по национализации частных домов и квартир. Стали национализировать или, попросту говоря, отбирать у владельцев дома и квартиры. Владельцы стали жаловаться и судиться с новой властью, а новая власть в феврале девятнадцатого года поручила комиссии представить список лиц, которых можно было бы беспрепятственно выселить из Вельска. Пока список составлялся, чиновники уже занимали дома и квартиры купцов, священников и мещан. Многочисленные отделы уисполкома, уездная милиция, госпиталь и вновь образованные школы занимались тем, что переезжали из дома в дом, пытаясь угнездиться, и воевали между собой за каждую квартиру. И это при том, что в Вельске к тому времени было всего десять каменных домов и четыре с половиной сотни деревянных. И это при том, что Гражданскую войну никто не отрицал, при том, что в Архангельске были англичане, а в соседнем Шенкурске, отстоявшем от Вельска всего на сто сорок километров севернее, стояли части белых и американцев, при том, что линия фронта проходила в тридцати километрах от Вельска.

Седьмого августа в Вельске был создан ревком и объявлено военное положение в городе и в радиусе семь верст вокруг него. Ревкома оказалось недостаточно, и политработники Важского фронта создали партийный комитет, который постановил газету «Революционный набат» переименовать в «Красный набат». Для защиты Вельска и уезда создали отряд из членов Совета и советских служащих. В конце августа обстановка на Вельско-Шенкурском направлении так накалилась, что власти отдали приказ об эвакуации всех советских учреждений из Вельска.

Пока части Красной Армии отбивали у белых и американцев Шенкурск, Вельский уисполком к первой годовщине событий семнадцатого года принял решение переименовать улицы Дворянскую в Советскую, Покровскую в Октябрьскую, Посадскую в Революционную, Троицкую в улицу

Свободы, а Троицкую площадь в площадь Свободы. Они и сейчас так называются. Само собой, что прибавились к ним улицы Дзержинского, Карла Маркса, Комсомольская...

В середине февраля девятнадцатого, когда белых и американцев отогнали от Шенкурска, в Вельске прошел первый съезд учителей, признающих Советскую власть. Учителя покаялись, признали ошибки и призвали остальных учителей быть лояльнее к новой власти и больше доверять правительству. Вообще общественная жизнь в городе кипела и пенилась так, что обыватель с тоской и умилением вспоминал годы и десятилетия, в течение которых в Вельске не происходило ровным счетом ничего. В конце февраля собралась молодежь и постановила образовать ячейку Российского Коммунистического Союза молодежи, а в начале марта прошла первая уездная партийная конференция. Понятно какой партии. В конце марта в городском молодежном клубе уже собрались первые комсомольцы, отправившие вождю мирового пролетариата телеграмму, в которой сообщалось, что «Вельская молодежь организовалась сегодня в Союз молодежи и открыла клуб Вашего имени. Шлет Вам коммунистический привет»¹⁷. В октябре прошла первая конференция женщин-пролетарок. Женщины-пролетарки создали женский Совет и организовали женское движение в волостях Вельского уезда. Тогда же, в девятнадцатом, был создан Вельский краеведческий музей на основе собрания предметов старины местного крестьянина – иконописца и краеведа Василия Феоктистовича Кулакова. Строго говоря, уникальную коллекцию Кулакова, уездные власти за год до открытия музея национализировали – боялись, что заберут ее в Вологду и Вельск ее не увидит никогда. Нельзя сказать, что власти уезда боялись зря.

Кстати, об уездной партийной конференции. Один из ее делегатов, некто Быков, предложил вскрыть и осмотреть мощи св. праведного Прокопия Устьянского – местнотчтимого святого. Мощи эти лежали в церкви села Бестужево одноименной волости Вельского уезда. Быков настаивал на том, что «надо прекратить дурачение масс». Его поддержали другие делегаты со словами «фанатизм должен быть рассеян, хотя бы и с жертвами». Были, правда, и сомневающиеся... Вернее, был всего один делегат. Он был, конечно, не против, но учитывая «темноту масс» и накаленность обстановки... Никто его и слушать не стал. Не стали слушать даже председателя Вельского уисполкома, который знал лучше других, как «темные массы» относятся не только к атеистам, но и к продрозверстке, трудовой повинности и новой власти вообще. Председателя заклеили трусом и соглашателем. Мгновенно создали комиссию по вскрытию мощей, и та уже через четыре дня после окончания конференции прибыла в село Бестужево, где мощи вскрыла, засвидетельствовала, что мощи истлели, сфотографировала их, а фотографии разослала по уезду. Фотографии не только не «рассеяли фанатизм», но произвели совершенно обратный эффект. Когда через три недели власти решили гроб с мощами из села увезти, их встретила полуторатысячная толпа возбужденных крестьян. Агитатора из Вельска разоружили и избили. Выстрелы в воздух не помогли. Бестужевцы направились к волисполкому, где намеревались отобрать лошадей у прибывших за мощами. По пути крестьяне освободили из-под ареста кулака, арестованного за спекуляцию. Дело принимало нехороший оборот. Только тогда, когда командир отряда, заведующий агитационным отдела уисполкома Истомин пообещал немедленно уехать, а мощи оставить, народ стал успокаиваться. Правда, после отъезда солдат сельчане все же добрались до волисполкома, и женщины немного... поговорили с членом комиссии по раскладке чрезвычайного налога, а уж потом разошлись по домам. Мощи в церкви с этого момента круглосуточно охраняли тридцать человек с берданками.

Власть, однако, закусила удила. Решено было послать за мощами второй отряд красноармейцев, объявить Бестужевскую волость и соседнюю с ней Никольскую на осадном положении, передать в них власть военно-революционному комитету, арестовать зачинщиков, священников, мощи забрать, привезти в Вельск на всеобщее обозрение, и просить Вологодский губисполком о военной помощи. Крестьяне тоже не собирались сидеть сложа руки и... К счастью, удалось договориться. Власть пообещала мощи не забирать, а крестьяне пообещали вернуть уисполкому оружие, отобранное у приезжавшего к ним отряда и не трогать комиссию по раскладке чрезвычайного налога.

Мощи св. праведного Прокопия Устьянского пролежали в церкви села Бестужево до января тридцать девятого года. В январе тридцать девятого их сожгли по инициативе «Союза воинствующих безбожников». Сожгли прямо за селом. На дворе стоял тридцать девятый год, а не девятнадцатый. Опасно было даже подумать о том, чтобы собраться толпой возле церкви.

И еще. В Вельском краеведческом музее хранится икона, написанная Василием Феоктистовичем Кулаковым. Она не из бестужевской церкви, а из другой, разрушенной в тридцатые годы. Ее уже в двадцать первом веке передали в дар музею. На иконе, изображающей преподобного Симеона Столпника и великомучеников Георгия и Пантелеимона, выколоты глаза у всех троих.

В девятнадцатом году, в самый разгар боевых действий, вельский уисполком стал добиваться от центральных властей соединения Вельска со станцией Коноша на железной дороге в Архангельск. Достали из архива и отряхнули от пыли «Записку об экономическом значении проектируемого к устройству железнодорожного пути от г. Вельска к ст. Няндому», перепечатали титульный лист, исправили «ст. Няндому» на «ст. Коноша», печати с двуглавыми орлами заменили печатями с серпами и молотами и... снова отказ. Сначала надо было отбить у белых железную дорогу к Архангельску, а уж потом строить ветку от Коноши до Вельска.

В феврале двадцатого года последние англичане покинули Архангельск, а через год, в середине марта, началось восстание крестьян Вельского уезда под лозунгом «Советы без коммунистов». Катализатором крестьянских волнений, как и во многих уездах и губерниях, послужила подрозверстка. Крестьяне из разных волостей числом не менее трех-четырёх тысяч человек двумя колоннами двинулись на Вельск. Толпа из пятисот крестьян даже зашла в Вельск, захватила почту, телеграф и отобрала оружие у почтальонов. Власти эту толпу смогли разоружить, оружие отобрать, а самих крестьян выгнать из города. Основные силы повстанцев были встречены залповым огнем. Часть крестьян, понеся потери убитыми и ранеными, повернула обратно. Тем не менее в нескольких волостях советскую власть изгнали, и крестьяне установили свою. Продержалась она недолго – уже девятнадцатого марта на подмогу властям в Вельск прибыл отряд коммунистов из Шенкурска, а в село Верховажье – отряд из Тотмы. Из Вологды прибыл еще один отряд. Двадцать седьмого марта все было кончено. Шесть организаторов восстания и пятнадцать командиров крестьянских отрядов были расстреляны, а около полутысячи человек были приговорены к разным тюремным срокам.

В том же году, но уже в августе, Совет труда и обороны предписывает создать в Архангельске трест «Северолес». С этого момента участь Вельска, как писали в старых романах, была решена – его судьба связывается с заготовкой и обработкой леса. В Вельском районе организовываются три лесных района, переименованных потом в леспромхозы.

Мало-помалу начинает налаживаться мирная советская жизнь. В двадцать втором решают строить электростанцию. Открываются десятки потребительских кооперативов, кредитных товариществ и промысловых артелей. Открывается сельскохозяйственный техникум и более пятидесяти школ ликбеза. Даже коров стало больше на пять процентов, чем в шестнадцатом году. По-прежнему заготавливали смолу, канифоль, скипидар, пек, деготь и сажу. Только делали это уже не смолокуры-одиночки, и не артели, а Вельский смолокуз из этих смолокуров и состоявший. В мае двадцать пятого года в уезде объединились двадцать четыре крестьянских хозяйства и создали первое товарищество по обработке земли. Буквально через месяц новое товарищество купило новый трактор «Фордзон» и новую паровую мельницу. Вельский отдел культуры приобрел две кинопередвижки, и киномеханики поехали по деревням показывать «Закройщика из Торжка», «Аэлиту» и «Броненосца «Потемкина»».

Первого мая двадцать шестого года на площади Свободы открыли памятник Ленину. Больше полувека вокруг него водили хороводы коммунисты и беспартийные – шли мимо него с транспарантами, на которых было написано «Миру – мир», «Народ и партия едины», «Летайте самолетами аэрофлота», «Не канифольте нам мозги!» (потомственные смолокуры... их не исправить), махали красными флажками, пели «Катюшу» и кричали ура. Потом памятник, а он представлял

собой скромный бюст без кепки, перенесли в другое, более скромное место. В восьмидесятом году на том же месте на том же постаменте поставили алюминиевого вождя с поднятой вверх рукой. Алюминиевый Ильич простоял двенадцать лет. Он бы и еще простоял, но в марте девяносто второго поздно вечером кто-то Ленина взорвал. Разнесло старика на мелкие кусочки. Так и не нашли тех, кто это сделал. Может, и не искали. Пять лет после взрыва коммунисты пилой с мелкими зубьями пилили власти, чтобы им поставили на площади новый памятник. Им поставили. Вернее, привезли из Онеги, в которой чисто случайно завалилось два совершенно одинаковых. Бронзовый Ленин и стоит теперь на площади, которая называется площадью Ленина.

Вернемся в середину двадцатых. Средняя зарплата в Вельске была тогда сорок девять рублей в месяц. При том, что килограмм белого хлеба стоил двадцать копеек, а килограмм селедок – около сорока, килограмм сахара – семьдесят девять, и почти столько же стоил килограмм вареной колбасы первого сорта. Ржаную муку и вовсе можно было купить по шесть копеек за килограмм. Дорого обходилось топленое масло – полтора рубля за килограмм. Если оно, конечно, было в продаже. Зато килограмм монпансье стоил всего девяносто копеек. С одной стороны, жить стало... а еще дрова, а еще одежда, а еще лекарства... Тут уж не до монпансье. Одно хорошо – в Вельске не нужно было ехать на службу и обратно – до всего можно было дойти пешком. Кстати, о службе. По сравнению с двадцатым годом в три раза выросло количество растратчиков. На монпансье им, что ли, не хватало... Больше всего, однако, жителей Вельска и уезда в двадцатые годы привлекали к ответственности не за растрату казенных денег, а за самовольную рубку леса, самогоноварение и злостную неуплату налогов.

По итогам переписи двадцать шестого года в Вельске проживало почти три с половиной тысячи человек. На это количество жителей приходилось тридцать пять лошадей, сто коров, полсотни свиней и семьдесят овец. Если поделить количество коров, свиней и овец на количество жителей, то по половинке коровы и овцы, как в семидесятых годах девятнадцатого века, уже не получится, а в свиных пяточках выйдет и вовсе одно расстройство – по два десятка пяточков на каждого. Конечно, можно исключить стариков, старух и грудных младенцев – им все равно не прожевать, но по шестьдесят два пяточка все равно вряд ли выйдет. Зато в двадцать восьмом году в уезде уже не осталось сох – их вытеснили плуги.

В январе двадцать девятого упразднили губернии, уезды и волости. Упраздненная Вологодская губерния, в составе которой был упраздненный Вельский уезд, вошла в Северный край, центром которого ВЦИК назначил Архангельск. Через полгода из того, что было Вельским уездом, сделали три района – Вельский, Верховажский и Устьянский, а еще через год из того, что осталось от Вельского уезда и называлось Вельским районом, был выделен еще и Коношский район. В тридцать шестом году Северный край упразднили и на его территории образовали Северную область, в которую вошел Вельский район. Еще через год упразднили и Северную область, и Вельский район, у которого уже ноги отваливались входить и выходить из одной области в другую, вошел наконец в Архангельскую и там остался.

Начало тридцатых прошло в районе под лозунгами: «Две тысячи лесорубов должны быть завтра в лесу. В ударном квартале держать неослабленный темп. Идет штурм боевой. Всем миром в лес. Смело в бой! Даем десятки новых ударных бригад! Уничтожить зияющий разрыв между рубкой и возкой!»...¹⁹ Газета «Вельский лесоруб», в которой печатались эти лозунги, настойчиво агитировала крестьян менять плуг на пилу, топор и переходить в рабочие леспромхозов. Расписывала права и льготы, которые они получают, если... Крестьяне сомневались и переходили в рабочие плохо.

В октябре тридцать седьмого Совнарком принял постановление о строительстве Северо-Печорской железной дороги от Котласа до Воркуты. Через три года, в сороковом, новым уточняющим постановлением дорогу удлиннили почти на четыре сотни километров, и она стала идти от Коноши через Вельск на Котлас. Участок Коноша – Котлас строил Северо-Двинский исправительный трудовой лагерь или Севдвинлаг, как его называли в разговорах. Просуществовал он

шесть лет – до сорок шестого года. Штаб Севдвинлага разместили в Вельске. В ноябре сорокового года к месту работ привезли около двух с половиной тысяч заключенных с Дальнего Востока, а к январю сорок первого уже свыше пятнадцати тысяч. Сами заключенные в городе, конечно, не жили – они располагались в лагпунктах через каждые два-три километра по намечаемой линии строительства¹⁵. Дорогу строили с помощью лопат, двуручных пил, топоров, тачек с одним колесом и носилок. Строили ее в общей сложности сорок две тысячи человек. Вельск стал расти – население его увеличивалось за счет приехавших сотрудников НКВД, руководивших Севдвинлагом, технического персонала и вольнонаемных жителей близлежащих сел.

Строили быстро. И это при том, что приходилось заниматься подсобным хозяйством, строить склады и мастерские вдоль будущей магистрали, столовые и даже кирпичный завод. На содержание заключенных денег государство не давало. К концу февраля сорок второго закончили земляное полотно, предварительно вырубив лес и выбрав грунт, а в самом начале марта уже положили рельсы. Седьмого марта в Котлас из Коноши через Вельск пришел первый поезд.

Война пришла в Вельск в первых числах июля сорок первого¹⁶ вместе с эшелонами эвакуированных из прифронтовых областей. В конце месяца пришел эшелон из Ленинградской области – около тысячи человек, из которых было больше сотни детей. Вместе с эвакуированными эшелон привез дизентерию и скарлатину. Первого сентября в Вельске организовали эвакупункт. Эвакуированные, а проще говоря, беженцы приехали в Вельск в летней одежде, поскольку совсем не думали задерживаться там на зиму. К зиме уже должны были победить. Стали они писать в райисполком заявления с просьбой выделить кому обувь детям, кому носки, кому юбку. Льгот не имел никто. Жителей Вельска стали уплотнять, чтобы расселить постоянно прибывающих беженцев. Селили на чердаки, в недостроенные дома, бараки, землянки, пионерские лагеря... Сколько их там было – этих пионерских лагерей в Вельске при населении в шесть с половиной тысяч человек... Часть эвакуированных разместили в селах Вельского района. В сентябре в Вельск прибыл эшелон из Петрозаводска – почти три тысячи человек. Это были большей частью корелы – старики, старухи и дети. По-русски они почти не говорили. В конце августа пришел первый эшелон с эвакуированными из Ленинграда. Это были те, кто успел выбраться из города до начала блокады. В январе сорок второго приехало ленинградское военно-ветеринарное училище. Вот тут же стало страшно по-настоящему. Большая часть личного состава училища умерла в дороге от истощения и болезней. Не считая тех, кто провалился в полыньи и воронки от взрывов при переходе по льду Ладожского озера. Большая часть из тех, что смогли перенести дорогу до Вельска, были дистрофиками и вставать уже не могли – их несли на носилках. Почти все болели дизентерией, туберкулезом, хроническими колитами и реактивными невротами. Их выхаживали¹⁷. Как и тех блокадников, которых привезли в Вельск весной сорок второго. Помогали им дровами, собирали одежду, валенки, хотя сами жили трудно. Летом сорок третьего эвакуированному Государственному Карело-Финскому театру на двадцать два артиста выдали пять пар носков, три платка, три пары туфель, два шарфа и одно полотенце... И эвакуированные, и местные жители заготавливали лес, пиломатериалы, смолу, живицу, деготь, дрова, делали шпалы и обслуживали железную дорогу. Работали везде, где могли найти работу. Без работы можно было умереть от голода. С работой можно было умереть от постоянного недоедания, от непосильного труда, от болезней и от морозов.

Когда в сорок четвертом эвакуированные стали уезжать, городские власти каждому, кто уезжал организованно, эшелонам, выдавали сухой паек на двенадцать суток.

После войны... История Вельска второй половины прошлого века и начала нынешнего удивительна в том смысле, что ничего из построенного во время войны и после нее не развалилось, не разорилось и не прекратило работать по тысяче причин, по которым у нас все разваливается, разоряется и перестает работать. И железная дорога, и леспромхоз, и построенная в сорок девятом огромная лесоперевалочная база, и мясной и молочный комбинаты, и хлебозавод, и асфальтобетонный, и два техникума – сельскохозяйственный и экономический – все это работает, за

исключением птицефабрики, которая сгорела совсем недавно – в пятнадцатом году. Даже время в курантах на городской пожарной каланче течет не быстрее и не медленнее – а ровно так, как и полагается времени в маленьких провинциальных городках – в час по чайной ложке.

Из неувидительного – окончательно разобрали в конце пятидесятых Троицкий собор, который начали разрушать еще в тридцать седьмом. Теперь на соборной площади стоит бутик-отель «Троицкий». Говорят, что хороший. Спасо-Преображенскому собору, стоящему неподалеку от того места, где стоял Троицкий собор, повезло больше – в нем разместили в начале двадцатых Дом культуры. Правда, довольно сильно изуродовали при этом – снесли все пять куполов и понаделали в нем окон в конструктивистском стиле, отчего он стал похож на советский горком партии с алтарной частью. В четырнадцатом году приняли решение собор восстановить, но прежде построить новое здание Дому культуры. Денег, правда, с тех пор на строительство нового здания так и не нашлось, но как найдется – так сразу и... Не тронули только деревянную кладбищенскую церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенную еще при Екатерине Второй. По этому кладбищу я долго бродил и в одном из его заросших бурьяном, крапивой и снытью углов нашел обломок черного гранитного надгробного камня, на котором прочел, что Софья Михайловна Протопопова умерла двадцать первого сентября восемьсот восемьдесят второго года, и уже не мог от этого обломка уйти, а все представлял себе, как она жила в этой глуши, как мерзла зимой от лютых холодов, как не вытаскивала рук из меховой муфты даже дома, как читала выписанные из Вологды журналы, как просыпалась по ночам от воя волков, забредавших на городскую окраину, как толкала ногой храпящего мужа, чтобы он сделал что-нибудь, как дородный муж – чиновник удельного ведомства или даже исправник – только чмокал противными толстыми губами, шевелил толстыми усами и отворачивался к стене... Впрочем, может, она и не читала никаких журналов, а была женой нищего дьячка этой церкви и только зевала до судорог, выглядывая в заметенном снегом окне церковной сторожки редких прохожих или почтовую тройку, едущую по тракту из Вологды в Архангельск. Злые языки поговаривали, да и сам дьячок верил в то, что жена его настоящая ведьма и может закружить...

Тут пошел дождь, и я поехал в гостиницу «Юрьеве подворье», пообедал там ухой из палтуса и трески, запеченной семгой с креветками, выпил рюмку водки, чайник чаю, съел яблочный штрудель с мороженым и, чтобы не уснуть, стал читать газету «Вельские вести», в которой было написано о том, что районная администрация устроила турнир по «ментальной арифметике» среди маленьких и очень маленьких детей, о строительстве нового моста через Вагу, о том, что при поддержке главы Вельского района состоится фестиваль по поплавочной и донной ловле рыбы с берега, о том, что злоумышленник из поселка Тегро-Озеро забрался в чужой дом и съел там всю еду, которую смог найти, а второй залез в баню и украл там алюминиевый бак... На этом месте я все же заснул и во сне все старался вспомнить – зачем я уезжаю из Вельска, где в середине июня цветет сирень, поют соловьи и на тихих улицах пахнет печным дымом, возвращаясь в Москву, где сирень давно отцвела, соловьи не поют, а на шумных улицах пахнет... Так и не вспомнил.

¹ Разграбили, но не все. Кое-что осталось. В шестидесятых годах прошлого столетия нашли в Вельске большой серебряный клад, который зарыл подальше от поляков и казаков кто-то из богатых или даже очень богатых вельчан. Состоит он из множества монет – тех, что называют чешуйками, и украшений.

² И качество этих компонентов было выше. Возьмем, к примеру, канифоль, которой скрипачи натирают перед игрой свои смычки и балерины натирают пуанты. Вы сравните наших скрипачей и финских... То-то и оно. Про балерин и говорить нечего.

И еще о канифоли. Мало кто знает, что прототипом Ваги Колеса в повести Стругацких «Трудно быть богом» был некий Михрютка Канифоль, промышлявший разбоем по берегам Ваги в начале

восемнадцатого века. На самом деле его звали Мишаней, но роста он был маленького, ноги имел кривые и вообще был похож на черта, много болевшего в детстве, а потому и превратился в Михрютку, а Канифолью его прозвали потому, что любил он запах сосновой канифоли и все время носил с собой завернутый в тряпицу ее обломок. Как задумается – так достанет канифоль из порток и нюхает. Происходил Михрютка из государственных крестьян и был смолокуром. Когда пришла ему пора отправляться по царскому указу на строительство Петербурга, взял он свой топор, собрал инструменты в мешок, закинул его за спину и... растворился в тайге. Долго ли, коротко ли, объявилась в важных лесах шайка лихих людей, и предводителем у них... Грабили они купцов, сплавлявших на плотах в Архангельск смолу в двенадцатипудовых бочках. Самых купцов обчищают, товар отберут и отправляют его с верными людьми по той же дороге в Архангельск к обер-комиссару порта Соловьеву, которому самим Петром было предписано «ведать товары царского величества приемом и покупкою, и отпуском заморским». Соловьев, конечно, ведал, но при этом себя не забывал и скупал у Михрютки ворованную смолу задешево, а потом отправлял в Амстердам родному брату, который там ее продавал за настоящую цену вместе с государственной. В те времена на торговлю смолой была казенная монополия, и за торговлю в обход этой монополии по голове не гладили. Горючими слезами плакала по Михрютке и братьям Соловьевым виселица, но Соловьевы были людьми самого Меньшикова, а потому...

Те из ограбленных купцов, которые каким-то чудом оставались в живых, понятное дело, не молчали, а жаловались властям. Власти Вельска... да что они могли сделать, когда в подчинении городского магистрата была лишь инвалидная команда. Из Вологды прислали сикурс под командой драгунского поручика Синюхаева, но Михрюткины разбойники исхитрились завести сикурс в болото. Почти все синюхаевские драгуны, кроме двух человек и самого поручика, утонули, не сделав почти ни одного выстрела. Насилу их еле живых вытащили, раздели до подштанников, вымазали дегтем, вывалили в перьях, связали им руки с ногами, положили в телегу, хлестнули кнутом по спине лошади и отправили в Вельск. Еще и на лбу каждому дегтем нарисовали черную курицу. Знак такой был у банды.

Михрютка, понимая, что после разгрома сикурса и появления Синюхаева в Вельске власти пришлют такой сикурс, который его самого загонит в болото и закует в железа перед тем, как повесить, приказал своим соратникам расходиться, пока не поймали, в разные лесные стороны. Сам же он подался в Архангельск – к своему дружку и деловому партнеру Соловьеву. Тот его законопатил в бочку и на торговой голландской шхуне «Адмирал де Руйтер» переправил в Амстердам, к брату, а уж тот переправил Михрютку в Лондон, к верному человеку, который занимался тем, что деньги, полученные от незаконной торговли хлебом, смолой и пушниной, размещал в английских банках. Вовремя переправил, потому как о темных делах братьев Соловьевых архангельский вице-губернатор написал самому царю и...

Впрочем, к нашей истории это уже не имеет отношения. К нашей истории имеет отношение то, что спустя год или два Михрютка, выучившись английскому, ушел от своего благодетеля, прихватив пару писем Меньшикова на всякий случай и некоторую сумму денег на все оставшиеся случаи. Ушел и в скором времени женился на немолодой, но богатой вдове, которую пленил... Бог его знает, чем может пленить богатую английскую вдову маленький кривоногий мужчина, любящий нюхать основную канифоль (он и в Англии от этой привычки не отказался, только вместо грязной тряпицы носил обломок в изящной табакерке). Наверное, вдова была очень немолода и ее длинный английский нос был украшен бородавкой, а то и еще одной на лбу. Взял Михрютка фамилию жены, поскольку своей у него отродясь не имелось, и на ее же капиталы учредил торговый дом «Майкл Лезерсон и сыновья», хотя никаких сыновей у него от этой старухи и в помине не было, а были только две перезрелые и сухие, как вяленая треска, племянницы – Бетси и Марджи, к которым неутомимый Михрютка... но безуспешно.

И стал торговый дом Майкла Лезерсона продавать самую лучшую в мире русскую канифоль скрипачам и балеринам. Сначала английским, а потом и по всей Европе. Канифоль продавалась в деревянных круглых коробочках из карельской березы. На крышках тех коробочек, которые продавали скрипачам и виолончелистам, был нарисован бурый медведь, играющий на скрипке, а на

тех, которые покупали балерины и балетные танцовщики, был нарисован медведь на пуантах. В двадцатом веке прибавилась еще одна картинка – медведь с паяльником. Канифолью Лезерсона натирал смычок своей скрипки сам Паганини, а в прошлом веке и Хейфец, и Менухин, и Ойстрах. На пуантах Улановой, хранящихся в ее музее-квартире... Впрочем, к нашей истории это уж точно не имеет отношения.

³ Надо сказать, что и с обычными яблоками в Вельске и уезде дело обстояло не лучше. Их начали там выращивать лишь в начале двадцатого века.

⁴ Через двадцать два года упорный Осокин делает вторую попытку организовать училище. Вторую попытку и светские власти и его непосредственное начальство ему просто не разрешили.

⁵ Как раз по другому берегу Ваги и прошел с рыбным обозом в Москву великий Ломоносов. Это нисколько не помешало устроить в Вельске памятную аллею, посвященную трехсотлетию рождения Михаила Васильевича и говорить о том, что он как раз через Вельск прошел в Москву за знаниями. Если в соседнем Шенкурске спросить о том, каким путем Миша... Можно даже и не спрашивать – там сразу вам скажут, что ни через какой Вельск Ломоносов не проходил, а шел по другому берегу Ваги аккуратно через Шенкурск. Ну и ладно. Ну и пусть не проходил. Ленин с Карлом Марксом и Дзержинским здесь тоже не проходили и даже по другому берегу, а их именами в Вельске не то что аллеи – целые улицы и площади названы.

⁶ В краеведческой статье об участии жителей Вельского уезда в Отечественной войне с французами я вычитал, что при подготовке к празднованию столетия победы над Бонапартом Вельский уездный исправник писал в Вологодское губернское правление о том, что «ветеранов Отечественной войны и очевидцев ее, а также и потомков умерших уже ветеранов среди населения г. Вельска и уезда нет». Удивительно не то, что нет ветеранов, а то, что их искали через сто лет. Значит, надеялись найти.

⁷ Цит. по: Алферов М. Ф. Хроника Вельской земли. Вельск, 1985. С.27.

⁸ И не то чтобы сильно уменьшилось население района. Оно уменьшилось, но всего в полтора раза.

⁹ Как писал протоиерей Троицкого собора и один из первых вельских краеведов Виктор Степанович Воронов, одноэтажные дома, из которых состоял город, «не лишены приятного вида и опрятного устройства».

¹⁰ Он и в Российской империи по численности городского населения в 1856 году занимал 657 место среди 678 уездных городов. Интересно, что по удельной доле проживающих в нем дворян Вельск занимал первое место в Вологодской губернии.

¹¹ Цит. по: Алферов М. Ф. Хроника Вельской земли. С.28.

¹² Пек – твердый остаток от перегонки дегтя.

¹³ И сейчас из Архангельска привозят рыбу. Правда, не соленую, а свежемороженую. К сожалению, рынка, на котором могла бы проходить ярмарка, в Вельске уже нет – его задушили сетевые магазины.

¹⁴ В восемьсот девяносто третьем году волостной сход Верховской волости Вельского уезда постановил построить памятник Александру Второму в той деревне, через которую император проехал. Закончить установку памятника планировали аккуратно к сорокалетию этого знаменательного события. Стал собирать деньги и даже дали объявление в губернских газетах о сборе средств на памятник. Собрали около шестисот рублей, составили проект памятника и... тут выяснилось, что на шестьсот рублей его не поставить. Тем все и кончилось. О том, куда подевались собранные деньги, история умалчивает.

¹⁵ Расходы на содержание одной головы рогатого скота по расчетам земской управы были перед первой мировой войной около двадцати рублей в год. И доходы были тоже около двадцати рублей. Доходы превышали расходы на девяносто копеек. Что тут скажешь... Даже если в семье четыре коровы, то доходу от них...

¹⁶ Как вельский исправник, не помня себя, на ватных ногах шел домой после получения этой телеграммы, как смотрел на пьяного мужика, который замер и перестал дышать, увидев его выскоблагородие... Пока замер и пока перестал... Как рассказал об этом жене, как она стала мелко

креститься и плакать, как он прикрикнул на нее, чего никогда себе не позволял, как пошел к себе в кабинет и велел горничной подать водки и какой-нибудь закуски... Через полтора месяца постановлением Временного правительства должности земских исправников упразднили.

¹⁷ Цит. по: Алферов М. Ф. Хроника Вельской земли. С. 77.

¹⁸ Цит. по: Веревкина Г. А. Волнения крестьян Бестужевской волости Вельского уезда весной 1919 г. // Важский край: источниковедение, история, культура: Исследования и материалы. Вып. 2. Вельск, 2004. С. 62.

¹⁹ Цит. по: Шумар М. А. Социалистическое соревнование в лесозаготовительной промышленности Вельского района в 1929-1937 гг. // Сб. статей. Важский край: источниковедение, история, культура. Выпуск 7. Вельск, 2016. С. 110-111.

¹⁵ Один из районов Вельска теперь местные жители называют «гаремом». Когда я спросил экскурсовода в местном краеведческом музее, откуда такое название – мне ответили, что в этом районе города были женские бараки. Впрочем, это больше похоже на легенду. Скорее всего, не было там никаких женских барачков. И женщин тоже не было.

Надо сказать, что в краеведческом музее нет не то чтобы зала, но даже и стенда с экспозицией, посвященной Севдвинлагу и строительству железной дороги от Коноши до Котласа. Да и вообще нет ничего о том периоде в истории Вельска. Оказывается, такая экспозиция была, но ее демонтировали. В музее мне сказали, что мало кто ей интересовался и экскурсий никто не заказывал. Как ни крути, а старинные мушкетеры, блестящие кирасы и резное блюдо из карельской березы, на котором поднесли хлеб-соль Александру Второму выглядят куда привлекательнее, чем фотографии заключенных в телогрейках на лютom морозе или в туче комаров строящих железную дорогу. Все же, готовится целый зал, посвященный истории советского Вельска. В нем, в частности, будут выставлены материалы по истории Севдвинлага и строительства дороги.

¹⁶ В начале июля сорок первого в Ленинграде произошло еще одно событие, имеющее отношение к Вельску. По приговору Военной коллегии Верховного Суда был расстрелян уроженец Вельска, выдающийся советский генетик, заведующий в Ленинградском университете кафедрой генетики растений, которую он сам же и организовал, Георгий Владимирович Карпеченко. Его арестовали еще в феврале сорок первого и обвинили в шпионско-диверсионной деятельности и в открытой борьбе под руководством Вавилова против «передовых методов научно-исследовательской работы и ценнейших достижений академика Лысенко по получению высоких урожаев». Реабилитировали Карпеченко посмертно в пятьдесят шестом. В Вельске о Карпеченко помнят. Его именем названа улица, открыт научно-образовательный центр «Дом Карпеченко», установлен памятник*, и сам генетик посмертно внесен в списки почетных граждан Вельска.

*Стоял я возле памятника Карпеченко во дворе его дома и думал, что представить себе памятник Сталину в Вельске трудно. Практически невозможно. Потом еще постоял, еще подумал и решил, что действительность может быть куда богаче моего воображения и не стоит... Не стоит и все.

¹⁷ Вот что писал в своих воспоминаниях о Вельске зимы сорок второго года Константин Ярунский, в то время курсант Ленинградского военно-ветеринарного училища: «Город Вельск. В начале 1942 года его ещё почти не коснулась война, и жили там сытно и без затемнений. В городе размещалось управление Севдвинлага, то есть Северодвинского лагеря заключённых, и работники управления и служащие, получая паёк или приходя в столовую за обедом, ещё просили дать не очень жирное мясо, без подливки кашу и тому подобное. То есть перебирали заказы. Хлеб был и пшеничный и ржаной и очень белый, и всего сколько угодно. Для нас, выдавших смерть от голода, истощённых, едавших жидкий чёрный хлеб и всякую сколько-нибудь съедобную дрянь, всё это казалось сном, невиданным счастьем, и мы как нищие просили в столовых в первые дни поесть, ходили по домам и нас, правда, привечали, «разбирали» по семьям для подкормки как блокадников. Но это побирушничество скоро запретили как явление, позорящее честь училища».

Елена ЗЕЙФЕРТ

О ПРИРОДЕ ГРАФОМАНИИ,
или Случайный мальчик Свистонов

В каком значении я использую слово «графоман»? Это человек, отличающийся болезненной страстью к сочинительству произведений, но не имеющий к этому способностей и производящий слабую вторичную продукцию, которой он ищет «достойное» место и признание в профессиональном сообществе. Он ждёт высокого признания – вот это сверхважно. Любой человек имеет право писать в стол, для себя, трезво оценивая качество написанного. Любительское творчество (стихи, рисунки, танцы) имеет терапевтический эффект, приносит творящему радость. Но оно не обращено к широкому ценителю, «до востребования», а остаётся в узком, чаще домашнем кругу или публикуется на сайтах самиздата типа Стихи.ру или Проза.ру.

В своей статье я не употребляю слово «графомания» в значении психической болезни, оставляя это русло исследования профессионалам в области психологии и психиатрии. Предлагаю наряду со словом «графоман» применять понятия «эпигон», «минус-величина», а само слово «графоман» в моей статье считать условным обозначением. Моя работа не направлена против отдельных людей, более того, она вообще направлена не против, а за – за качество произведений.

Говоря о графомане как о литературной минус-величине, важно рассуждать не столько о его «произведениях» (хороший критик «творчества» конкретного графомана просто избегает, оставляя его в презрительном молчании), сколько о его поведении. Ибо вне деятельности эпигона его изделия уже не бытуют (впрочем, иногда у графоманов появляются поклонники, не отличающие подлинных вещей от неживых и служащие графоманам после их ухода). Юрий Лотман писал о поведении декабристов, о том, как узнаваемо они вели себя в салонах. Вот и графоман узнаваем по своему поведению.

«Энергичный графоман» не оксюморон, а масло масляное. Ведь он «случайный мальчик» из стихотворения Евгения Евтушенко. Для объяснения достаточно стихотворения автора с прямым меседжем:

*При каждом деле есть случайный мальчик.
Таким судьба таланта не дала,
и к ним с крутой неласковостью мачех
относятся любимые дела.*

Елена Зейферт родилась в 1973 году в Караганде (Казахстан). С 2008 года живёт в Москве. Профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор филологических наук. Автор шести книг стихов, русско-немецкой книги-билдинга «*Namen der Bäume / Имена деревьев*», сборника стихов и прозы «*Малый изборник*», книги прозы «*Сизиф & К°*», книги критики «*Ловец смыслов, или Культурные слои*» и др. Публиковалась в журналах НЛО, «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Литературная учёба», «Новая Юность», «Урал», «Нева», «Крещатик» и др. Предыдущая публикация в «Волге» – «Плавильная лодочка. Карагандинская повесть» (2018, № 9-10). За статью о графомании, публикуемую в этом номере, Елена Зейферт 15 мая 2019 стала лауреатом I степени конкурса на соискание литературной премии «Эхо» Союза российских писателей за критику и эссе (Вологда, 2019).

*Они переживают это остро,
годами бьются за свои права,
но, как и прежде, выглядят незрело
предательски румяные слова.*

*У них за все усердная тревога.
Они живут, сомнений не тая,
и, сынки, они молчать не могут,
когда молчат о чем-то сыновья.*

*Им чужды те, кто лишь покою рады,
кто от себя же убежать не прочь.
Они всей кожей чувствуют, что надо,
но не умеют этому помочь.*

*Когда порою, без толку стараясь,
всё дело бесталанностью губя,
идет на бой за правду бесталанность,
талантливость, мне стыдно за тебя.*

В помощь мне и дар Константина Вагинова, его «Труды и дни Свистонова»:

«Ему захотелось писать. Он взял книгу и стал читать. Свистонов творил не планомерно, не вдруг перед ним появлялся образ мира, не вдруг всё становилось ясно, и не тогда он писал. Напротив, все его вещи возникали из безобразных заметок на полях книг, из украденных сравнений, из умело переписанных страниц, из подслушанных разговоров, из повернутых сплетен.

Свистонов лежал в постели и читал, т. е. писал, так как для него это было одно и то же. Он отмечал красным карандашом абзац, чёрным – в переделанном виде заносил в свою рукопись, он не заботился о смысле целого и связности всего. Связность и смысл появятся потом».

Обозначу важнейшие отличия графомана от одарённого человека (я веду речь о тенденциях, а не о жёстких правилах):

– Графоман в своём «творчестве» питается извне, а одарённый человек изнутри себя, причём его возможности неисчерпаемы. Эпигон способен писать только после «начиток», напивавшись строчками других авторов. Его внутренний ландшафт гол. Он может обложиться и книгами других авторов, и словарями иностранных слов, высекая искры оттуда. Одарённый человек тоже обращается к внешним источникам, но в отличие от графомана пропускает их через себя в акте духовного присвоения. «Чужое слово» (М.Бахтин) не монтируется в ткань произведения, а растёт вместе с ней, являясь её живой частью. У графомана цитата – зола, у одарённого писателя – новое деревце, новая кровеносная система. Заимствования у эпигона варьируются от дурных цитаций до плагиата.

Помню, была расстроена рассказом одного пришедшего ко мне в литературную мастерскую, но немолодого уже литератора-любителя о том, что он пишет, только «начитавшись произведений других авторов». «Мандельштамом я уже насытился, пройденный этап». Другой пример – поэтесса, которая после посещения вечера переводов неделю интенсивно и неважно переводит, после школы сонета – пишет искусственные сонеты, жадно примеряет на себя, как пальто, всевозможные стили, формы, приёмы.

Здесь возможны две параллели: предмет быта и предмет искусства, первый старится и корчится с чужих рук, другой – не стареет и насыщен внутренними истоками, или вторая параллель: кукла и вещь (вещь в философском понимании).

– Графоман очень активен, сверхактивен, он посещает много мероприятий, везде стремится читать свои «вещи». Он «горит душой» за «общее дело». Он не энергичный, заряженный духовностью, но энергичный, активный. Его лицо легко найти на фоторепортажах многих и многих литературных мероприятий, порой за вечер он обходит несколько таких презентаций.

– Одарённый человек, если может, не пишет, графоман пишет всегда.

– Графоман не самокритичен, он уверен в своём голосе и своём даровании. «Критики будущего поймут меня», «у известных художников есть “карманные критики”, а я просто не озабочен их приобретением». Одарённый человек сомневается в своих силах, он всегда на пути к совершенству. Здесь напрашивается другая параллель: сумасшедший, который считает себя здоровым, и нормальный человек, который сомневается в своём здоровье. Из-за отсутствия самокритики графоман не способен создать целиком состоявшееся произведение и убивает даже случайные удачные строки в нём нагромождением неживых конструкций. Художественное произведение настолько талантливо, насколько при его создании у одарённого автора был включён механизм самокритики. Графоман – это сломанный механизм самокритики, он допускает в свои стихи и средние, и откровенно плохие строки, они видятся ему достойными. Минус-величина очень стремится заседать в жюри, учить, проводить мастер-классы – здесь его хлебом не корми, а дай принять участие в «важном», побыть ментором, маэстро.

– В «произведениях» графомана нет гармонии, в то время как в произведениях одарённого человека, как в живом организме, всё взаимосвязано благодаря гармонии. Подлинное произведение целостно, все его уровни и элементы пронизывают друг друга, метафора в нём, к примеру, внутренний скульптор всего произведения, а не вишенка на торте.

– Графоман «творит» без важного дословесного этапа, ибо он не выращивает произведение, а стругает его, как изделие.

– Графоман очень социален, контактен. Он любитель писать произведения на заказ – поздравительные стихи, стихи к датам. После мимолётного знакомства он непременно найдет вас в интернете и зафрендит, если сочтёт, что вы можете быть ему полезны в литературных делах. Возможно, посвятит вам стихи.

– «Произведения» графомана нередко отличаются избыточностью, многословием, его несёт, он не может остановиться. Послесловесное в его «вещах» почти всегда авторское, а не читательское, как в бережных подлинных произведениях.

– Графоман нередко создаёт «вещи», при восприятии которых возникает нежелательный, не заложенный автором комический эффект. Серьёзное стихотворение у графомана похоже, положим, на пародию, а возвышенное – на оскорбительное. Это происходит от стиливой глухоты эпигона.

– Графоман зачастую носитель пафоса, от которого мурашки по коже.

– Графоман считает любую критику в свой адрес травлей, подлинный автор ищет в критике конструктивные моменты и отвергает её, только не найдя их.

– Если одарённому человеку достаточно поставить подпись, состоящую из его литературного имени, то графоман стремится обрасти регалиями и выпячивать их. Он – литературный критик, он – поэт, – он – член всевозможных, чаще сомнительных сообществ.

Перечень отличий можно продолжить. Ещё раз оговорю, что это тенденции, а не правила. Не исключено, что и будущий великий писатель на определённом, ученическом этапе был склонен к графомании. Главное успешно преодолеть этот этап.

«Едино литературное поле или оно разделено на сегменты?» – нередко спрашивают меня студенты. Оно – иерархично. Внутри литературы есть вершинные и массовые авторы, писатели средней руки и минус-имена. Иерархия литературы аксиоматична, и критерий её – дар автора, помноженный на мастерство. Что за критерий такой, скажете вы, он почти неуловим. Кто должен или имеет право оценивать это качество? Читатель и критик как искушённый читатель. И главный судья – время. Без времени не разобраться.

В Москве я живу десять лет и всё время озираюсь и надеюсь на то, что критики совместными усилиями, метафорически говоря, начертят объёмную иерархичную литературную карту. Там можно будет чётко увидеть, кто из крупных авторов незаслуженно обделён вниманием, а кто, находясь в литературной тусовке, по качеству произведений должен обитать и вовсе за пределами искусства. Понятно, что такая карта была бы субъективна, и этих карт было бы столько, сколько её авторов. Но можно было бы сопоставлять созданные критиками ландшафты, рефлексировать, предполагать, спорить. Увы, современная критика зачастую не помнит своей греческой этимологии (критика – «суждение»), вынося навыки яростного русского «оуждения» в фейсбучные баталии. Многие рецензии вовсе не содержат критических замечаний, порой встречается неприятный литературный бартер, когда авторы откровенно пишут рецензии, причём одну за другой, на книги друг друга. Многие боятся всеобщей оценки литературы как ядерной войны (ой, а кто я такой, чтобы судить? ой, а где окажусь я сам?) и сохраняют независимое достоинство – «я не я, и лошадь не моя». Год назад, когда я впервые подняла в прессе вопрос графомании в литературной среде, пики на меня направлены не были, но несколько критикесс провели со мной душе-спасительные беседы о том, как грешно обижать беденьких графоманов, их и так Бог обидел. Я, кстати, незамедлительно поинтересовалась в церкви у своего исповедника, грех это или нет, и он ответил, что как раз поощрять в человеке дар, которого у него нет, – это и есть настоящий грех лжи и раздувания чужой гордыни. Полагаюсь здесь и на мнение ушедшего Кирилла Ковальджи, человека редкостной душевной красоты и доброты. В марте 2017 года на панихиде по нему выступающие говорили и о том, как он строго относился к слабым, «не проплаченным» талантам стихам. Кирилл Владимирович был безупречно добрым и интеллигентнейшим человеком, но никогда не поощрял пустые строки. Важно быть добрым, а не добреньким. Мы обязательно возмутимся плохим таксистом, неумелым врачом, бездарным поваром. Сколько выпустим пара! А за литературных непрофессионалов всегда найдутся желающие вступить. Я хочу читать хорошие книги, лечиться у хороших врачей и есть вкусно приготовленную здоровую пищу. Это странно?

Если нас так страшит днище пирамиды и выросший под ней грибок, то можно усиленно освещать её вершину, чтобы современники, вырастившие гармоничные, полные достоинства поэтические системы, стали индикаторными именами для читателя. Эти авторы растяг слово из дословесного, поэтому их произведения целостны и неповторимы. Для меня эти вершинные имена

– ушедшие Василий Аксёнов, Алексей Парщиков, Фазиль Искандер, Аркадий Драгомощенко, Елена Шварц, ныне здравствующие Виктор Соснора, Анна Глазова, Владимир Аристов, Ольга Седакова, Бахыт Кенжеев, Михаил Айзенберг, Александр Скидан, Василий Бородин и другие авторы. Вершинных имён немало, мне их здесь не перечислить. Кто гений – решит время, не мне решать. Таких будет единицы. О вершинных именах и их атрибуции я напишу отдельную статью, в которой поясню, почему считаю те или иные произведения качественными.

Но почему критику всё же не надеть водолазный костюм и не опуститься к заросшему грибом килю корабля? Хотя один раз. И почистить корабль. Ведь киль уже тянет ко дну.

Я не называла в своей статье имена графоманов. Потому что у них нет имён. Герострату его имя принадлежит не по праву, его надо было забыть. Обстоятельно говорить о творчестве тех или иных минус-величин критику не стоит. Очертить тенденции, не называя имён. И вновь поднаться на палубу корабля.

Я ставлю проблему границ литературы, которые перестали быть болезненными. Мы не увидим на сцене Большого театра любительский балет, а в Третьяковке – картинки самодеятельного художника. Почему литература пускает в свои профессиональные пределы графоманов? Почему критика молчит об их засилье? На одной афише с примой-балериной не окажется самодеятельного танцора, а рядом с именем профессионального литератора вполне может красоваться имя его же эпигона.

Моя цель, конечно, отчаянная – призвать литераторов к более высокой планке самокритики, увидеть границы профессионального и самодеятельного в литературе и не переступать их. Другие виды искусства сберегли себя в этом. Давайте и литературе поможем. В помощь нам читатель. В декабре 2017 года со студентами РГГУ провела занятие в формате баскет-метода: перед ними был рассыпан ворох современных стихотворений без фамилий авторов. На свой взгляд и вкус юные критики обозначали каждое из них как «вершинное произведение», «средней руки», «любительский уровень», «минус-величина». Сейчас изучаю. Иногда все 200 ответов одинаковы.

В перспективе интересно проследить, как расходится и переплетается «художественная графомания» со стилизацией (капитан Лебядкин) и пародией (Козьма Прутков) и как стилизованная графомания преобразуется в приём и входит в большую литературу (один из приёмов у обэриутов).

Уверен, по количеству членов мы быстренько обскочим все остальные Союзы, потому что двери в нашу ОПГ будут открыты и днём и ночью – для авторов книжек тиражом менее 2 экземпляров, для малограмотных рукописей, для тех, кому даже собственные книжки не нужны, кому доставляет удовольствие читать с листка свои творения на каких-нибудь юбилеях, празднествах, торжествах, а гонорар получать аплодисментами от благодарных слушателей, и не надо, конечно, обижать тех, кто публикует свои произведения не только в стенгазетах, но и просто на стенах домов, на заборах и в лифтах. И никакой дискриминации по возрасту, ибо многие начинают писать с большим опозданием; только выйдя на пенсию, они вдруг обнаруживают в себе всю жизнь спавшую, как в берлоге, поэтическую душу. Нечего мелочиться: все – графоманы, и ура!

Со временем, чем чёрт не шутит, мы станем не только ОПГ России, но Всемирной ОПГ! Потому что по всему земному шару мы – масса! А коль масса, то да здравствует мировая графомания! И долой – гении-негении, великие-невеликие, признанные-непризнанные, лауреаты-нелауреаты, графоманы-неграфоманы. Да здравствует абсолютное равенство всех пишущих!

До этой победы, к сожалению, далековато. Но как только наша ОПГ будет зарегистрирована во властных структурах, мы устроим суд над лингвистом Ушаковым. Суд в защиту графоманской чести и достоинства. В Толковом словаре он преподносит нашего брата весьма оскорбительно: графоман – «бездарный, но плодовитый писатель». Ещё оскорбительней его медицинский диагноз, на который он не имеет никакого права, поскольку он профессор филологии, а не психиатрии: «*ggarpho* – пишу и *mania* – сумасшествие как психическое заболевание у лица, лишённого литературных способностей». На каких весах он взвешивал эти способности? Что – в кейсе у профессора лежат эталонные весы для прозы? Или, может быть, в бархатной тряпочке завёрнут камертон для поэтических строк? Как он определяет – относится сие произведение к искусству или нет? Прародители искусства это – иску́с, искушение, соблазн. И сочинительство не худшее из искушений. На память приходит причисляемый к графоманам граф Струйский, однако стихи его нравились Екатерине II, – а попробуйте сказать императрице, что у неё отсутствует литературный вкус! Кое-кто из ревнителей считал поэта Эдуарда Багрицкого преодоленной бездарностью, ну и что? Преодолил ведь всё-таки и остался в истории советской литературы. Уже в наше время знаменитого поэта Бориса Чичибабина называли гениальным графоманом. То есть – и графоман и гений одновременно. Это же превосходно! Вообще, по-моему, людей, не живущих маниями, не существует – меломаны, игроманы, кофеманы, библиоманы, гурманы, ну и графоманы сюда же...

При судебной тяжбе я б обвинил профессора в расизме на почве интеллектуального превосходства, точнее – интеллектуального зазнайства. Как иначе, если он намерен нас-графоманов посадить в психушки? Есть в этой оценке явный профессорский снобизм. Заявляю: большинство из нас нормальные, здоровые люди, и даже не все пьяницы. Заявляю: со временем обидное слово графоман отомрёт, его заменит благородное – графолюб! Это если по-русски, а ещё благороднее по-древнегречески – графoфил! Ведь бывшие гении, которые накатали за свою жизнь под сто и больше томов, разве не плодовитые графoфилы?

Конечно, в семье, как говорится, не без урода, и есть среди тихих, мирных графоманов буйные графоманьяки, вот для них нужны... нет, не психушки, а своего рода медвытрезвители при творческих запоях. И обслуживающим персоналом в литвытрезвителях должны быть критики, и принимать туда на работу врачами и санитарями следует не абы кого, а только критиков бойцовского телосложения. Это памятуя о том, что Хэмингуэй, встретив в издательстве критика, дурно отозвавшегося о его книге, дал ему по морде. Этот бедолага совершил две ошибки: первая – надо было знать, что Хэм отличный боксёр, и писать не ругательную, а хвалебную рецензию, вторая – уж коль ругаешь, так наберись ума подписываться не своей фамилией. Чехов ведь дурного совета давать не будет.

Впрочем, Хэм и другие пишущие американцы нам не указ. У них нет никаких писательских союзов, ассоциаций, объединений. Частники. Кустари-одиночки. У них каждый сам за себя. У нас графоман-одиночка – в поле не воин. Нам драться или плевать привычнее стенка на стенку. Поэтому каждый обязан быть членом среди членов. Кого сейчас книгой удивишь? Никого. Войди в любой книжный магазин – опупеешь. Эвересты! Полтайги уже спилили на графоманию. Давно пора понять, что не книга красит сочинителя, а членский билет. Даже мой любимый Михаил Афанасьевич ошибся, не осудив издевательство Коровьева и Бегемота над ЦДЛовской тёткой:

– Ба! Да ведь это писательский дом! (...) Приятно думать, что под этой крышей скрывается и вызревает целая бездна талантов.

– Вы – писатели? – (...) спросила гражданка.

– Безусловно, – с достоинством ответил Коровьев.

– Ваши удостоверения? – повторила гражданка.

– Прелесть моя... – начал нежно Коровьев.

– Я не прелесть, – перебила его гражданка.

– О, как жалко, – разочарованно сказал Коровьев и продолжал: – (...) Так вот, чтобы убедиться в том, что Достоевский – писатель, неужели же нужно спрашивать у него удостоверение? Да возьмите вы любых пять страниц из любого его романа и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем. Да я полагаю, что у него и удостоверения-то никакого не было! Как ты думаешь? – обратился Коровьев к Бегемоту.

– Пари держу, что не было, – ответил тот, ставя примус на стол (...)

– Ваши удостоверения, граждане, – сказала гражданка.

– Помилуйте, это в конце концов смешно, – не сдавался Коровьев, – вовсе не удостоверением определяется писатель, а тем, что он пишет!

Зачем сторожащей вход тётке читать пять страниц или вообще читать? Её обязанность не пустить в ЦДЛ тех, кто без билета члена СП желает в Центральном Доме литераторов заложить за воротник.

Между прочим, членские билеты тоже временное явление. В ближайшем будущем они будут отменены. Членов Общества писателей-графоманов станут везде пропускать по украшающим грудь орденам и медалям. Награды за какие-то лауреатства уже сейчас появились на писательских пиджаках... Тут, признаюсь, я поотстал от жизни. Делаются эти очень крупные, с блестящими лучами ордена (по красоте подобные тем, какими награждают себя президенты африканских племён) не на монетных дворах из драгметалла, а в подпольных мастерских из пластмассы, и продаются даже не писателям. Одному моему приятелю орден лауреата то ли премии Чехова, то ли Тютчева предлагали купить за двадцать тысяч. Мне тоже предлагали купить место... не на кладбище, а в толстенном гроссбухе, чтобы увидеть своё имя среди мировых писательских звёзд. Отказался. Подумал: по городу ходить таким писаным козырем ещё куда ни шло, а вот как встретят на том свете, когда явишься туда – вся грудь в орденах и со звёздным гроссбухом подмышкой?.. Пушкин с Лермонтовым, как пить дать, пристрелят из своих дуэльных пистолетов, Толстой просто поколотит своей суковатой клюкой, а у Чехова, как известно, давно ружьё на стенке висит.

Литературоведы называли XIX век золотым веком русской литературы, начало XX – серебряным, а вот по отношению к нашему XXI они пока не определились. Сложно это. Сложно потому, что в XX Россия была самой читающей в мире страной, а в XXI стала самой пишущей.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

ВСЕ ТОТ ЖЕ СОН

Георгий Цеплаков. Ангелы и торговля: Сборник стихотворений. – М.: Издательство «СТИХИ», 2018. – 90 с. с илл. – (Серия «Срез». Книжные серии товарищества поэтов «Сибирский тракт». Книга девятая).

«Ангелы и торговля» в аннотации представлены как «первый в русской литературе сборник офисной готической поэзии». И тут же назван лирический герой Георгия Цеплакова – «клерк поэзии». Первое определение кажется забавным, с легким вызовом, который помимо очевидного объявления захвата «новых земель» ненароком добивается снижения градуса возникшего на ровном месте пафоса (понятно, что готики в чистом виде я в книге не обнаружил), второе – поначалу таким же оксюмороном, но сказанным всерьез и оттого тактически менее верным.

На первый взгляд, персонаж ряда стихов в книжке – офисный работник, бывает что фрилансер, но чаще служащий, ему даже сны снятся «всё те же», как какому-нибудь Хворобьеву. И пробуждение не сулит ему ничего нового. С другой стороны, заметно, что перед нами разыгрывается спектакль. Есть если не сквозной сюжет, то общий фон и единая карта по большей части вымышленного, но вполне узнаваемого настоящего обжитого пространства. А со временем дело обстоит гораздо сложнее.

И как на картинах
Моне или Писсарро,
скрываемых по запасникам,
неровный строй
новорожденных живых пятен,
называемых первоклассниками,
расплывчат, невнятен,

деревянно и буратинно,
протыкая собой холст улиц,
под только что выключенными фонарями
движется с букварями.

(«Школьный базар»)

Случается, читая книгу, ловишь себя на ощущении, что в стихах, довольно интересных и искусно сделанных, слышна чужая интонация. Так порой бывает с переводами, даже у набивших руку поэтов. А что если такое замещение является авторским замыслом? Мешает ли это читателю, вредит ли это текстам? Здесь же отчетливо чувствуется, что время действия в стихах немножечко не свое, а как бы взятое напрокат из другой эпохи, использованное в качестве своеобразной подпитки, и к нему подогнаны и повествовательная манера, излишне подробная, с искусственными деталями, проговариваемыми для антуража, и даже ритмический рисунок некоторых текстов, напоминающий то сконструированные ранние баллады Гумилева, то Галчинского в переложении Бродского, то пародии на самого Бродского и на циклы Элиота. Ближе к концу книги присутствует авторизованный перевод известного стихотворения Джона Донна «Прощание, запрещающее скорбь», что только подтверждает общее впечатление.

Похожи наши две души,
Как ножки циркуля в кругу,
Мы вместе двигаться спешим –
Ты в центре, я черчу дугу.
...

И где б мне быть ни довелось,
Ты сможешь линию замкнуть
И сохранить недвижной ось,
Чтоб я, начав, окончил путь.

(«Прощание, запрещающее скорбь»)

Получается, что «клерк поэзии» герой не столько лирический, сколько герой маскарадный, ряженный. И якобы точная прописка его «радости из-за угла», «тщательно сдерживаемого гнева», «плохо скрываемого страха», «ликования, запрещающего печаль» (названия разделов сборника) в «эмоциональном аду рядового жителя среднего класса» (опять-таки цитата из аннотации) – хорошо продуманная легенда для исследователя наполовину волшебного офисного мирка или, попросту говоря, шпиона.

Шпион этот вероятнее всего родом из Старого Света, см. «Мимолетные воспоминания», «Школьный базар», «Чернильный Четверг», да и другие стихи из сборника, откуда эта предзакатная атмосфера начала прошлого века, в которой барахтаются и тонут персонажи и события нулевых уже нынешнего тысячелетия.

Как актеры детских сказок черно-белых,
Или ветераны наступлений смелых,
Через десять лет иль через пять
Олигархи станут умирать.

На последних яхтах, чинно, друг за другом
В Реку Смерти съедут дружным
длинным цугом,
Флаг поднимут белый в лондонских
туманах,
И пойдут поминки в гулких ресторанах.

(«Мимолетные воспоминания»)

Отсюда и кинематографическая эпичность выстраиваемой картинки, где мертвая туша почти что библейского чудовища, бегемота по кличке Алмаз в екатеринбургском зоопарке, превращается в бутафорию на аптекарских весах смены вех («Смотреть на гиппопотама»), заставляя вспомнить носорога из феллиниевского шедевра «И корабль плывет». Звери, впрочем, в текстах появляются часто – и как отсылка к конкретному литературному источнику, и как прием из поэзии нонсенса, но в изводе эрроловской «Алисы».

Новые времена в стихотворениях вроде «О смертности в офисах» не слишком убедительны и пугают, отрабатывая знакомые схемы саспенса на непривычном поле. Выходит, что если рассматривать весь корпус стихотворений в книге как метатекст, получается такой роман в стихах, со всеми признаками и издержками этого жанра, включая смерть авторского «я», трансформированного в безликое «мы».

Ясно небо и пасмурно пополам,
мы безмолвны, красноречивы ноты.
Но в серьёзной и нежной наивности нам
не избавиться от остроты.

Мёрзлый воздух тёплым дыханьем согрет,
небо манит, и мы киваем согласно.
Календарь шелестит, и разницы нет,
день ли красный иль просто вечер
прекрасный.

(«Вот птенец отделяется от гнезда...»)

Луч света из стихотворения «Пролог», прошедший череду превращений, становится булавкой, в финальном тексте приколовшей к стене завершающийся календарь. Все ружья, висевшие на стене, в обязательном порядке стреляют. «Неожиданно кончился пир. / кубик собран, шарик улетел. / Обезьяна дописала «Войну и мир», / Лев зевнул, леденец захрустел».

Андрей ПЕРМЯКОВ

УТЕШАТЬ ГЛАЗА

Лариса Йоонас. Мировое словесное электричество. – Чебоксары: Free Poetry, 2019. – 72 с.

К финалу первой четверти XXI века неожиданно возникла тенденция, казавшаяся почти невозможной. Или невероятной. А именно: вполне умные, талантливые,

много делающие для нашей словесности люди начали ставить под сомнение возможность русского верлибра.

Поводы для подобных высказываний действительно существуют. К примеру, сделанные из уныния и отчаяния текстики двадцатилетних барышень, рассказывающие в столбик о физиологии и патопсихологии этих самых барышень, действительно смешат. И вообще, «верлибристы первыми начали»: это они стали говорить об исчерпанности русского рифмованного стиха и его выпадении из актуальной европейской традиции. Но среди условных новаторов подобными высказываниям обычно баловались эпатажные радикалы, окололитературные тусовщики или просто странноватые личности, а противоверлибристские вещи иногда декларируют люди вполне достойные.

Конечно, такие моменты проще игнорировать – само пройдет. Или уж писать серьёзные работы, излагающие хронологию развития новой отечественной поэтики, её генеалогию, межкультурные связи... Однако бывают книги, делающие подобные исследования не то что бессмысленными, но избыточными¹.

Сборник «Мировое словесное электричество», безусловно, из числа подобных книг. Из книг, одновременно включённых в существующий поэтический контекст и рассказывающих о возможностях его обновления. Вот два текста. Первый – Ларисы Йоонас:

Ставлю «нравится» фотографиям
собак и кошек
как будто они могут это увидеть
заметить меня
привыкнуть и со временем полюбить
удивительно ведь я не жду взаимности
даже от близких людей наверное
это давняя травма

но все равно кажется будто
собираю компанию
тех кто встретит меня там
по другую сторону.

А следующее стихотворение, довольно известное, принадлежит автору, тоже не чуждому вольным размерам, но в данном случае выбравшему регулярный, хотя и нетривиальный ритм. Игорь Шкляревский:

Когда я кормлю бездомных
Собак у моих дверей,
Сосед меня упрекает:
Надо любить людей,
А не собак и кошек...
Птицам насыплю крошек,
Спустятся белки с неба,
Дам бедолагам хлеба.
Я и людей люблю,
Но только разбитым сердцем.
А разумом говорю:
«Годами дымил Освенцим».

Смысл достаточно близок, да. Но говорить о несводимости произведений искусства к их содержанию было бы уж совсем смешным. Это очевидно. А вот вопросы осторожности и доверия, надежды, предательства, единства живого, словом, совершенно разные аспекты бытия, включая, к примеру, абсолютно непохожие типы душевной усталости, высказаны у каждого из поэтов убедительно и неповторимо. Примеры можно умножать, но, кажется, верлибр как расширение возможностей регулярного стиха, как смещение оттенков внутри разговора, вроде бы, сомнений вызывать не должен.

Чуть иная ситуация с гранью между свободным стихом и прозой. Кстати, чаще критики верлибра используют именно такой вариант: «отчего это поделено на строчки?». Или цитируют эпиграмму Пушкина, сочинённую, напомним, не о верлибрических упражнениях, но о белых

¹ Уточню: избыточным становится не исследование русского свободного стиха как состоявшегося явления, но необходимость его легитимизации.

стихах Жуковского: «что, если это проза, / Да и дурная?». Вновь обратимся к книге Йоонас:

Случайно свернешь с тропы
 в чужой дворик
 в нехоженое пространство
 у окраинных домов
 неизвестные растения насекомые
 птицы
 удивительные тени останавливаешься
 осмотреться
 различаешь трещины на штукатурке
 фонари клематисы у дверей
 незнакомый город страна
 неизученное полушарие
 секвойи и платаны роняют листья
 и листья кружат над головой
 и не распознать весна это
 или зима осень или лето.

Прозой это было б уже вполне *недурной*. Беда в другом: продолжать данный нарратив, в сущности, некуда. Потребуется резкий контраст, переход, как в стихотворении Шкляревского, завершающемся Освенцимом. То есть приведённый выше текст окажется лишь введением или эпиграфом. А так, в завершённом виде получается именно стихотворение, содержащее внятное лирическое высказывание.

Бывает иначе. Следующее восьмистишие содержит некий сюжет, вполне подлежащий, казалось бы, прозаическому пересказу:

Письмо словно едва услышанная песня
 пролетающая мимо
 расслабленного уха
 не требующая утомленного внимания
 совсем не то что внезапный звонок
 распинаящий посреди
 сосредоточения
 пригвождающий к действительности
 изнуряющий стоящий напротив
 с распахнутым ртом и голодными
 руками.

Да, в прозе сюжет этот вполне осуществим. Можно передать и тревогу героя, и саспенс, и даже его переживания, вызванные пропущенным звонком. И вернуть повествование с ног на голову, скажем, приведя в финале некое важное письмо, либо заголовок одного. Собственно, такие книги есть. Но они требуют довольно серьёзного многословия. В приведённом же тексте мы, кроме сюжета, легко обнаруживаем формальные признаки поэтического текста: созвучия, внутренние рифмы, анафоры... Но именно – обнаруживаем. То есть находим их в ходе деконструкции стихотворения, пытаясь разложить гармонию на составные части. Суть, понятное дело, ускользает, обнажая технику. Рассчитывать на иное было б самонадеянностью – истинно поэтический текст всё-таки принципиально неделим.

А ещё, помимо лапидарности и концентрации высказывания, помимо иных достоинств, свободный стих обновляет возможности работы с архетипами, неплохо освоенными прозой и регулярным стихом. *Простое великое земледелие / преображение черной земли в светящийся плод* обретает новые краски. Яблоко, катящееся из одного стихотворения книги в другое, остаётся тем самым яблоком, перемещающимся из Библии в народную сказку, становящимся «белым», «сладким», «кособоком», «эстонским», напоминающим «бледную, рыхлую вату». И – лежащим в основании Мира. По крайней мере – авторского мира. Слишком уж много культурных ассоциаций вызывает образ человека с яблоком в руке: от базовых мифов, до, к примеру, Алисы в стране чудес. Недаром же человек этот то увеличивается, вставая в землю Эстонии, то уменьшается, оставаясь, впрочем, на той же земле. И слушает, слушает землю. А она, земля, молчит. Либо мы утратили слух:

неизвестно перестали ли мы
 слышать стрекотание

вечернего луга или он замолчал
или они исчезли
сухокрылые насекомые светлячки
и гибкие ящерицы
или они все говорят на перуанском
несуществующем и потому
неслышном
понятном лишь тому кто пел его
и говорил и умер в нем
и остался в нем и нашел для него
слово.

Тут возникает ещё один момент, указующий на абсурдность противопоставления поэзии, имеющей привычную ритмическую организацию, и свободного стиха. Пожалуй, не самой очевидной, но внятной «рифмой» к текстам «Мирового словесного электричества» будет творчество живущего в Израиле поэта Феликса Чечика. Дело, разумеется, не только в постоянном обращении к малым сим этого мира – насекомым, улиткам, ящерицам и прочей живности. Дело в сходном понимании одиночества, в похожей манере уловления времени, в каких-то нечётко вербализируемых особенностях восприятия действительности. Может быть, играет свою роль обитание в небольших государствах, когда оборот «*ем страну на завтрак*» или ставшее вдруг жульническим определение «*эта страна*» кажутся не признаками нисходительности к месту обитания, а свидетельством взаимной теплоты с маленькой родиной и буквального внутреннего единства.

Разумеется, как и любые самостоятельные поэты, упомянутые авторы обнаруживают куда больше различий, нежели сходства. Да, оба часто обращаются к прошлому, но у Чечика это прошлое недавнее. Он вечно крутит в голове вопрос: мог ли я что-то изменить? Да, время не остановишь, но можно ведь было сделать его более комфортным? Йоонас же если и обращается к прошлому, то весьма радикально:

...все это родилось задолго до того
как даны были названия предметам

и есть возможность просто пропустить
эпоху именования
ощутив себя трилобитом
выползающим на сушу и трубящим
беззвучные торжествующие песни
о покоренной стонущей
обнаженной земле.

Собственно, и текст, давший название книге, довольно противоположен манере Чечика. Автор предполагает замкнуть на себя «мировое словесное электричество», отчаявшись проповедовать рыбам и кипарисам – про людей-то уж и слова нет: зачем им проповедь, когда все всё знают, а ведут себя... ну, в общем, ведут, как и вели? Сентиментализм Йоонас далеко не всеобъемлющ.

При этом стихи книги отчётливо антропоцентричны. И локализованы в довольно прочном мире, неизменном в основах своих. Здесь даже акула вскармливает котят, чтоб те основали новый город. Существование города как оптимального места обитания важнее преходящего существования лирического героя. Герою этому доверено лишь думать о мире, даденном целиком. И в деталях своих тоже даденном ему. Возможности радикально изменить что-либо масштабное на физическом уровне особой не было и нет. Остаётся с грустью наблюдать перемены. Постепенную утрату и старение знакомых объектов. В сочетании со скрупулёзным вниманием к мелочам, с оригинальной техникой стиха и сугубо индивидуальным взглядом на мир, такой подход даёт своеобразный и отчего-то немного восточный взгляд на действительность. Есть в японской культуре понятие «моно-но аварэ» – печальное очарование вещей. Восприятие красоты сущего через хрупкость предметов и постоянное исчезновение их, растворение во времени. Бытие разом полагается вечным в основе и переменным в каждой своей детальке.

От такого (может быть и произвольного вполне) соотнесения стихов Йоонас с поэтикой совершенно иного географически региона возникает иногда странная аберрация восприятия. Невольное сопоставление с техниками, присущими поэтам дальнего-предального Востока. Вот прямо-таки хочется, чтоб стихотворение, где дама вспоминает умершего мужа за обедом из рыбного супа с картофелем и зеленью, оказалось хайку. Хотя это, разумеется, читательский каприз.

Если уж говорить о недостатках книги всерьёз, то они, как в таких случаях водится, являются собой продолжение достоинств. Работа на грани различных типов художественного высказывания предполагает риск, и порой баланс нарушается. Тогда текст становится-таки прозой. Как, например, в стихотворении «От солнца оторвался кусок».

Есть смысловые повторы. Скажем, мысль о необходимости делать, что должен, вопреки кажущейся нелепости бытия, вопреки отсутствию видимого одобрения свыше или откуда-то ещё возникает в книге множество раз. И всё бы ничего, тема-то действительно серьёзная, но есть стихотворение, где об этом сказано крайне убедительно:

После хорошего стихотворения
страшно
вдруг ты не напишешь ничего лучше
или просто не хуже
всякий подвиг на пределе сил рождает
неуверенность
в следующем подвиге и
невозможности соответствия
преодолев болезнь боишься рецидива
пережить который наверняка
не удастся
вставая утром с постели никогда
не бываешь уверен
что завтра сделаешь то же самое
человек исчезает из жизни не получая
вознаграждения
за свои ежеутренние и
ежевечерние подвиги
да что человек – человечество тоже
исчезнет

и пока неизвестно оставит ли
какой-нибудь след
или так и растает в невообразимой
бесконечности
смысл которой в самой бесконечности
если это вообще смысл
с этой точки зрения самое правильное
жить не зря там где все
без сомнения зря.

И вот после этого текста сентенции «*Необходимо жить так как будто это последний день / как будто последнее стихотворение*» или «*нет ничего трагичнее чем уходящее время / на фоне которого счастье ощущается острее*» выглядят избыточными и несколько назидательными. В той же степени и в том же смысле назидательными кажутся стихотворения, точно впрямую излагающие истины, относящиеся более к философии, нежели собственно к поэзии. К примеру, «*Мы никогда не узнаем что происходит когда исчезает свет...*» на протяжении немалого количества строк говорит ровно о том, что Бертран Рассел изложил в своём знаменитом афоризме: «Кто знает, может, письменные столы за нашей спиной превращаются в кенгуру?»

Аналогично, следующий фрагмент являет собой парафраз знаменитой сентенции Людвиг Витгенштейна: «О чём нельзя сказать ясно, о том следует молчать»:

Поэзия единственный язык
которым возможно разговаривать
слепому немому глухому
беспомощному
брошенному в океан бесконечности.

То есть мысль верная, но избыточно очевидная; не предполагающая диалога. Но вопреки таким весьма относительным неудачам, большинство стихотворений книги являют собой настоящую и очень глубокую философию. К примеру:

Я как человек
 усыновленный животными
 усыновленный растениями
 усыновленный валунами посреди поля
 усыновленный воздушным столбом
 высотой в десять километров
 усыновленный безвоздушным
 пространством
 туманностями и звездными
 скоплениями
 всегда буду ребенком
 донашивающим за старшими
 представления
 из которых они выросли.

Вправду точно и нетривиально: валуны, частицы воздуха, «львы, орлы и куропатки, рогатые олени» – кто там ещё был у Константина Треплева – действительно ушли из нынешнего мира в некое малодоступное нам пространство. Только важный момент: они это «они». Некие совокупности. А вот человек, брошенный в сей мир, каждый раз один-единёшенек. Об этом Йоонас тоже пишет часто, разнообразно и, парадоксальным образом, – не повторяясь. Всё-таки, нынешняя культурная ситуация очень неоднородна, и обсуждать её можно самыми разными средствами:

Они пришли и забрали у нас Сократа
 с тех пор мы разучились говорить
 разумные вещи
 а когда отняли Платона
 мы рассыпали все наши раковины
 ни одно имя ничего больше не значит
 знаешь ли ты как называются
 это озеро и этот лес
 ничего удивительного и твое имя
 им неизвестно.

О принципиальном «антиплатонизме» доминирующих ныне течений мысли говорил У. Эко, говорил Э. Левинас, говорил Е.А. Торчинов – да кто только не говорил. Ну, и вот. И оказались мы в досократической ситуации.

Вроде, удивительно свободные, только начать заново-то не получится. Ибо ситуация ещё и докультурная. Или посткультурная – тут уже разницы нет. Словом, теперь «в мире людей не стыдно быть / благодарным стиральной машинке». Люди и вещи уравниваются, создавая друг друга. В некотором смысле так было всегда, но вещи становятся человечнее, а люди... Хотя не будем разжигать. Люди как люди. Только утрата какой бы то ни было уверенности в собственной метафизической правоте испортила их.

Нет-нет, для поэзии такая утрата скорее хороша, как ни цинично это звучит. Есть в стихах Йоонас такая честная, даже не агностицистская, а как бы дорегиозная тоска. Есть дозволение миру уловить себя – при знании о неизбежном с этим миром расставании. Причём расставание это наступит задолго до взаимного познания. Но никаких слёз и скольнибуть явного горя по поводу назначенного расставания в сдержанных стихах нет.

Есть другое: столь пристальное вглядывание в мир, когда зрение становится осязанием. Когда «обивание взгляда» перестаёт быть метафорой. Когда взглядом действительно можно удариться об объект зрения. При этом слух, которому в книге отдано тоже немало места, куда более спокоен в своём слышании то тишины, то музыки. Немоты вокруг мало, а боли для взгляда много.

И ещё. Совсем уже личное. Несколько лет назад, случайно и неопасно лёжа в больнице, я писал рецензию на книгу Вадима Муратханова «Узбекские стихи». И в какой-то момент так захотел плова, салата «Ташкент» и прочего восточного, что отправился в кафе «Чайхана», нарушать госпитальный режим. Воздействие на глубоком, практически бессознательном уровне было очень сильным. И тут вот почти так же. Захотелось увидеть Эстонию. Бывает. Может, после стихотворения «Кясму», может, от общего звука стихов Ларисы Йоонас. Объективно, конечно, этот момент ничего не говорит о том, состоялась книга или нет, а субъективно – ещё как говорит.

Анна САФРОНОВА

КОРОТКАЯ ЗАМЕТКА
О ДОЛГОМ ПРОЕКТЕ

Уйти. Остаться. Жить. Антология Литературных Чтений «Они ушли. Они остались». Т. II (часть I) / Сост.: Б. О. Кутенков, Н. В. Милешкин, Е. В. Семенова. – М.: ЛитГОСТ, 2019. – 388 с.

Уйти. Остаться. Жить. Антология Литературных Чтений «Они ушли. Они остались». Т. II (часть 2) / Сост.: Б. О. Кутенков, Н. В. Милешкин, Е. В. Семенова. – М.: ЛитГОСТ, 2019. – 456 с.

Всегда любопытно задержаться на первой фразе любой книги: она кое-что важное сообщает о предстоящем чтении.

Первая фраза первого тома антологии (2016) принадлежала Борису Кутенкову: «Идея литературных чтений “Они ушли. Они остались” покоилась на трех китах эстетизация смерти, обостренное чувство культуртрегерской совести и нежелание писать кандидатскую диссертацию...» Легко, прекрасно сказано.

Первая фраза второго тома (часть I) – пера Марины Кудимовой, и вот она: «Смерть – одна из ключевых и базовых тем мировой поэзии с древнейших времен». Почувствуйте разницу.

В качестве отступления скажу немножко о первом томе¹ – теперь это особенно легко, впечатления со временем отстоялись. Подобно живой фразе Бориса, выше процитированной, – первый том, как и все живое, противоречив, сочетает иногда кислое с квадратным, иногда в нем находятся странные вещи. Почему, например, такой разноречивой в предисловиях? первую главу открывает Виктор Куллэ, третью главу Лола Звонарева: и тот и другой тексты являются докладами, прочитанными на Чтениях, и присутствие их в книге как

бы логично и нормально, а вот вторую главу – совсем вдруг! – открывает текст Александра Лаврина «Три смерти», который сам по себе, вероятно, хорош, но что он тут делает? Что за странную классификацию предлагает Олег Демидов: «Бардоным был из той породы поэтов, которые чуют нутром и отстаивают такие понятия как совесть, честь и долг. Литературный образ, с которым он выступал, напоминает сразу Байрона, Лермонтова, Гумилева, Симонова, Лимонова. Все – опытные бойцы, прошедшие войну, и галантные кавалеры, пленяющие своим изысканным слогом дивных дам. Бардоном определенно входит в эту компанию».

Многое из критической части первого тома впечатлило – где-то личные впечатления об ушедших, где-то попытка определить значение своего персонажа; многое было новым и неожиданным в представляемых подборках. Многое запомнилось – (Зоя Барзах об Алексее Ильичеве, Данила Давыдов об Анне Горенко, Илья Ненко о Тарасе Трофимове).

Было (и есть) в издании и три копейки авторов «Волги» – стихи Алексея Ильичева публиковались у нас – посмертно, в 2013 году, с подачи Владимира Орлова; есть на страницах антологии Евгений Хорват и послесловие к нему Бориса Клетинича (Евгений Хорват – один из прототипов романа Бориса Клетинича «Мое частное бессмертие», опубликован в «Волге»), печатала «Волга» Алексея Колчева (статья о нем в антологии – Геннадия Каневского), что-то еще.

В первый том антологии вошли авторы, ушедшие из жизни в девяностые, нулевые и десятые годы.

Сочетание мрачного рефрена – утонул, погиб в автокатастрофе, сбит машиной, добровольно ушел из жизни, погиб при невыясненных обстоятельствах, замучен в армии и проч. – со стихами и живыми словами разных людей об авторах – безусловно, это сочетание держало сюжет антологии, заставляя читать ее не как собственно антологию, – а как захватывающий документальный роман о жизни и смерти (ну, или в другом порядке), со многими героями,

¹ Кстати напомнить: первый том антологии на страницах «Волги» (2016, № 11-12) рецензировал Андрей Пермяков: <http://magazines.russ.ru/volga/2016/11-12/pradolzhenie-uvy-sleduet.html>

роман полифонический – и при этом единый – благодаря инициаторам проекта. Но все-таки и как антологию, имеющую справочный аппарат: все публикации снабжены краткими биографиями с перечнем публикаций и фотографиями, сведения об авторах статей даются в конце книги. Нет, правда, указателей, но и количество авторов идет не на сотни, при желании можно пережить. Это «романное» ощущение дает и второй том, особенно вторая его часть.

В первом томе представлен 31 поэт, во втором – 22 в первой части плюс 29 во второй части.

В первой части второго тома прежняя структура сохранилась: есть что-то вроде общего предисловия (вышеупомянутая Марина Кудимова; а в первом томе, помимо Кутенкова, высказались еще трое: Владимир Коркунов, Ирина Медведева, Елена Семенова). Сохранилась и вводная рубрика «Хроника Литературных Чтений “Они ушли. Они остались”» (ее ведет Екатерина Ливи-Монастырская, а в ранее были Дарья Лебедева и Елена Семенова). Вторая часть второго тома обошлась уже без предисловий и послесловий – единственная глава: «Поэты, ушедших в 80-е годы XX века» и сведения об авторах статей.

Глава в первой части также была единственная: «Поэты, умершие в 70-е годы XX века». Есть в этом заголовке что-то от механической информации Википедии, вроде как ссылочка внизу любой именной статьи: Родившиеся такого-то (как и персона) числа... (привет любителям юбилейных постов!) ...Родившиеся в таком-то году... Умершие такого-то числа... Умершие в таком-то году.

Первое, что изумило – наличие имен широко известных, даже в каком-то смысле обретших статус классиков – Николай Рубцов, например, или, скажем, Геннадий Шпаликов. Возможно, это мое заблуждение, но показалось, что такие имена хороши в энциклопедических проектах, претендующих на исчерпывающую полноту. Этот же проект – не супермасштабный, поэтому и хотелось увидеть редкое, малоизвестное. А первая часть второго

тома антологии, условно говоря, обнаружила тяготение к мейнстриму – между тем в предисловии заявлено: «Конечно, главная цель настоящей антологии – показать “подземную” часть литературного процесса определенного временного отрезка и оценить качество этой скрытой части, до поры вынудив из сферы публичности»¹.

Второе изумительное – как под одной обложкой смогли оказаться, к примеру, Леонид Аронзон и Станислав Куняев², который, в частности, пишет: «Я часто думаю о том, что посмертная трагедия Дондока Улзытуева теснейшим образом связана с трагедией гибели Советского Союза. Если бы этой катастрофы не произошло, если бы сословие советских читателей – самых образованных и пытливых среди читателей всех времен и народов – сохранилось...» Ну, и так далее.

Впрочем, выяснилось, что Аронзона в этом выпуске нет: на месте, где должны быть его стихи – оповещение редакции о том, что нет согласия с наследниками и публикации не будет. Зато есть прекрасные статьи о нем Ильи Кукулина и Валерия Шубинского. Редакторы

¹ В тему упомяну рецензию Андрея Полонского, где он делит авторов антологии на три группы: «Первая – это те, чье наследие целостно присутствует в русской словесности, вне зависимости от их субъективной популярности к настоящему моменту и тем более факта “раннего ухода”. Вторая включает стихотворцев, интерес к которым связан исключительно с их ранней смертью и с лирическими воспоминаниями участников литпроцесса. И, наконец, третья, – поэты, чье творчество целиком состоялось, но по тем или иным причинам они оказались слишком быстро и прочно забыты. (...) В принципе, такие антологии имеют в сухом остатке именно “третьих” авторов. И уже это их большое достоинство». <http://textura.club/smutnyj-prosvet-steny/>

² Об этом странном обстоятельстве уже сказал Лев Оборин: «В целом антология повторяет структуру чтений: за стихами почти в каждом случае следует эссе об их авторе – иногда оригинальное, иногда перепечатанное из других источников (так что мы имеем редкую книгу, в которой могут встретиться Илья Кукулин, Станислав Куняев и Дмитрий Быков)». <https://gorky.media/reviews/idem-kogo-tonizvergat/>

корректно дают сноски на первые публикации статей (НЛО и «Знамя») – впрочем, этого правила они придерживаются и в других случаях. А вот не очень понятно, почему в биографической справке нет – обычной для издания – информации библиографического характера, т.е. ни одно издание Л.А. не упомянуто. Хотя возможно, этот упрек неправомерен – информация есть у Ильи Кукулина.

Как и в первом томе, есть много интереснейшего, неожиданного. Например, подборка подборки совершенно не избалованного вниманием читателей и издателей Геннадия Лукомникова¹. Он не так давно начинал выходить на публику благодаря усилиям своего сына, поэта Германа Лукомникова, который как раз очень хорошо известен (фейсбук нам в помощь).

Немного удивила последняя часть книги. Шесть авторов как бы отправлены в резервацию: идут они в содержании общим списком, как бы сами по себе, не включены в общую алфавитную последовательность авторов антологии, а имеют свою. Статьями эти хвостисты (среди которых, между прочим, легендарный Юрий Галансков) не снабжены (это можно понять, вероятно, не нашлось подходящего материала), даны в подбор, а не каждый с отдельной страницы (верстальщика тоже можно понять), но уж в содержании можно было бы

их не скопом обозначить, а по персональной строчке выделить, и каждому, как и предыдущим, даты жизни указать и страницу отдельно, а не на всех одну.

Вторая часть второго тома тоже, увы, завершается «резервацией», как и первая, а начинается книга с культового Башлачева, который дан весьма объемно – сравнительно с другими поэтами. И тут вновь возникает чувство досады, что ли, – ведь именно малоизвестных (и о них) хотелось бы знать больше. Но потрясающе интересно написала о Башлачеве Ольга Балла², и эта статья что-то композиционно уравнивает, как и то, что следом идет – тоже, кстати, довольно объемной подборкой – Василий Бетехтин, о котором известно крайне мало, еще далее тоже неизвестный практически Игорь Бухбиндер (с объемным и содержательным послесловием Александра Маркова), и далее, и далее... Руслан Галимов (послесловие Олега Демидова), Владимир Гоголев (о нем – Ирина Кадочникова) тоже из ряда малоизвестных и малоисследованных, во всяком случае, по сравнению с идущими следом Леонидом Губановым, Николаем Данелия (статьи Ольги Балла и Юрия Орлицкого) и Вадимом Делоне. Весь последующий ряд (за исключением, пожалуй, Евгения Харитонов) – не на слуху (в разной степени), и видеть их отрадно. Как и отрадно существование проекта в целом.

¹ «Волга», кстати, в минувшем году (№ 9-10) – еще до выхода второго тома – отдала свои страницы Борису Кутенкову с тем, чтобы он фрагментарно представил готовящуюся книгу. Помимо вышеупомянутого Геннадия Лукомникова, к нам попали стихи Ефима Зубкова, Владимира Матиевского, Игоря Поглазова, Игоря Бухбиндера, Михаила Фельдмана и Анатолия Кыштымова.

² Очень точно высказалась Юлия Подлубнова: «...в случае Александра Башлачева (особый культурный статус Башлачева подчеркнут объемом публикации) интереснее было читать эссе Ольги Балла о нем, чем непосредственно тексты поэта, которые в силу их немногочисленности и так знакомы»: <https://prochтение.org/reviews/29751>

Алексей ГОЛИЦЫН

«МЫ НЕ ВИДЕЛИ ПРОСВЕТА В НАШЕЙ ЖИЗНИ...»

Арест саратовского художника Александра Скворцова как метод борьбы с голодом в Поволжье

В 1932-1933 годах в Поволжье разразился голод, главное отличие которого от предыдущей трагедии 1921-1922 годов заключалось в том, что причина его была чисто политическая. Принудительные хлебозаготовки, сплошная коллективизация и курс на ускоренную индустриализацию всей страны создали дефицит продовольствия и в относительно благополучном Поволжье. Решения советского правительства предсказуемо привели к массовой гибели людей, особенно в сельской местности, но помогли повсеместно установить колхозный строй. В условиях голода особая роль отводилась репрессивному аппарату, перед которым была поставлена задача полностью зачистить информационное поле, исключив упоминания о голоде даже в бытовых разговорах.

В частности, в Саратове чекисты ликвидировали «контрреволюционную организацию транспортников, ставившую себе целью свержение советской власти, члены которой производили вербовку, собирали с целью шпионажа сведения, осуществляли нелегальную связь с границей и подготавливали террористический акт против тов. Сталина». Однако в реальности, как следует из материалов уголовного дела, немолодые «террористы» были виноваты лишь в том, что, встречаясь за чашкой «элитонского чая», обсуждали между собой причины гуманитарной катастрофы. Это была их специфическая шутка: озеро Эльтон, как известно, в те годы было главным источником соли.

Итак, в феврале 1933 года сотрудниками дорожно-транспортного отдела ОГПУ Рязано-Уральской железной дороги¹ по подозрению в антисоветской агитации и пропаганде были арестованы семь участников «организации». В квартирных «сборищах» участвовали: технические работники РУЖД Александр Львов и Андрей Попов, врач Константин Гаврилов, художники Виталий Гофман², Иван Щеглов³, Александр Скворцов и жена Скворцова Нина Степанова. По мнению чекистов, «группировка состояла исключительно из бывших людей: дворянства, купечества, царских прислужников, крупных домовладельцев и владельцев дачных участков». «Бывшие» ставили себе основную цель – «объединение всех враждебных сил и, в первую очередь, недовольных Соввластью для активной борьбы за свержение Соввласти через вооруженное восстание внутри страны и интервенцию извне».

Александр Скворцов был назначен следователями «вдохновителем и руководителем группировки, вербуя и объединяя в такую идеино-родственные кадры». Всего в уголовном деле подшито 22 протокола допросов Скворцова, происходивших с 15 февраля по 1 мая 1933 г. Большинство из них написано рукой подследственного, работники ГПУ лишь визировали их подписями. Вероятно, это были не допросы традиционной формы, содержащие вопросы и ответы, а некая «исповедь», которую художник сочинял самостоятельно, надеясь на смягчение приговора.

Фрагменты протоколов приводятся в хронологическом порядке, сокращения и исправления специально не оговариваются.

¹ В 1953 г. переименована в Приволжскую железную дорогу.

² О нем см.: Алексей Голицын. История репрессий: «Ложная честь» художника Скворцова. <https://fin-volga.ru/article/view/id/522>

³ О нем см.: Вячеслав Лопатин. Цвет – звук; свет, тьма // Волга. 2008. № 1; Алексей Голицын. История ареста художника Ивана Щеглова // Волга. 2018. № 7-8.

Мой отец Василий Иванович Скворцов происходит из крестьян села Капустина Яра, Астраханской губернии. Я остался после смерти отца одного года 4 месяцев. Будучи на службе судебным приставом при Съезде мировых судей в г. Астрахани, <отец> был арестован как политический, сидел в тюрьме. По освобождении его из тюрьмы он работал в последнее время перед моим рождением в селе Никольском. После смерти отца мы с матерью остались без всяких средств к жизни. Мать первое время жила на то, что распродала оставшееся имущество, и на остатки его мы переехали в Астрахань, где она стала зарабатывать деньги тем, что ходила по домам в качестве домашней портнихи, что продолжалось до того момента, как я сам стал зарабатывать деньги, т.е. до 10 июля 1910 г. В 1905 г. я поступил в 4^х классное городское училище, которое окончил в июне 1910 г. В 1912 г. я держал экстерном за гимназию, но провалился и получил справку только за 7 классов. В 1918 г. в декабре м-це я поступил в студию Губпросвета¹ как ученик изящных искусств. Студия в 1919 г. была переименована в Астраханские высшие государственные художественные мастерские, но в 1922 г. была согласно распоряжения центра закрыта. В сентябре 1915 г. я был мобилизован в Цареве, оттуда был направлен в Царицын, в 141 запасной батальон, и служил как рядовой. В момент поступления на военную службу я имел образование за 7 классов гимназии, но документ об этом образовании я не представлял. В школу прапорщиков я не был послан, потому что был, как бухгалтер казначейства, освобожден от военной службы и направлен обратно в Царевское казначейство.

Женился я в 1926 г. Моя жена Нина Степановна Скворцова, урожденная Степанова, с которой я познакомился, служа в Облplane², родилась в г. Саратове, происходит из крестьян села Пески недалеко от Балашова. Училась здесь в гимназии, затем в Киеве в коммерческом институте, но его она не окончила. Во время германской войны она была на фронте, но в качестве кого, не знаю.

Служа в Астраханской Казенной палате, я одновременно в 1918 г. приступил в декабре месяце к занятиям в художественной студии Губпрофсовета в г. Астрахань. Учился я в течение 3^х приблизительно лет у преподавателя Котова Петра Ивановича³. В течение двух лет не учился, затем закончил свое художественное образование в 1924 г. в г. Саратове у преподавателя Уткина Петра Саввича⁴. Учась в Саратове, я жил на средства случайного заработка, который представлял техникум или сам находил. Окончил техникум в 1924 г. и поступил на работу в Облпан. <...>

Привожу доподлинную беседу, происходившую в квартире Гофмана между мной, Скворцовым, Гофманом и Щегловым. Поводом к этому разговору послужил рассказ Гофмана о его бедственном положении в настоящий момент. Полное отсутствие денег, хлеба и в довершение всего этого – больной ребенок и перелом руки у самого. Постепенно с этого разговор перешел на долго ожидаемую свободную торговлю хлебом. Я сказал, что с 15 февраля как будто будет вольная продажа хлеба, но Гофман возразил, что это он слышит уже с 1^{го} января. В это время вошел Щеглов, поздоровался и попросил стакан чая. Выпив чай, он присоединился к нашему разговору, говоря, что, видимо, этой свободной торговли никогда не будет. Потом с свойственной ему экспансивностью он начал говорить: «Что случилось бы, если бы умер или кто-нибудь убил тов. Сталина?» Я подшутил, что убить тов. Сталина нельзя, т.к. он носит броню (хотя этого обстоятельства я не знал и сказал ради шутки), тогда Щеглов говорит: «Ну, бомбой». Я опять подшутил, говоря, что из этого ничего не выйдет, т.к. тов. Сталин ездит сразу в четырех, пяти автомобилях, окруженный эскортом людей на мотоциклетах (этого обстоятельства я тоже не знал, так как никогда не видел, как ездит тов. Сталин).

¹ Губернский совет профессиональных союзов.

² Плановый институт.

³ Петр Иванович Котов (1889, Астраханская губерния – 1953, Москва) – художник, заслуженный деятель искусств РСФСР (1946), лауреат Сталинской премии (1948).

⁴ Петр Саввич Уткин (1877, Тамбов – 1934, Ленинград) – художник.

Тут Щеглов начал горячиться, желая что-то сказать, но я его перебил, говоря, что совсем не в этом дело. А дело в том, что же действительно могло бы случиться, если бы тов. Сталин умер, кто его мог бы заменить? Из прежних вождей советской партии: Троцкий, Бухарин – не знаю, но Троцкого я определенно боюсь с его крайне левой программой. На интервенцию надеяться, я считаю, не приходится, т.к. это было бы для нас сплошным ужасом. Разделили бы Россию оптом и в розницу на целый ряд капиталистических колоний, а тогда уж берегись. Гофман меня в этом поддержал. Щеглов, кажется, не возражал. Я снова начал и говорю: «Нет, вот если был бы тов. Ленин, то, возможно, было бы все иначе; и как бы он поступил с индустриализацией и колхозами? Тов. Ленин ведь гениальнейший человек настоящего времени». Но тут вмешался Щеглов и начал говорить о том, чем, собственно, гениален тов. Ленин. Возьмите хотя бы его одну фразу: «Каждая кухарка должна управлять государством», в чем ее логичность, ну поймите сами: «Кухарка управляет государством», фраза совершенно нелогична.

Примечание: во время этого рассказа я между прочим спросил Гофмана: «А что, можно здесь говорить?», Гофман ответил: «О, конечно». <...>

13 января 1933 г. мы собрались вечером у тов. Львова <...> и там зашел разговор о возможности второго Нэпа. Я говорил, что если бы даже он мог иметь место теперь, то он не мог бы иметь ту форму, какую он носил в 1921 и последующих годах, т.к. в то время, видимо, были колоссальные запасы всего, искусно припрятанные капиталистическими элементами. Так как после объявления Нэпа в течение самого короткого времени Москва сияла окнами магазинов, набитых всевозможными товарами и даже драгоценностями. И как пример привел случай, о котором я слышал в Москве в гостинице на Петровке, где мои компаньоны по комнате рассказывали о том, что бывшие люди, оставшиеся за бортом после революции, но не успевшие удрать за границу, вновь вылезли из своих нор и принялись, как за наиболее легкую работу, товарную спекуляцию. Теперь же второго Нэпа в той форме ожидать нельзя, так как нет тех запасов у капиталистических элементов, а все находится в руках кооперативных и торговых организаций, с одной стороны, и с другой – на это и не пойдет Советское правительство, которое стремится к социализму. <...>

Я, Скворцов, не являюсь сторонником советской власти. Я вел контрреволюционные разговоры с целью критического обсуждения некоторых политических моментов. Главным образом, об индустриализации, колхозной политике и зарплате. В порядке обсуждения мы затрагивали вопросы руководства Советской власти и партии ВКП(б). <...> мы считали темп индустриализации неприемлемым для нашей отсталой по технике страны. Мои личные взгляды по вопросу интервенции таковы: что интервьюировать вообще страну легче, когда она индустриально отстала. <...>

По колхозной политике наши контрреволюционные суждения в основном сводились к следующему: временно оставить индивидуальные хозяйства в том виде, в котором они существовали, и, выделив несколько районов или отдельных колхозов, на которых и проверить правильность колхозной политики и в положительном случае уже произвести замену единоличного хозяйства колхозным. Курс, взятый партией и Советской властью на массовую коллективизацию сельского хозяйства, нами обсуждался критически, так как крестьянство встречает колхозное движение нежелательно и в некоторой части даже бросает деревню.

По вопросу руководства я, Скворцов, выражал мнение, что могло бы случиться, если бы т. Сталин умер или его убили. Я выражал это мнение в следующем виде: что т. Сталина могли бы заменить прежние вожди партии, как Троцкий, Бухарин и др., но я лично Троцкому не доверял. Со мной был согласен и Гофман. Я также выражал следующую мысль, что если б был жив тов. Ленин, было бы все иначе, т.к. я считаю т. Ленина одним из гениальнейших людей мира. Гофман и в этом пункте также был со мной согласен, но Щеглов выразил резко противоположное мнение и ставил вопрос так, что их нужно всех перевешать и перестрелять. Это он говорил в отношении вождей партии, как бывших, так и настоящих. Моя жена

Скворцова-Степанова говорила, что политика тов. Сталина ведет к обнищанию страны и даже частичному голоду. Все наши суждения о руководстве партии сводились к отрицательной критике, и со стороны Щеглова выражались взгляды террористического характера по отношению к Советскому правительству, но нужно указать, что эту точку зрения Щеглова остальные наши участники не разделяли. <...>

Начиная с 1918 г. в силу чисто объективных условий, создававшихся вокруг меня, я не мог искренне мыслить советски, а во мне вырабатывались взгляды совершенно противоположные тем, какие бы могли выработаться при других условиях и обстоятельствах. Несмотря на то, что мое пролетарское происхождение и могло бы дать возможность создать из себя человека, истинно преданного Советской власти. Некоторое исключение было внесено в мое отношение к Советской власти в первые годы пребывания в Астрахани, когда я в силу своих служебных условий вращался среди партийцев-коммунистов, но это было очень короткое время. Дальше, вращаясь в среде чуждых элементов, мои взгляды вновь приняли прежнее направление и не только не изменялись, а, пожалуй, углублялись в худшую сторону.

С переездом в Саратов у меня в первые годы пребывания в этом городе несколько снизилось это чуждое антисоветское направление, но не могу сказать, чтобы оно совсем исчезло.

Но после с знакомством с Гофманом и его знакомыми: Владимиром Гавриловым, Константином Гавриловым, Щегловым Иваном Никитьевичем мое отношение к Советской власти уже не изменялось к лучшему, а наоборот год от году все ухудшалось и становилось более и более резко отрицательным. <...>

Для характеристики приведу некоторые данные о товарищах, с которыми я имел общение за эти годы.

Гофман, Виталий Анатольевич – антисоветский элемент, бывший человек, для которого все, что ни проводило в жизнь Советское правительство, являлось абсурдным и ненужным. Ярко выраженное отрицательное отношение к т. Сталину, которого он иначе и не называл как «чистильщик сапог». Школьная работа, которую он вел, вызывала в нем раздражение и ненависть к коммунистам, возглавляющим школьное начальство. Часто в разговоре, раздражаясь и стуча по столу кулаком, говорил: «Я эту сволочь видеть не могу» и «Как мне все надоело».

Владимир Гаврилов – бывший офицер, видимо, особенно ценивший свое звание. Он не может простить Сов. власти то, что она отняла у него погоны и шпагу. Он с каким-то смаком вспоминает свою прежнюю службу и искренне ненавидит все советское. При разговоре он иначе не называет коммунистов как «эта сволочь». Он искренне мечтает о войне, а вместе с ней и об интервенции, или с помощью войны о новой революции, которая помогла бы возвратить ему его прежнее положение, как материальное, так и общественное.

Щеглов Иван Никитьевич. Каково его происхождение, я не знаю. Но могу сказать, что благодаря долгому знакомству и с Гофманом, у которого он часто бывал, и у Гавриловых, с которыми он в приятельских отношениях, он несколько не отличается от них в своих взглядах, и эти взгляды у него также давно, как и его знакомство с этими людьми. Также необходимо добавить и то, что у него есть еще и некоторые террористические взгляды, судя по его выражению «Всех их нужно перевешать и перестрелять».

Пчелинцев, Виктор Петрович¹ – бывший офицер, как я слышал, штабс-капитан и возможно и белый, хотя последнего я точно подтвердить не могу, так же антисоветски настроенный, хотя и более сдержанный, чем Гаврилов, может быть в силу своего характера. Но также мечтающий о войне и новой революции, как способе восстановления своих погранных прав. Часто выражающий желание о принятии участия в активных действиях и даже вступлении в контрреволюционные организации.

¹ Техник отдела пути дирекции РУЖД, проходил по делу свидетелем.

После знакомства с художником Яковлевым¹ и его разговоров о контрреволюционной организации, у меня появились новые взгляды, о которых я раньше и не думал. Все предпосылки, данные Яковлевым, естественно дали новый толчок моим взглядам, в которых ранее не было подобных элементов. К счастью, нужно сказать, для меня это знакомство с Яковлевым было очень непродолжительно и не дало мне возможности начать и углубить свою работу в организации, о которой мне говорил Яковлев, если только она существовала и, возможно, спасло меня от дальнейших шагов по пути преступления по отношению к Советской власти.

Позднее, если у меня и были мысли о какой-либо организационной работе, то они не имели актуального значения, а сводились к разговорам антисоветского и контрреволюционного характера. <...> Не ведя организационную работу по вербовке недовольных в полном смысле слова за этот период, я не хочу снять с себя ответственности за то, что в дальнейшем я, быть может, при известных создавшихся условиях и занялся бы этой контрреволюционной работой и стал бы вербовать новых членов. Вся эта вербовка могла бы, конечно, иметь место в том случае, если бы я сам вступил бы в какую-либо организацию и взял бы на себя эту работу. Но до последнего времени я в контрреволюционных организациях не состоял. <...>

Находясь арестованным в камере и чувствуя по ходу следствия, что дело принимает серьезный характер, я написал зашифрованную записку свояченице Лидии Степановне Степановой: «Лидя, я Вас очень прошу осмотреть Жоржика, так как боюсь серьезных осложнений после гриппа, т.к. мальчик последнее время жаловался на ногу. Очень прошу съездить. Я и Нюся. В Управлении Р.У.ж.д. передачу не принимают».

Действительный смысл этой записки следующий: «Лидя, я прошу Вас повидать Жоржа Апокова², т.к. боюсь серьезных осложнений. Очень прошу съездить в Москву и поговорить с ним о нашем положении в связи с арестом».

Апокова Жоржа я лично очень мало знаю, но его хорошо знает моя жена, с ее слов я знаю, что он является крупным партийным работником и старым большевиком. <...>

Я и жена выразили желание уехать из Саратова. Моя жена говорила, что служба ее не удовлетворяет в Саратове и она охотно бы бросила эту службу. Говорила о том, что план строительства на 1933 г. снижен, и что у них на службе также возможно сокращение, т.к. сокращение по строительным организациям г. Саратова уже проводится.

Кажется, в этот же раз она рассказала и о сумасшедшем помдиректоре-коммунисте из своего учреждения, который сошел с ума на почве мании величия, который хотел удалить т. Сталина и занять его место. Он говорил, что он скоро едет в Москву и по приезде туда он все изменит. Призывал к спокойствию и обещал иную, хорошую жизнь.

Мы все трое также говорили о том, когда же, наконец, улучшится жизнь и можно ли в ближайшее будущее ожидать изменений. Я выражал свою надежду на колхозную торговлю и говорил, что с открытием колхозной торговли возможно снижение цен на рынке и появление достаточного количества продуктов. Но Пчелинцев говорил, что он не верит в колхозную

¹ В марте 1933 г. саратовские чекисты направили в транспортный отдел ГПУ г. Москвы следующий запрос: «ЯКОВЛЕВ Леонид Дмитриевич, 1898 года рождения, по профессии художник, прибыл в Саратов из Москвы, дата приезда неизвестна. В 1930 году в г. Саратове работал в Крайисполкоме и затем в ОГПУ. <...> ДТО ОГПУ Р.У.ж.д. просит срочно установить в Москве указанного выше ЯКОВЛЕВА и ориентировать нас о всех имеющихся материалах на него по Москве. <...> просьба такового арестовать и спец. конвоем направить в Саратов, так как у нас имеются сведения о том, что помимо СКВОРЦОВА в к.р. организации ЯКОВЛЕВЫМ были завербованы и другие лица, проходящие у нас по агентурному делу «Эсперантист». По данным Книги памяти жертв политических репрессий Восточной Сибири, Л.Д. Яковлев расстрелян 21 февраля 1938 г.

² Георгий Ипполитович Оппоков (1888, Саратов – 1938, Москва). Дворянин, член РСДРП с 1903 г. Партийный псевдоним – Жорж. В 1933 г. – заместитель председателя Госплана СССР, затем член бюро Комиссии советского контроля при СНК СССР. Арестован в июне 1937 г., по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР расстрелян 30 декабря 1938 г.

торговлю, т.к. по нашему краю колхозникам нечем торговать и что последний хлеб, выданный колхозникам за работу в колхозах, отобран при хлебозаготовках. Я ему возразил, что разрешите только свободную продажу хлеба и других продуктов, как они сейчас появляются на рынке. Жена моя говорила, что если даже колхозники и имеют некоторое количество хлебных продуктов у себя, то вряд ли это может изменить и особенно повлиять на рынок и рыночные цены. <...> Я говорил и возмущался тем, что оклады остались почти без увеличения, а жизнь подорожала на десятки, а по некоторым видам продуктов даже на сотни процентов. Особенно меня возмущали невероятно высокие цены в кооперативных и вообще государственных магазинах. <...>

У нас зашел также разговор о тяжелых условиях теперешней жизни, и мы также искали выхода. Я между прочим сказал, мог ли т. Сталин резко изменить свою позицию в другую сторону, ну хотя бы так, как сделал тов. Ленин во время военного коммунизма, объявив НЭП? Если б т. Сталин это и сделал, в чем я сомневаюсь, то вряд ли кто теперь из коммерсантов еще и остался, да и поверят ли они? Не нужно также забывать, что в начале революции товары были припрятаны, а теперь их нет, или они как экспорт уходят за границу. Если последнее верно, то тогда еще может измениться вопрос к лучшему и при кооперативной торговле, если прекратить экспроприирование товаров за границу, а все, что вырабатывается в России, выбросить на внутренний рынок. <...>

В первой части моего допроса я не был искренен и правдив, т.к. благодаря ложной чести боялся подвести своих товарищей по аресту. Эта ложная честь была у меня еще привита, видимо, с детства, т.к. я, будучи ребенком и школьником, считал выдать своего товарища или школьника преступным. Эта ложная честь прививалась мне и в школе, где я учился. Там, в школе, за малейшую ябеду и ничтожнейший проступок в этом направлении ученики жестоко наказывали провинившегося, иногда не останавливаясь даже и перед побоями в раздевальне, где они накрывали провинившегося пальто и били.

Естественно, эта «ложная честь» не могла выветриться с годами, а так и осталась у меня и до настоящего времени. Но, попав в ГПУ, я постепенно осознал, что эта «ложная честь» здесь, в ГПУ, не может иметь места. И сознавая первые свои ошибки в части допроса, я встал на другую точку зрения и стал говорить правду. Описал с полной искренностью свою жизнь с самого детства и с 1917 по 1926 г. Признал себя антисоветским элементом и рассказал и о своих товарищах и знакомых, и о их политических убеждениях так, как я понимал их. Но должен и здесь оговориться, что активного участия против Советской власти я не предпринимал и не считал возможным принять в этом участия.

Я виноват и глубоко виноват перед Советской властью в своих антисоветских и контрреволюционных разговорах, критике распоряжений правительства и даже антисоветских анекдотах, также виноват и за свои ложные показания в первой части допроса. Но не считаю себя окончательно потерянным человеком, и в других условиях и другом окружении мог бы еще принести пользу Советской власти, встав на честный путь советского труженика. Поэтому я прошу Советскую власть не о полном моем освобождении, о чем, конечно, не может быть и речи, а лишь о снисхождении и возможности забыть прошлую жизнь и воспитать в себе человека, достойного жить в Советской республике и трудиться. Я верю, что Советская власть отнесется ко мне, как к человеку, который осознал свои ошибки, и который хочет еще быть полезным членом Союза. <...>

В 1926 году я женился и провел все лето на даче в Монастырке¹, где нас никто не посещал, за исключением родственников жены. Мы же в это время жили довольно стесненно. Жена, имея ребенка грудного, не могла служить, т.к. часто прихварывала, а я получал небольшое жалованье 66 руб. <...>

После того, как мы решили с женой остаться в Монастырке, необходимо было подумать о квартире. Совсем бросать ее было опасно, т.к. мы могли рано или поздно вернуться в город.

¹ Монастырская слобода близ Спасо-Преображенского мужского монастыря. Ныне находится в черте города Саратова.

И я решил сдать на время большую комнату, а в маленькой поместить свою мать. Гофман Виталий Анатолиевич предложил, как квартирантов, семью своего брата. <...> Гофман начал убеждать нас, что из этого ничего дурного не выйдет, что брат его работает на Советской службе и что он имеет об этом соответствующие документы. В конце концов, мы согласились и сдали квартиру брату Гофмана на условиях оплаты квартирной платы за сданную комнату и отопление в половинном размере. Но за это на нас донесли и нам пришлось предстать перед судом. Суд квартиру у нас не отобрал, а только постановил выселить семью Гофмана Юрия Анатолиевича, но я это сделал до суда и сам переехал в город вместе с женой и сыном. <...>

В зиму 1929 года у меня бывал Гофман Виталий Анатолиевич, часто в присутствии жены бывали разговоры о политике и главным образом они вертелись о пятилетнем плане. Все мы трое сходились на том, что план нереален, что мы не можем его не только перевыполнить, но даже хотя бы выполнить. Мы считали, что перегнать капиталистические страны с их наисоввершеннейшей техникой мы не можем с тем отсталым оборудованием в техническом отношении страны и вообще низким культурным уровнем страны. Что эти темпы непомерно высоки для нашей страны и что такой широкий размах приведет к кризису. В один из таких разговоров жена моя, когда стали расти громадные требования на рабочие руки, главным образом на специалистов узкой специальности и когда начали открываться всевозможные технические учебные заведения, заявила: «Вот поверьте мне, что придет момент, когда наступит в стране ужасная безработица и будет совершенно немыслимо найти работу». <...>

Затем, когда был поднят вопрос о сплошной коллективизации, опять среди нас поднялись разговоры, что это безумие проводить сплошную коллективизацию. Было бы гораздо лучше, если бы провести на ряде районов или отдельных колхозов эти опыты, не разрушая индивидуального хозяйства. Также затрагивался вопрос о чрезмерно жестоком методе раскулачивания. Говорили, что какие же в деревне теперь есть кулаки, это не кулаки, а просто работающие умные крестьяне (Гофман). Что странно разрушать такие хозяйства, когда еще не видно, что получится из колхозов. <...>

Летом 1930 г. <...> жизнь лично у меня была сытная, недостатка я ни в чем не чувствовал и вообще в такие моменты забываешь о политике или, вернее, она не заставляет думать о себе. <...> Но тут с зимы 1930 г. стала впервые задерживаться зарплата, что, конечно, отразилось и на наших политических взглядах. Но все эти разговоры были чисто семейного характера в отсутствие посторонних. Выражая недовольство и растущими ценами, и отсутствием зарплаты. Но в мае месяце 1931 г. задолженность по зарплате была ликвидирована, и мы снова более легко вздохнули. <...>

В мае <1931 г.> я начал изучать эсперанто (международный язык), вступил в члены Союза советских эсперантистов и примерно с июля месяца начал переписку с заграницей. Переписывался до момента ареста исключительно с иностранными эсперантистами, адреса которых находил в эсперантских газетах. Лично я не знаком ни с одним из своих корреспондентов. Контрреволюционной переписки как сам не вел, так и не получал из-за границы. Переписка носила, главным образом, характер обмена литературы советской на иностранную. Меня интересовали книги и журналы по вопросам искусства и самого языка эсперанто, моих же корреспондентов – советская литература преимущественно о пятилетнем плане индустриализации и сельскому хозяйству, точно также и вопросы культурные. <...>

Осенью этого года заходил ко мне Гофман Виталий Анатолиевич <...>, т.к. мы еще продолжали с ним работать вместе для Немгиза¹. У Гофмана были тяжелые моменты за это время с работой. Он то устраивался на работу, то его сокращали, он опять вновь вынужден был искать работу, и так продолжалось чуть не весь учебный год. В один из приходов к нам Гофман жаловался, что он уже начал голодать и что его нервы не выдержат всего этого. Он страшно возмущался школьной работой, а главное – дисциплиной в самой школе. Он говорил, что он еле сдерживается, чтобы не

¹ Немецкое государственное издательство в АССР Немцев Поволжья.

схватить какого-нибудь хулигана и не выкинуть вон из класса. Он также говорил, что учитель теперь бесправное существо. Даже если он во всех отношениях прав, то ему все равно не поверят, а поверят школьнику. Я в некоторых моментах его поддерживал, т.к. сам на себе испытывал школьную дисциплину, в особенности на Увек¹ и татарской школе 7-летке в 5^{ой} группе.

Здесь вопрос коснулся вообще образования. Жена страшно возмущалась тем, что теперешние школьники, окончившие 7-летки, 9-летки, не смогут грамотно писать, грамотно излагать свои мысли. Я совершенно не понимаю современного метода преподавания. Школьники давно ничего не учат и пользуются, в лучшем случае, беседами лишь учителя. Но общеполитических вопросов, которые бы возникали у нас за эту осень, я не помню. Но в связи с дороговизной, задержкой зарплаты естественно вновь выражалось недовольство политикой т. Сталина, и часто Гофман называл т. Сталина «чистильщиком сапог», принимая во внимание национальность тов. Сталина. Я лично никогда не разделял грубых выходов как Гофмана, так и Щеглова, но недовольство я также выражал, говоря: «Что, разве сам тов. Сталин не видит, что творится в стране, ведь мы на краю уже голода. А будущее совершенно неизвестно и темно».

При посещении тов. Гофмана я встретил там Гаврилова, и опять разговор коснулся о все повышающихся ценах на предметы первой необходимости, о новых гигантах индустрии и вообще об общем положении в стране. Гаврилов говорил, что тов. Сталин, видимо, не остановится ни перед чем и будет вести свою политику до конца. Единственное спасение, по мнению Гаврилова, это в войне и интервенции. Если только будет война, то интервенция обеспечена, так как главный контингент войск – крестьяне настроены далеко не советски, и если им дать оружие, то неизвестно, куда оно повернется. Я сказал, что Советское правительство примет все меры к тому, чтобы сохранить мирные отношения с соседями, т.к. всякая война несет с собой не только победы, но и поражения, а поражения могут быть не только извне, но и внутри. Но Гаврилов очень твердо отстаивал свою точку зрения об интервенции и говорил, что война – вопрос самого недалекого будущего.

В этом же году я познакомился со Львовым Александром Ивановичем. <...> Львов часто рассказывал мне сногшибательные вещи вроде следующих, причем очень живо и с присущей ему жестикуляцией: «Вы слышали, Крупская стреляла в Сталина?», или «Вы слышали, что Ворошилов поссорился с Сталиным и готовит против него войска?», или «Мне говорил приехавший из Москвы приятель, что он сам видел на вокзале, что прибыла масса санитарных поездов, переполненных ранеными, преимущественно посредством газов. У раненых абсолютно нигде нет волос. Все волосы выжжены. И, конечно, мой приятель видел только частичку, а говорят, поезда прибывают каждый день, и Москва забита ранеными». Этих сенсаций было очень много, но я помню только эти. Обычно, когда бы я ни пришел к нему, у него уже была сенсация для меня, если и не всесоюзного значения, то, по крайней мере, на худой конец, местного. <...>

За последний год Гофман стал ужасно нервным человеком, он часто стучал кулаком по столу, даже иногда, как говорила жена Гофмана, бился головой о стену и проклинал все и всех. Я один раз видел его в таком состоянии, когда он был прямо в иступлении и говорил, что так он больше не может жить, что он дошел уже до точки. Я его старался успокоить, говорил ему, что он только вредит себе, что он таким состоянием ничему не поможет, а нужно терпеливо переносить то, что ему не нравится. Но Гофман еще больше стал горячиться и говорить, что он бросится на какую-нибудь сволочь, тут он подразумевал коммуниста, и перегрызет ему горло, а потом пусть и его убьют. Я постарался уйти, так как мне было это в высшей степени неприятно. Вообще Гофман часто и позднее выражал свое мнение, что он совершенно не может выносить коммунистов. Такого же мнения был и Щеглов. <...>

Осенью у меня был Гофман. Мы говорили об общем положении в стране и, в частности, у нас в Саратове, о всю растущих ценах на продукты питания и о том, что будет дальше и когда

¹ Увек (Укек) – один из первых крупных городов Золотой Орды. Ныне участок Заводского (Сталинского) района на окраине Саратова.

наступит улучшение и смягчит ли свою политику тов. Сталин. Но Гофман назвал тов. Сталина «твердолобым» и «чистильщиком сапог» и сказал, что он скорей погубит всех и заморит с голоду, чем изменит своей политике. Также жаловался, что он испытывает голод и иногда по целым дням ничего не ест. Но нужно сказать, что мы все не видели просвета в нашей жизни и не знали, когда наступит просветление. Мы считали, что политика тов. Сталина должна все-таки изменить свою решительную линию и пойти на снижение. Моя жена говорила, что тов. Сталин все-таки взял не совсем правильную линию слишком высоких темпов и теперь, если бы имел столько же решительности, сколько ее было у тов. Ленина, сделал или второй НЭП, или каким-либо иным путем выправил падающую кривую продовольствия трудящихся. На что Гофман заявил, что он, Сталин, никогда этого не сделает. <...>

Жена рассказала нам о сумасшедшем помдиректоре Стройтреста, который сошел с ума на почве недоверия к тов. Сталину. Он кричал, что тов. Сталина нужно убирать, а вместо тов. Сталина он встанет сам и повернет жизнь по-иному, конечно в лучшую сторону. Он просил не волноваться, т.к. он скоро едет в Москву и все сделает. <...>

31 декабря 1932 г. у нас был разговор по поводу тяжелой жизни и отсутствия продовольствия по приемлемым ценам, а также и задержки зарплаты, также говорили, когда и чем кончатся эти тяжелые времена. Я между прочим высказал свою мысль, что теперь даже трудно рассчитывать на объявление второго НЭП'а, хотя, думаю, что тов. Сталин на это не пойдет. Да, к тому же, есть ли еще коммерсанты, которые могли бы снова начать работу, да и поверили ли они? Ведь в начале Революции было, видимо, очень много припрятано товаров бывшими людьми, а теперь их нет. Можно только рассчитывать на кооперацию при условии отказа от экспорта, а весь товар, если он действительно шел на экспорт, выбросить на внутренний рынок, тогда еще можно спасти положение в стране и поставить снабжение на должную высоту. Затем вопрос перешел на то, что рабочие голодные и плохо работают. Львов сказал, что на транспорте та же самая история. За последнее время участились крушения поездов. <...>

Остается описать еще один случай, когда я был у Гофмана через день или два после того, как он сломал себе руку. <...> Я его застал одного сидящего за столом за книгой. Я его расспросил о его поломе, и он мне рассказал следующее: что он вечером шел с товарной станции из школы, руки у него были в карманах туго засунуты в варежки, так как руки его обморожены и очень чувствуют холод. Проходя по какому-то тротуару или дорожке, он упал, не успев вынуть руки из карманов, и почувствовал ужасную боль в руке. Проходящие его подняли, но он еще долгое время сидел на земле и не мог от боли двинуться. <...> Потом он рассказывал, как пришел врач Гаврилов и с помощью Щеглова тянули ему руку, и боль была так велика, что он потерял даже сознание. Теперь у него рука не болит, если ее держать вполне спокойно.

Затем он начал говорить о том, что ему ужасно <не> везет, ребенок все время болен, теперь он сам заболел и что дома нет ни крошки хлеба, и что он целый день сидит на чае с небольшим количеством сахара. Предложил мне чая, я выпил стакан. В это время пришел Щеглов. Разговор опять коснулся этого несчастного хлеба. Гофман сказал, что вот они сдали немного золота и серебра, что-то на 8 руб., но никак не могут получить муки из торгсина. Я им рассказал, что как раз сегодня получил муку после целого дня ожиданий, но нужно сказать правду, нелегальным путем, т.е. просто пролез в магазин уже поздно вечером и кое-как дождался муки, и еле дотащил ее домой, хотя ее и было меньше двух пудов.

Потом разговор перешел на свободную продажу хлеба, которую все ждут, но которую почему-то так долго не объявляют. В общем, Гофман выразил негодование по поводу такого положения с хлебом и продуктами питания. Я его поддержал и сказал, что нужно ли было строить такие гиганты и не проще на затраченные деньги просто за границей купить с/х машины и сразу отдать их в эксплуатацию? Вообще, я как-то не понимаю политики тов. Сталина. <...>

С переходом на службу в Обплан в 1924 г., после окончания техникума я снова попадаю в среду если и не антисоветскую, то свободомыслящую. Здесь разговоры о политике чередовались с разговорами о деле. Но нужно отдать справедливость, они не носили грубого антисоветского

характера. Но можно было, подходя к столу того или другого работника, услышать или новый анекдот, или какое-нибудь сногшибательное сообщение. Выделить из общей массы кого-либо как вполне антисоветского человека, я не могу. <...>

Категорически отрицая все время перед Политическим управлением свою вину в принадлежности к какой-либо организации, я должен признать и просить извинения за свою резкость в отказе от предъявляемого обвинения. Сегодня я совершенно неожиданно напал на мысль, что мог совершенно неожиданно попасть в квартиру, где собирается некая организация, и о которой я не мог иметь даже представления, но Политическое управление, зная, что я посещаю эту квартиру, квалифицировало и меня как члена этой организации.

По моему мнению, я могу, конечно, приблизительно наметить три квартиры, в которых могли бы иметь место эти организации.

Первая квартира, по моему мнению, могла бы быть Гофмана из следующих соображений: громадный круг знакомств у Гофмана, открытость квартиры, т.е. в любой момент можно прийти и быть радушно принятым даже малознакомым людям. Но участие самого Гофмана вряд ли возможно.

Вторая квартира. Квартира Кедрова, угол Гимназической и Малой Сергиевской, дом №3, где в одной из комнат живут один или два молодых партийца. Один из них служит на Комбайне¹. Иногда, приходя к Кедровым, я замечал, что там, т.е. в комнате, занимаемой партийцами, бывали и выпивки, и кроме того, слышал от Кедровых о не особенно твердопартийных взглядах живущих там партийцев.

Третья квартира. Наместниковы, Большая Казачья, дом 24. Эта последняя квартира очень сомнительна в отношении устройства контрреволюционной организации, но могу сказать, что Наместников имеет некоторое знакомство среди партийцев, которые бывают у него дома. <...>

В 1930 году я познакомился с высланным из Москвы художником Яковлевым Леонидом, отчества его не знаю. <...> Я ему задал вопрос, за что его сюда выслали, но он уклонился от прямого ответа и начал говорить вообще о политике и главное о том, что жизнь стремительно идет к ухудшению. Говорил, что очень странно, что все видят, как материальные условия ухудшаются, но никто не реагирует на это тем или иным путем. Я поддержал его. Тогда он стал говорить о том, что необходимо организовываться, создавать организации, в которые могли бы объединяться люди одинаково мыслящие. Я ему ответил, что все организации определенно рано или поздно обречены на провал, что и было видно по ряду крупнейших организаций. На это он мне ответил, что это верно, но в тех организациях были ошибки. Теперь организации так не должны строиться. Все члены той или иной организации не должны знать совершенно друг друга во всей организации, а достаточно, если будут знать один также одного или двух.

Кроме того, продолжал он, нужно запомнить, что сейчас идет широкая волна организационного движения по России. Организуются и учащаяся молодежь, и служащие, и даже люди пожилые. На все эти вопросы я ему ответить ничего не мог, а только слушал. <...>

Спустя месяц или даже больше, Яковлев поймал меня в ОГИЗе², когда я уже уходил, и сказал мне, чтобы я его подождал одну минуту, и мы с ним пойдем вместе. Я его подождал, и он мне предложил пойти выпить, но я от этого предложения отказался, зная его как алкоголика. <...> Тут он опять начал говорить о том, что необходимо вступать в организации. Я ему ответил, что ведь существуют разные организации и разные преследуют цели. Он ответил, что это правда, и что теперешние организации преследуют одну цель объединения недовольных, т.к. для другого чего-либо еще время не пришло. После этого он стал меня уговаривать, чтобы и я вошел в организацию. Я ему сказал, но что же я должен там делать? Он мне ответил, что нужно разъяснять, во-первых, что в организациях теперь состоять не страшно, во-вторых, говорить о том, что это необходимо, если человек хочет жить по-человечески и работать так, как ему хочется. Вообще, доказывал

¹ Саратовский завод комбайнов.

² Объединение государственных книжно-журнальных издательств.

всеми способами пользу такого объединения. Я ему прямого ответа не дал, но думал об этом, хотя даже дома никому не говорил об этом разговоре. Да, по правде сказать, и боялся.

Спустя еще некоторое время, какется уже зимой 1931 года я его встретил с его товарищем, которого он назвал Виктор, в коридоре типографии №2 внизу, и спросил он меня, как идут дела. Я ему ответил, думая, что он спрашивает о моих личных делах: «Ничего, работаю и работы много». После он подвел меня в угол и стал говорить, что для организации нужны деньги и что я должен хоть немного их достать. Я ответил, что денег у меня самого нет и достать их я не знаю откуда. Он круто повернулся к Виктору, посмотрел как-то странно на него, и оба они быстро отошли от меня. После этого я больше Яковлева и его товарища Виктора не видел. Куда он девался, уехал ли в Москву или был вновь арестован, я не знаю.

<...> При разговорах контрреволюционного характера <...> выражались способы и методы, посредством которых можно было избавиться от Советской власти. Гавриловыми выдвигалась, как наиболее, по их мнению, могущая иметь успех цель – это интервенция. <...> Жена моя Скворцова-Степанова твердо отстаивала противоположное мнение, т.е. резко отрицательное, т.к. сама была очевидицей интервенции поляков в Киеве. <...>

Вторым вопросом, имеющим ту же цель, была война СССР с какой-либо из капиталистических стран. Этот вопрос выдвигался Владимиром Гавриловым и мною и, как я помню, возражений ни с чьей стороны не встречал. <...> Но нужно сказать, что в возможность войны я, Львов и Гофман не верили, т.к. считали, что на этот шаг Советское правительство не пойдет, но Гаврилов и Пчелинцев говорили, что если и не пойдет, то могут заставить обстоятельства или просто вынудить на этот шаг.

<...> Выдвигался ли «саботаж и вредительство» как метод борьбы против Советской власти, я не помню. Но помню, когда моя жена Скворцова-Степанова говорила о том, что при условии плохих жизненных условий среди рабочих заметны следы разложения дисциплины, бегство с предприятий, текучесть рабочей силы и просто саботаж: отказ от работы, невыход на работу и т.п. и даже вредительство явное или скрытое, и что дальнейшее расширение и охват по масштабу может привести к результатам очень печальным. <...> Восстание внутри самой страны как метод выдвигал я и только помню один раз в присутствии Львова, но жена этот способ резко окритиковала в следующих выражениях: «Не думай, пожалуйста, что если поднимутся рабочие и будут бить коммунистов, то оставят в покое интеллигенцию. Ты сам знаешь, каково отношение средней рабочей массы к интеллигенции. С другой стороны, не забудь и того, что рабочие в центрах живут несравненно лучше, чем хотя бы у нас в Саратове, и лучше во всех отношениях. Кроме того, не нужно забывать и того обстоятельства, что рабочие центров наиболее культурны. Такое восстание может иметь место только в том случае, если рабочие центров примут участие и будут руководить восстанием, во что я очень мало верю. Сепаратные же выступления обречены на гибель». <...>

На углу Чернышевской и Обуховского я встретил Пчелинцева, идущего по направлению к своему дому. <...> Пчелинцев начал жаловаться на то, что жизнь становится совершенно невыносима, и что он прямо сходит с ума, не зная, что делать. Вообще, нужно сказать, Пчелинцев был недоволен и работой у себя на службе, и жизнью, как вообще, так и в частности, т.е. те ухудшающиеся материальные условия его возмущали и тревожили за дальнейшее существование его семьи. Он говорил: «Ну, вы поймите, что будет дальше, когда сейчас существовать уже на то, что мы получаем, невозможно. Зарплата остается та же, а цены растут и растут. Я прямо не знаю, что делать, а делать что-то нужно, т.к. я не могу уж оставаться лояльным» (последний отрывок фразы я не могу точно припомнить, но смысл был приблизительно такой). Я его поддержал и сказал, что все это верно, но что мы можем сделать? Единственный путь – это вступить в какую-нибудь организацию, тем паче что я слышал, что в таких организациях теперь уже не так страшно состоять. Дело в том, что теперь организации строятся по-иному. В этих организациях члены друг друга не знают, а знают лишь одного или двух максимум лиц. Кроме того, я также слышал, что в такие организации теперь вступают и молодежь, и старики. <...>

Зимой 1932 года мой знакомый Наместников, Георгий Назарович, будучи у меня, сказал мне, что днями поедет в колхоз по командировке с места своей службы журнала «Нижне-Волжский колхозник». Я и моя жена попросили его, если будет возможность, купить в деревне кое-что из продовольствия и по его согласии я дал ему 20-25 руб. денег. Спустя некоторое время он вернулся из командировки и зашел ко мне и сообщил, что в деревне он ничего не мог купить, т.к. там, т.е. в деревне, ничего нет, а в колхозе он не считал удобным, как командированный, даже просить о продаже чего-либо и возвратил мне данные ему деньги.

Дальнейшие показания записаны рукой уполномоченного III отделения ДТО ОГПУ РУжд Ф.К. Алексеева:

Направление моей переписки шло в разные страны: Франция, Англия, Германия, Чехословакия, Испания, Япония, Бельгия, Польша, Латвия и другие.

Виновным себя в использовании эсперантистского права в контрреволюционных целях – переписке с заграницей особым зашифрованным порядком, переписке и пересылке через специальных лиц сведений, фотоснимков, являющихся шпионским характером, не признаю.

В своих письмах, как мной полученных, так и отправляемых почтой за границу, вопросы политического, а также и экономического состояния я не затрагивал.

Действительно, в одной из открыток я сообщил за границу в Германию, кому именно, не помню, сведения о широте расстояния реки Волги и что эта река пересекается островом. <...>

Я, Скорцов А.В., действительно ходил по городу Саратову и фотографировал имеющимся у меня аппаратом без всякой цели. Подбор объектов к фотосъемке я производил так: что меня интересовало, я и снимал. Фотоснимки мои разрушаемых в городе церквей, как-то Новый собор, церковь Михаила Архангела, других же церквей не помню, чтобы я снимал. Произведенные фотоснимки разрушаемых церквей я действительно проявил и отпечатал, в каком количестве я их отпечатал, не помню, т.к. не считал и не учитывал.

Обнаруженные у меня в значительном количестве фотокарточки при обыске на квартире – преимущественно фотоснимки – действительно отражали улицы районов и здания города, и два снимка, в каком количестве размноженных мною, я не помню, представляют собой виды полуразрушенных деревянных зданий.

Фотографию крушения с трамваем действительно заснимал я – при этом цель моей снимки: снять как происшествие.

Засъемка стоящей очереди у Крытого рынка произведена мной – при этом цели я не преследовал. Других очередей я не заснимал. <...> Снимок в Затоне около г. Саратова (смотрел на карточке мою запись) я размножил в 5-6 экземплярах и отправил за границу в разные страны как открытки.

Виновным себя в использовании производимых фотосъемок, относящихся только к явной дискредитации соввласти, в своей связи с заграницей в контрреволюционных целях и целях шпионажа не признаю и моего разговора о том, что меня интересуют очереди, разрушение, обираловки и крушения на транспорте, я не помню.

В обвинительном заключении сказано, что Александр Скорцов, «состоя в к.р. организации, выполнял ее задания, являлся организатором и вдохновителем к.р. группировки, ставившей себе целью свержение Соввласти, завербовал в к.р. группировку: Львова, Щеглова и Попова, активно проводил систематическую к.р. пропаганду против всех проводимых мероприятий Соввласти,

активный участник и организатор к.р. сборищ, на которых призывал к активной борьбе с Соввластью, распространял к.р. слухи, дискредитировал враждебно правительство Соввласти, международное эсперантское право использовал в к.р. целях, сообщал сведения и фотоснимки за границу с целью дискредитации Соввласти, через устанавливаемые связи с иностранцами, занимался шпионажем, собирал сведения о состоянии транспорта». Художник обвинялся по статьям 58-6, 58-10 и 58-11 УК РСФСР, т.е. в шпионаже, пропаганде и организационной деятельности, направленной на совершение контрреволюционных преступлений.

При обыске у Скворцова изъяли рукопись с информацией о терактах в СССР и покушениях на партийных лидеров, а также фотографии старого Саратова. Впрочем, чекисты считали, что снимки «разбираемых церквей, полуразрушенных и ветхих зданий, улиц, использовались им в целях дискредитации Соввласти».

Парадоксально, но в материалах уголовного дела никак не отражено участие Скворцова в международных выставках в Лос-Анджелесе в 1929, 1930 и 1931 годах.

Все подсудимые сознались полностью, лишь Скворцов и его жена сознались частично. Времена большого террора еще не наступили, и антисоветчики получили сравнительно мягкое наказание. Особое Совещание при Коллегии ОГПУ 28 мая 1933 г. постановило Скворцова, Львова, Гофмана и Попова – на три года выслать в Казахстан, Щеглова – заключить в исправтрудлагерь сроком на три года, Скворцову-Степанову – приговорить к принудработам сроком на один год. Щеглова и Степанову приговорили условно и освободили из-под стражи. Врач Гаврилов до приговора не дожид, умер 10 мая в тюрьме от паралича сердца.

Где и в каких условиях отбывали ссылку осужденные – неизвестно. Однако, в деле сохранилась справка, согласно которой у Скворцова был обнаружен «катар верхушек легких, невроз сердца, малокровие с упадком питания и расстройством кровообращения (отек ног)». Отмечу, что представленная клиническая картина – типичные последствия голода. Врач констатировал, что художник «к тяжелой физической работе не способен».

Вернувшись из ссылки, Александр Васильевич работал художником в местных издательствах, во время войны – в областной газете «Коммунист», после нее – в Автодорожном институте и в Саратовском художественном училище. С 1953 г. полностью перешел на творческую работу.

Произведения художника неоднократно выставлялись в СССР и за рубежом, находятся в собраниях Третьяковской галереи, музея изобразительных искусств имени Пушкина, Русского и Радищевского музеев. Александр Скворцов умер в Саратове в 1964 году.

Контакты:

Анна Сафронова (гл. редактор, проза): safronova-volga21@yandex.ru

Алексей Александров (зам. гл. редактора, поэзия, критика): alexandrov-volga21@yandex.ru

Алексей Голицын (документальные исследования): agolitzin@yandex.ru

Олег Рогов (архивные публикации, критика): rgv@mail.ru

Алексей Слаповский (проза)

Сайт журнала: <http://volga-magazine.ru/>

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:
<http://magazines.russ.ru/volga/>

Подписано в печать 17 июня 2019 г.

Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.